

И 46

ЧИТ. ЗАЛ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ

М. Ф. Косарев

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ В ДРЕВНОСТИ

*Ответственный редактор
доктор исторических наук
Ю. С. Гришин*



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА 1984

Книга посвящена экологическим аспектам древней истории Западной Сибири, обусловившим социально-экономическую адаптацию древних коллективов к разным условиям природной среды. Работа носит в значительной мере методологический характер. В ней апробируются новые пути исторического осмысления археологического материала, обосновывается необходимость экологического подхода в археологических исследованиях.

Рецензенты:

Н. Я. МЕРПЕРТ, Т. М. ПОТЕМКИНА

Отделение
ЭТНОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ
Института археологии
5133

К $\frac{0507000000-331}{042(02)-84}$ 00—84,III

© Издательство «Наука», 1984 г.

ВВЕДЕНИЕ

В археологии Западной Сибири, как и в археологии других малоизученных регионов, помимо методологической проблематики, выделяются три основных комплекса проблем: 1) исследование общих и региональных закономерностей и тенденций социально-экономического и историко-культурного развития, реконструкция хозяйственно-бытовой, социально-политической и духовной жизни древних обществ; 2) вопросы общей и локальной историко-культурной стратиграфии, проблемы периодизации, синхронизации и абсолютной хронологии археологических древностей; 3) круг проблем, связанный с этнической принадлежностью древних археологических культур и происхождением современных аборигенных этносов.

В настоящей работе мы коснемся главным образом первого круга проблем, причем остановимся преимущественно на их экологическом аспекте. Хронологические рамки нашего исследования будут ограничены временем энеолита (в основном III тысячелетие до н. э.), бронзы (II и начало I тысячелетия до н. э.) и железа (начиная примерно с VII в. до н. э.), т. е. эпохами, когда были совершены самые крупные экономические открытия древности — постижение тайн металлообработки, изобретение бронзы, переход от охоты и рыболовства к пастушеско-земледельческому хозяйству, а затем к кочевому скотоводству (на юге рассматриваемой территории), освоение железоделательного производства и пр.

Особое внимание будет уделено исследованию переходных исторических эпох — прежде всего периодов, лежащих между каменным и бронзовым, бронзовым и железным веками. В эти узловые эпохи история как бы уплотнялась во времени, социально-экономическое развитие многократно ускорялось. Для понимания стимулов таких «скачков» очень важен тот факт, что на юге Западно-Сибирской равнины переход от неолита к бронзовому веку (и одновременно от охотничье-рыболовческого хозяйства к пастушеско-земледельческому), равно как и переход от бронзового века к эпохе железа (и одновременно от пастушеско-земледельческого хозяйства к кочевому скотоводству), произошли в условиях жестоких экологических кризисов. Выявление конкретных исторических, экономических, экологических обстоятельств, сопутствовавших этим «скачкам», изучение их соотношения и взаимосвязи внесло бы много нового в понимание содер-

жания и динамики древних исторических процессов, помогло бы полнее и глубже проникнуть в факторы и движущие силы величайших экономических трансформаций древности.

Поэтому, рассматривая те или иные стороны древней истории Западной Сибири, мы, наряду с применением традиционного палеоэтнографического (этноархеологического) метода, стремимся как можно шире апробировать экологический подход, который представляется нам весьма перспективным при выходе на интерпретационный и теоретический уровни историко-археологического исследования. В основе экологического подхода применительно к истории древних обществ лежат выявление, анализ и использование в палеоэкономических, палеосоциальных и палеокультурных реконструкциях общих, региональных и эпохальных закономерностей адаптации человеческих коллективов к окружающей среде. Разработка этой темы особенно важна потому, что вопросы взаимоотношения человека и природной среды стали сейчас актуальнейшей проблемой современности.



Человек и природа в прошлом и настоящем. Тезис о единстве природы и общества в марксистской философии. Морально-этическая сторона проблемы. Подходы к источникам, научным понятиям и исследовательскому процессу.

Человек и природа в прошлом и настоящем

Среди ряда ученых до сих пор бытует мнение, что зависимость человека от природы была особенно сильной в глубокой древности, а по мере приближения к нашему времени она становилась все более слабой. Между тем основоположники марксистского учения полагали, что чем дальше шел человек по пути экономического и социального развития, тем большее число неразрывных нитей связывало его с окружающей природной средой. Так, Ф. Энгельс считал, что на стадии дикости, когда повсеместно господствовало присваивающее хозяйство, несходство природного окружения не влияло существенно на региональные особенности экономического развития, «но с наступлением варварства мы достигли такой ступени, когда приобретает значение различие в природных условиях. . .»¹. В древности зависимость человека от природного окружения была не более сильной, а более прямой и непосредственной. В дальнейшем, с развитием производительных сил, связь человека с природой становилась все сложнее и опосредованнее. Эта опосредованность и породила позднее иллюзию независимости человека от окружающей природной среды.

Для исследуемой территории зависимость человека от естественно-географического окружения стала особенно сложной и многогранной начиная с бронзового века, когда в пределах Западно-Сибирской равнины окончательно оформились и приобрели достаточно четкую локализацию три больших хозяйственных ареала — ареал производящей экономики на юге, ареал традиционной присваивающей экономики на севере и ареал многоотраслевого хозяйства, сочетавшего производящие отрасли и присваивающие промыслы, в пограничье тайги и лесостепи. Усложнение зависимости человека от природы в этот период проявилось, в частности, в том, что каждый из трех названных ареалов мог существовать лишь на определенном ландшафтно-климатическом фоне.

Распространенное убеждение, что первобытный человек был не способен проникнуть в законы природы, в свете этнографических данных выглядит поверхностным и прямолинейным. «Эвенк, — пишет А. Ф. Анисимов, — по характеру лосиного следа узнает, местный это или пришлый зверь, пришел он издалека или из ближайших мест, самец это или самка, молод и неопытен или стар и умен был зверь и т. д. По веткам, которые обглодал лось, охотник безошибочно заключает, голоден был зверь или сыт; по его следам — как вел себя зверь на жировке: долго ли он дневал здесь, ушел сам или кто-то его спугнул и т. д. Учтя все это, охотник и решает, где искать притаившегося зверя и как его скрадывать»². Перечень подобных примеров можно продолжать до бесконечности.

Человек, беспомощный перед силами природы, неспособный проследить направление причинно-следственных связей природных явлений, не умеющий или не желающий соблюдать «законы» тайги и тундры, не смог бы выжить. Было бы неверно говорить, что первобытные люди были более зависимы от природы, правильнее считать, что в древности отрицательные последствия нарушения закона единства природы и общества сказывались на человеке более быстро и зримо, что заставляло его предпринимать своевременные шаги по предотвращению экологических кризисов или их смягчению.

«Отмечаемый в настоящее время грандиозный рост антропогенного фактора, — пишет академик И. П. Герасимов, — порождает представление о все возрастающей независимости человека от природы. Однако следует указать на одновременный рост обусловленных самим человеком экологических и эдафических кризисов, а также на мощные не подвластные человеку ритмы общей направленности развития природы земли, механизмы которых определяется на биосферно-космических уровнях»³.

Тем не менее старые заблуждения удивительно живучи. Продолжают выходить в свет статьи и брошюры, где нас призывают «покорять» или даже «штурмовать» природу. Такой стиль управления природой метко оценен известным специалистом по общей экологии М. М. Камшиловым. «Мы уже давн «управляем» природой, — говорил он, — но наше управление пока больше напоминает старания незадачливого водителя автомашины, умеющего «крутить баранку», но незнакомого с устройством мотора и смутно представляющего маршрут движения»⁴.

Среди факторов, способствующих углублению нынешнего экологического кризиса, наиболее существенны следующие: 1) диспропорция между высокими темпами научно-технической революции и крайне низким уровнем наших знаний в области экологии и ее практического применения; 2) стремление получать от природы лишь немедленную зримую материальную отдачу, без учета того, чем эта сиюминутная выгода обернется для природы и человека в будущем; 3) исчезновение или, точнее, затухание издревле присущего человеку сознания его единства с природой; 4) нежелание или неумение учитывать опыт прошлого. В воспитании этого умения особенно велико значение археологии. Мне представляется, что сейчас ее роль и предназначенность сравнимы с ролью и предназначенностью мудрого старца далеких патриархальных времен, передававшего внукам и правнукам многовековой опыт ушедших поколений, учившего избегать в настоящем и будущем ошибок прошлого.

Односторонность современной научно-технической революции заключается, на наш взгляд, в том, что осуществляющие ее люди, становясь все более умными в достижении высот технического прогресса, проявляют удивительное отсутствие мудрости в способности постичь содержание взаимосвязей биосферы и техносферы, предугадать последствия одностороннего акцента на безудержное развитие промышленного ландшафта.

Думается, что подобные проявления объясняются отчасти тем, что не все еще могут правильно оценить цель и назначение своей технической вооруженности. Мне несколько раз в своих таежных экспедициях с удивлением приходилось наблюдать странную метаморфозу в поведении казалось бы интеллигентных и не злых парней, когда им доверялось обычное

охотничье ружье. Они становились как бы другими людьми и начинали зачастую вести себя именно как «цари» природы, которые по мимолевой прихоти могли казнить или миловать окружающее зверье. Логика поведения выглядела примерно так: раз есть ружье, надо его использовать, а как — не суть важно.

Судя по этнографическим материалам, первобытным людям не была свойственна бессмысленная жестокость к окружающему живому миру; им было чуждо стремление взять от природы больше, чем необходимо для жизни. По представлениям эвенков Подкаменной Тунгуски, хозяйка родового земли (дуннэ мушунин) дает людям зверей только в том случае, когда они соблюдают установленные запреты, в частности не убивают лишних зверей и не оскорбляют добычи⁵. У коряков аппатиль («добрый старик» — обычно обожествленный предок-покровитель) учил человека бережному обращению с богатствами окружающего мира: нельзя лишить жизни даже птичку, если в этом нет нужды⁶. Убивать зверей зря, ради баловства, или мучить их считалось у негидальцев большим грехом. На Амгуни известна легенда, в которой рассказывается, что роды Хатагиль и Кони́га, прежде очень многочисленные, вымерли из-за того, что проявили жестокость по отношению к животным⁷.

Коренные жители тайги и тундры всегда помнили, что природа — мать всего сущего, животворящий источник. Неуважительное отношение к природе, осквернение ее человеком было чревато большими бедами⁸. Особенно почитались земля, вода, деревья. У сибирских аборигенов плюнуть в реку считалось непростительным кощунством. Как мы плюем в реки сейчас и чем плюем, нетрудно увидеть, побывав на Иртыше и Оби. Сто лет назад человек, срубивший кедр, чтобы обобрать шишки, становился объектом всеобщего презрения. «По словам местных жителей, — писал С. Швецов о Сургутском крае, — бывали случаи, когда за подобные проделки виновных тут же, на месте преступления, вешали на первой попавшейся лесине, раздетыми донага привязывали к деревьям и оставляли в таком положении на съедение комарам и муравьям. Особенной суровостью и жестокостью в этом отношении отличаются остяки»⁹. В последние годы мне все чаще встречаются в западносибирской тайге спиленные красавцы-кедры — результат хищнической добычи кедровых орехов любителями легкого заработка.

Губительные последствия от отравления вод, эрозии почв, сокращения растительного покрова земли, уничтожения животных и от других последствий наших «побед» над природой становится все более реальной. Здесь уместно вспомнить слова Ф. Энгельса, который предостерегал: «Не будем... обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую победу она нам мстит. Каждая из этих побед имеет, правда, в первую очередь те последствия, на которые мы рассчитывали, но во вторую и третью очередь совсем другие, непредвиденные, которые очень часто уничтожают значение первых. Людям, которые в Месопотамии, Греции, Малой Азии и в других местах выкорчевывали леса, чтобы получить таким путем пахотную землю, и не снилось, что они этим положили начало нынешнему запустению этих стран»¹⁰

Тезис о единстве природы и общества в марксистской философии

Географическая среда является материальной основой процесса производства, и в этом смысле их теснейшая связь и взаимозависимость очевидны и бесспорны. Никто не рискнет оспаривать безусловность факта, что древнеземледельческие цивилизации не могли возникнуть и развиваться в полярной тундре, а кочевое скотоводство в таежной зоне. «Земля, — писал К. Маркс, — вот великая лаборатория, арсенал, доставляющий и средство труда, и материал труда, и место для жительства, т. е. *базис* коллектива»¹¹. И далее: «Охота, рыболовство, пастушество, существование плодами земными и т. д. — всегда предполагает присвоение земли либо для постоянного поселения, либо для скитаний с места на место, либо как пастбища для животных»¹².

Известный географ и историк В. А. Пуляркин, касаясь зависимости характера производства от условий среды, справедливо заметил: «Географическая среда . . . играет существенную роль, влияя на направление и темпы развития производительных сил и, следовательно, общественного производства. Такие периоды в истории человечества, как каменный, бронзовый и железный века, стали возможны только потому, что в природе содержатся запасы кремния, меди и железных руд»¹³.

Одним из основных положений марксистской философии является тезис о единстве природы и общества. В одном из вариантов «Немецкой идеологии» мы читаем: «Историю можно рассматривать с двух сторон, ее можно разделить на историю природы и историю людей. Однако обе эти стороны неразрывно связаны; до тех пор, пока существуют люди, история природы и история людей взаимно обуславливают друг друга»¹⁴. «Человек *живет* природой, — писал К. Маркс. — Это значит, что природа есть его *тело*, с которым человек должен оставаться в процессе постоянного общения, чтобы не умереть. Что физическая и духовная жизнь человека неразрывно связана с природой, означает не что иное, как то, что природа неразрывно связана с самой собой, ибо человек есть часть природы»¹⁵.

Энгельс считал, что в будущем, чем больших успехов достигнет наука, тем в большей мере люди будут чувствовать «свое единство с природой и тем невозможней станет то бессмысленное и противоестественное представление о какой-то противоположности между духом и материей, человеком и природой, душой и телом, которое распространилось в Европе со времени упадка классической древности и получило наивысшее развитие в христианстве»¹⁶.

Выступая против агрессивного отношения к природе, Ф. Энгельс писал: «. . . На каждом шагу факты напоминают нам о том, что мы отнюдь не властвуем над природой так, как завоеватель властвует над чужим народом, не властвуем над нею так, как кто-либо находящийся вне природы, — что мы, наоборот, нашей плотью, кровью и мозгом принадлежим ей и находимся внутри ее, что все наше господство над ней состоит в том, что мы, в отличие от других существ, умеем познавать ее законы и правильно их применять»¹⁷.

Морально-этическая сторона проблемы

Иногда, оправдывая собственные промахи, начальствующие нефтяники, директора химических предприятий и другие технократы регионального масштаба заявляют, что отравление полей, уничтожение почв, загрязнение атмосферы и вод делается якобы в интересах людей — чтобы лучше накормить, напоить и одеть их. Но ведь не хлебом единым жив человек. Человечество не будет и не может быть счастливым на оскальпированной земле, без прозрачных рек и озер, без зеленых полей и лесов, без голубого неба, без птиц и животных. Нельзя забывать, что все человеческое в человеке — доброта, благородство, любовь, мудрость — все эти человеческие качества зарождались, развивались и сделали человека человеком в условиях его единства с природой. Вне природы, разрушая природу, человек неизбежно обеднеет духовно и растеряет многие свои моральные ценности.

Сейчас в трудах советских ученых, особенно экологов и философов, все чаще говорится о необходимости перехода к ноогенезу — разумному управлению эволюцией биосферы, для чего необходимы новые принципы прогрессивного развития общества¹⁸. «Человек, — пишет М. М. Камшилов, — в отличие от других живых существ способен ставить цели и добиваться их осуществления. Сейчас наступил момент задуматься над тем, каковы должны быть наши цели. Сама жизнь выдвигает ноогенетический критерий; они должны быть такими, чтобы их осуществление способствовало процветанию человечества, а не вело его к пропасти ядерной катастрофы, самоотравлению и другим последствиям явно неразумной деятельности, навязанной обществу варварством прошлых социальных систем. Мы живем в век, когда происходит переоценка человеческой меры разумности, когда применение новых приемов воздействия на окружающий мир должно сочетаться с мудростью предвидения результатов этого применения»¹⁹.

Охрана природы, доброе внимание к миру не должны ограничиваться лишь бережным отношением к естественно-географическому окружению. Не в меньшей мере наши заботы необходимо направить на сохранение памятников человеческого прошлого — древних поселений, архитектурных сооружений, ритуальных комплексов, наскальной живописи, которые не только раскрывают нам страницы биографии человечества, но и являются органичным компонентом окружающей среды.

Сейчас, начиная сознавать ответственность перед будущими поколениями, мы реконструируем историко-архитектурные памятники, пытаемся спасти вымирающих животных и исчезающую растительность, восстанавливаем нарушенные естественные ландшафты, сберегаем нетронутые уголки природы, создаем заповедники. Однако у нас до сих пор нет археологических заповедников, куда бы был строжайше запрещен доступ землеройной технике и все увеличивающейся армии добытчиков археологического материала. Не так давно в Свердловской обл. были возобновлены раскопки знаменитого Ермакова городища, где прошла зимовка Ермака перед вступлением во владения Кучума. Похоже, уральские археологи до сих пор не поняли, что их священный долг — сохранение этого уникальнейшего исторического памятника²⁰. В 1982 г. тобольские архео-

логи заложили большой раскоп на Кошелевском городище, которое в 1582 (1583?) г. штурмовал ближайший друг и сподвижник Ермака атаман Богдан Брязга. В те времена это был самый южный остяцкий «городок», стоявший в пограничье остяцких и татарских земель. В результате неоправданных раскопок этот важный исторический памятник, заслуживающий самой строгой и тщательной охраны, безнадежно искалечен.

В последние годы отмечается «информационный взрыв» в археологии, во многом обязанный развертыванию археологических работ в зоне новостроек. Некоторые археологи склонны расценивать новостроечные экспедиции как положительное явление в археологии: появилась возможность исследования памятников по микрорайонам, ускорились темпы раскопок в связи с применением землеройных машин, многократно возросла источниковедческая база и т. д. Нам кажется, однако, что это — несколько односторонняя оценка содержания и последствий нынешнего так называемого «информационного взрыва» в археологии. Если форсированные раскопки с широким применением землеройных машин в зонах новостроек в целом оправданы, хотя и являются печальной необходимостью, то перенесение и активное внедрение новостроечных методов за пределы новостроек сопровождается, на наш взгляд, общим снижением методики археологических раскопок — зачастую по существу до кладонскательского уровня. Мы стремимся раскапывать в первую очередь самые хорошие и самые богатые памятники, не думая о том, что через сотню лет, оставь мы их сейчас в покое, они при возросшей методике полевых исследований дали бы во много раз больше научную информацию. Приоритет количества перед качеством и целесообразностью — показатель недостаточно высокой культуры археологических исследований.

Верховным Советом СССР 29 октября 1976 г. был принят Закон СССР «Об охране и использовании памятников истории культуры». В этой связи представляется не совсем понятным то обстоятельство, что одним из главных показателей научной значимости археолога по-прежнему является число раскопанных им древних памятников — 50, 75, 100 и т. д. Это напоминает критерий оценки качеств джентльменов прошлого века американского дикого Запада — по числу убитых ими бизонов. Наверное когда-нибудь научатся исследовать древние памятники, не разрушая их, но, учитывая нынешние темпы раскопок, надо полагать, что когда это время наступит, археологических памятников уже не будет и возросшие возможности осмысления археологического материала не смогут быть реализованы из-за отсутствия полноценных источников.

Думается, что методические и методологические принципы археологии должны исходить из единства научной и морально-этической сторон исследовательского процесса, из необходимости жалеть памятники, как мы жалеем сейчас исчезающие виды животных и птиц, а также из того, что темпы накопления археологических материалов должны находиться в разумном динамическом равновесии с возможностями его исторического осмысления.

Подходы к источникам, научным понятиям и исследовательскому процессу

Традиционность развития западносибирских культур позволяет выделять здесь этапы преемственности культурных традиций — с древнейших времен до этнографической современности, что в свою очередь способствует успешному использованию ретроспективного метода в реконструкции древних этнических, экономических и историко-культурных процессов. Выявление и исследование линий преемственности культурных традиций — один из наиболее перспективных методов изучения древней истории Западной Сибири.

С позднего неолита (а по некоторым данным с более раннего времени) на территории Зауралья и Западной Сибири существовало одновременно несколько культурных традиций, наиболее хорошо выраженных в традиционности орнаментальных комплексов: гребенчатая традиция (рис. 1), позднее разделившаяся на собственно гребенчатую и андроновидную (для последней характерен богатый геометризм в орнаментации сосудов), гребенчато-ямочная (рис. 2) и отступающе-накольчатая или отступающе-прочерченная (рис. 3). В эпоху развитой бронзы (XVI—XIII вв. до н. э.) различия между гребенчатой, андроновидной (рис. 4), гребенчато-ямочной (рис. 5) и отступающе-прочерченной (рис. 6) традициями выглядят особенно отчетливо.

Районы локализации названных традиций следует связывать, видимо, с определенными этнокультурными общностями. Границы этих общностей неоднократно менялись: имели место, особенно начиная с поздних этапов бронзового века, взаимопроникновения и частичные перераспределения ареалов, причем в пограничье культурных областей обычно возникали «гибридные» культуры, сочетавшие признаки двух или даже трех культурных традиций. К числу таких «гибридных» культур относятся, например, сузгунская в таежном Прииртышье и еловская в Среднем Приобье (рис. 7; 8, 3—20); обе датируются эпохой поздней бронзы (около XII—X вв. до н. э.) и несут в себе элементы андроновской (федоровской) и гребенчато-ямочной культурных традиций. Явно многокомпонентный характер имеют также молчановская культура в Нарымском Приобье (переходное время от бронзового века к железному, примерно VIII—VII вв. до н. э.), усть-полуйская и кулайская культуры эпохи железа в таежной полосе Западной Сибири и др.²¹ Таким образом, с переходом к поздним этапам бронзового века, а затем к эпохам железа и средневековья мы видим все более сложные варианты смешения разных культурных традиций, которые уже практически не выступают в своем чистом виде. Нестандартный характер взаимодействия названных культурных традиций во многом определил своеобразие локальных западносибирских культур бронзового, железного веков и более поздних эпох.

К сожалению, археологический материал не несет прямой социальной информации. Вложить в него определенное историческое содержание зачастую можно лишь обратившись к этнографическим свидетельствам. Считается, что археолого-этнографические параллели правомерны лишь при сопоставимости уровня социальной организации, сходстве культурно-хозяйственных традиций и экологических условий. Такой подход, на наш

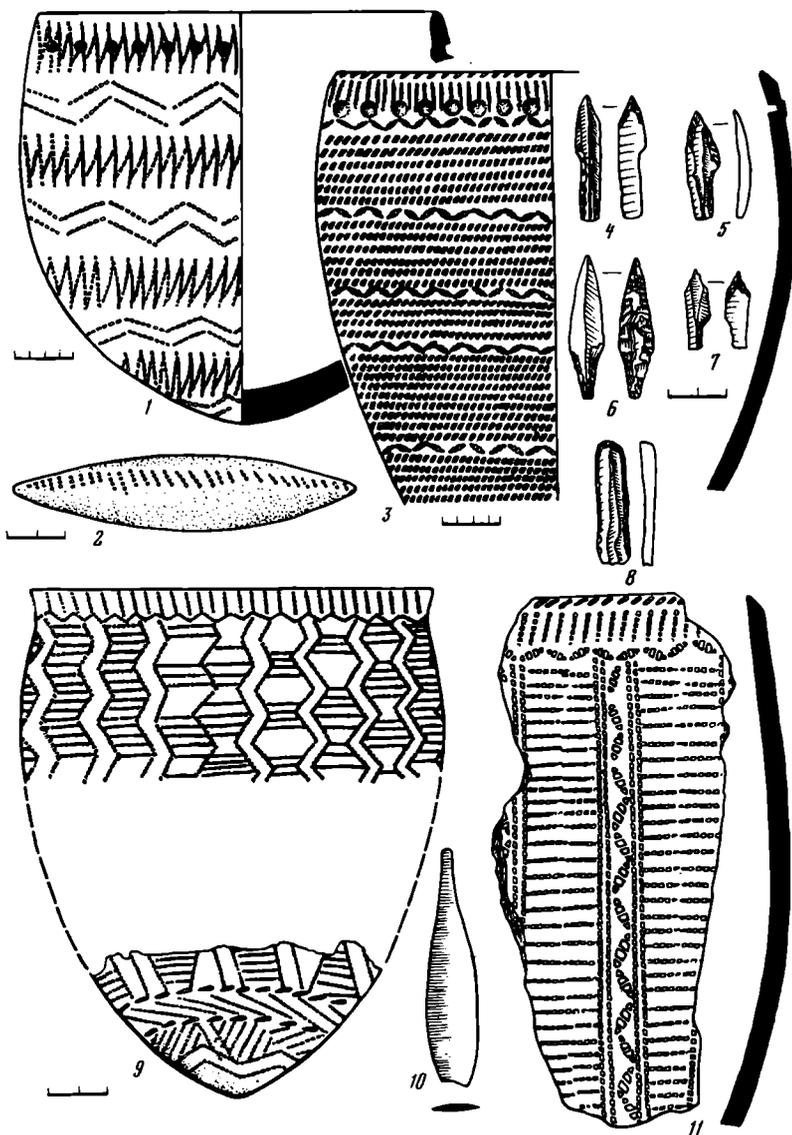


Рис. 1. Переходное время от неолита к бронзовому веку (III тысячелетие до н. в.). Среднее Притоболье. Керамика с гребчатой орнаментацией и сопровождающий ее инвентарь

1 — поселение Дуванское I; 2—8, 11 — южный берег Андреевского озера, участок VIII; 9 — Шигирский торфяник; 10 — стоянка Козлов Мыс I.
4—8 — камень; 10 — медь; остальное — глина

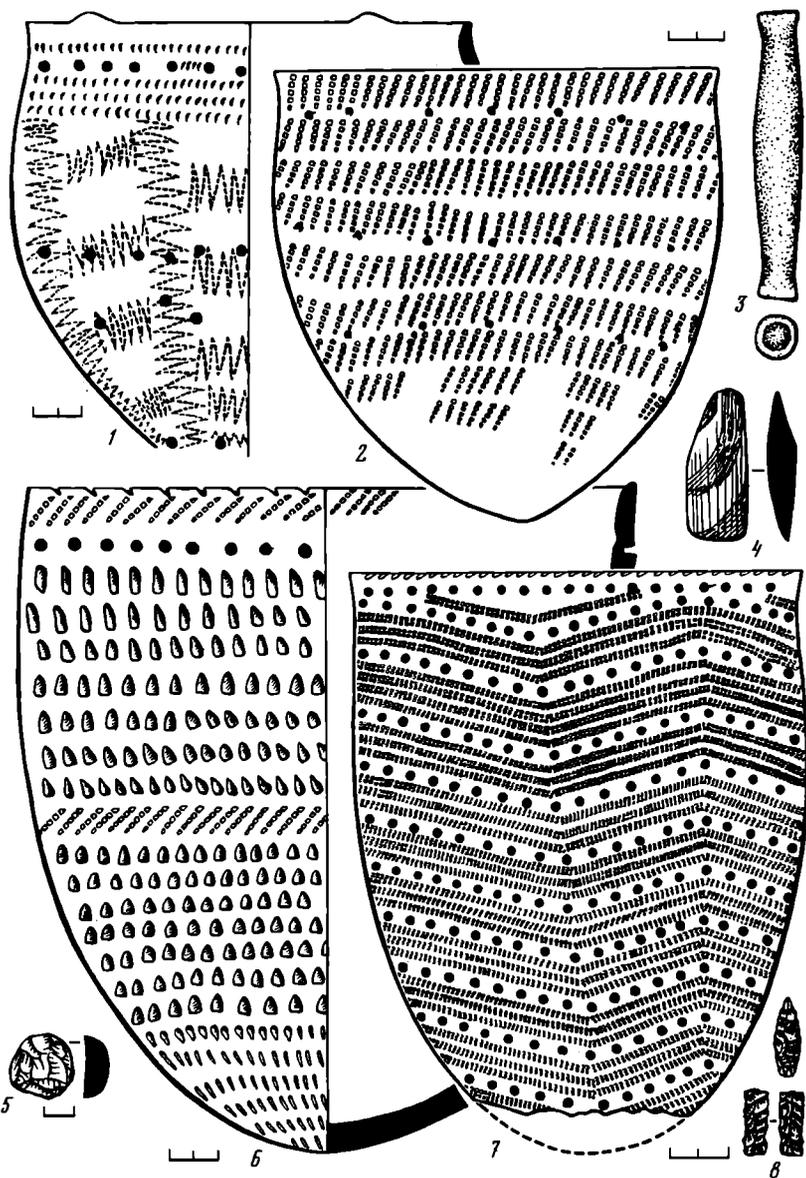


Рис. 2. Переходное время от неолита к бронзовому веку. Южнотаежное и лесостепное Тоболо-Иртышье. Керамика с гребенчато-ямочной орнаментацией и сопровождающие ее орудия
 1 — поселение Кокуй I; 2 — южный берег Андреевского озера, участок VIII; 3 — поселение Ипкуль VIII; 4 — поселение Байрык-Иска II; 5, 7—9 — поселение Венгерово 3; 6 — южный берег Андреевского озера, участок XII.
 1—3, 6—7 — глина; остальное — камень

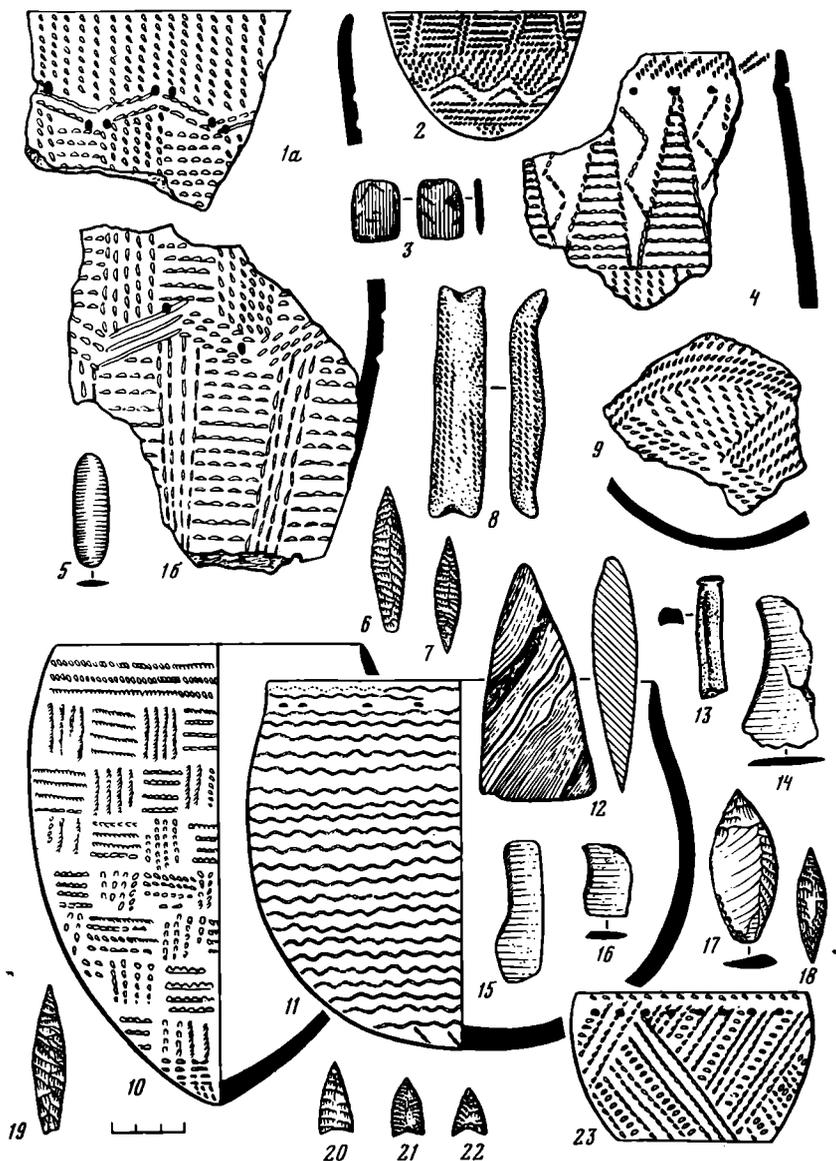


Рис. 3. Переходное время от неолита к бронзовому веку. Южнотасжная полоса Западно-Сибирской равнины. Керамика с отступающе-накольчатой орнаментацией и сопровождающие ее вещи

1, 9 — поселение Инкуль I; 2 — Шигирский торфяник; 3, 8 — поселение Байрык IБ; 4 — Липчинская стоянка; 5 — поселение Ташково I; 6, 7, 10, 11, 13—15 — Самусьский могильник; 12, 17—19, 23 — могильник на Мусульманском кладбище; 16, 20—22 — Ново-Кусковская стоянка.

3, 6, 7, 12—22 — камень; 5 — медь; остальное — глина

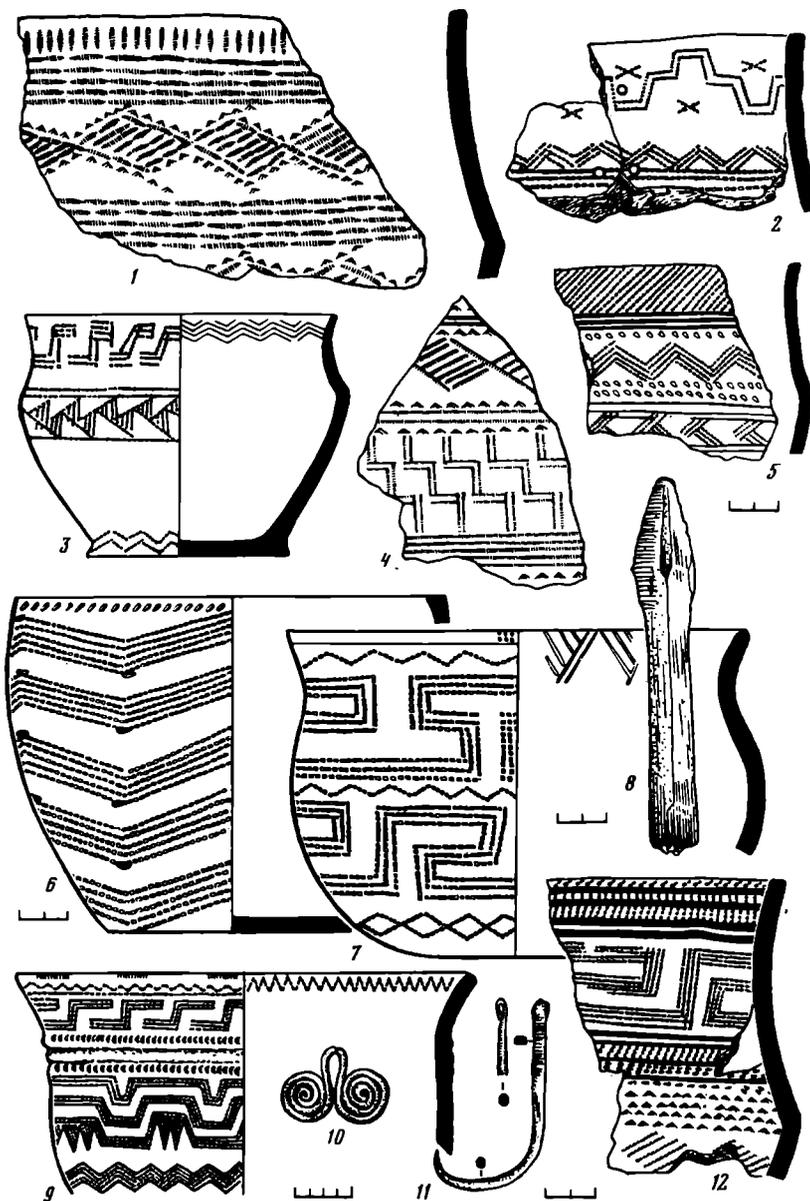


Рис. 4. Самурско-сейминская эпоха (XVI—XIII вв. до н. э.). Средний и Южный Урал. Керамика с андроновской гребенчатой орнаментацией и сопровождающие ее бронзовые изделия

1, 4, 5, 12 — Коптяковские поселения; 2 — Карасье озеро; 3, 11 — Южный берег Андреевского озера, участок VI; 6, 9 — Нижне-Чуракаевский могильник; 7 — Мало-Кизильское селище; 8 — оз. Шарташ; 10 — Юкалеулевский могильник

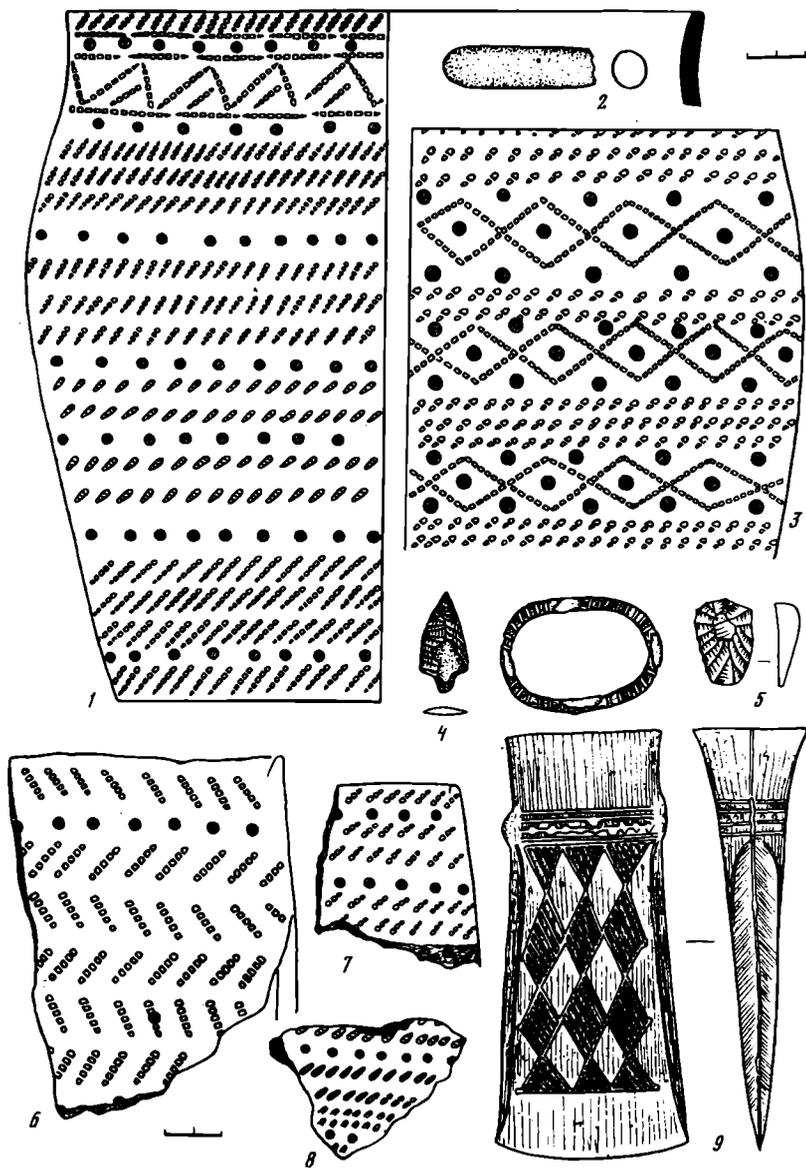


Рис. 5. Самусьско-сейминская эпоха. Тажная зона Западной Сибири. Керамика с гребенчато-ямочным орнаментом и сопровождающий ее инвентарь

1, 6, 7 — Самусьское IV поселение; 2—5 — поселение Большой Ларьяк II; 8 — поселение Ипкуль I; 9 — р. Тенга.

4, 5 — камень; 9 — бронза; остальное — глина

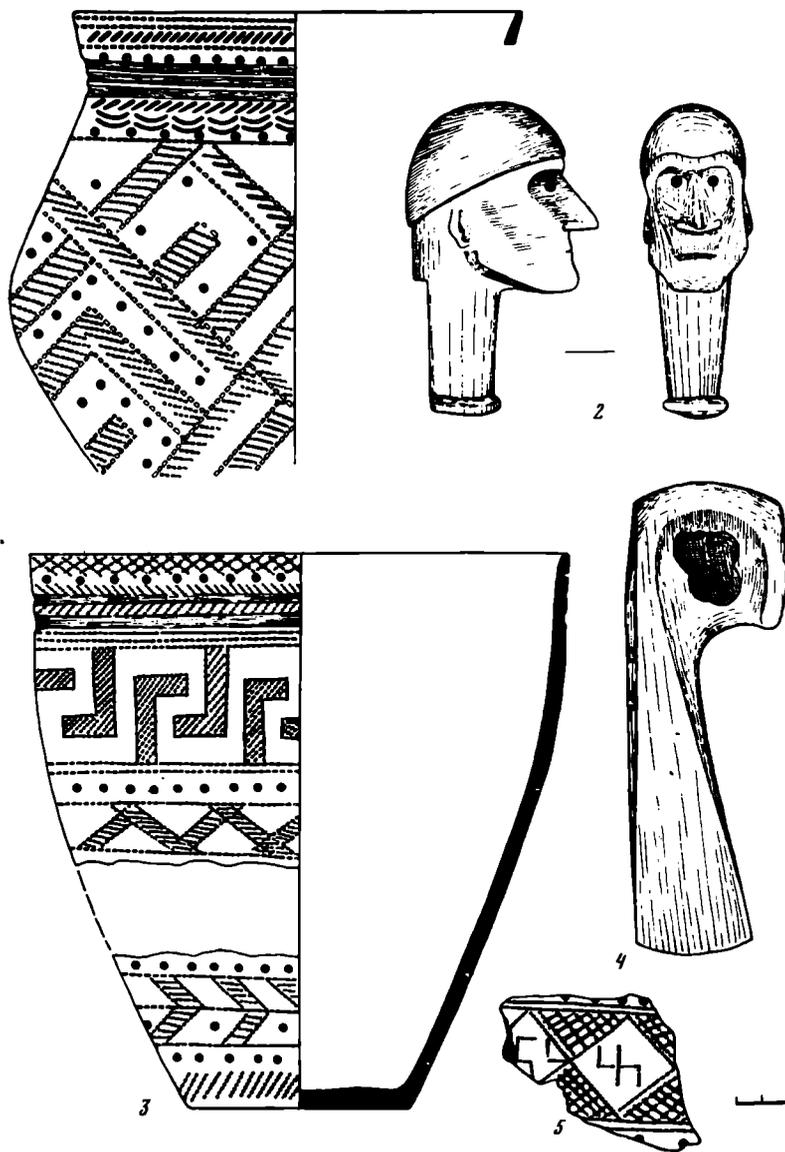


Рис. 7. Андроновская эпоха (XIII—X вв. до н. э.). Ташкино Прииртышье и Среднее Приобье. Андроновский культурный массив. Сузгунская и словская культуры

1 — городище Чудская Гора; 2 — р. Туй; 3 — поселение Маллет; 4 — р. Кенга, пос. Золотые Юрты; 5 — Десятковское поселение.

1, 3, 5 — глина; 2 — камень; 4 — бронза

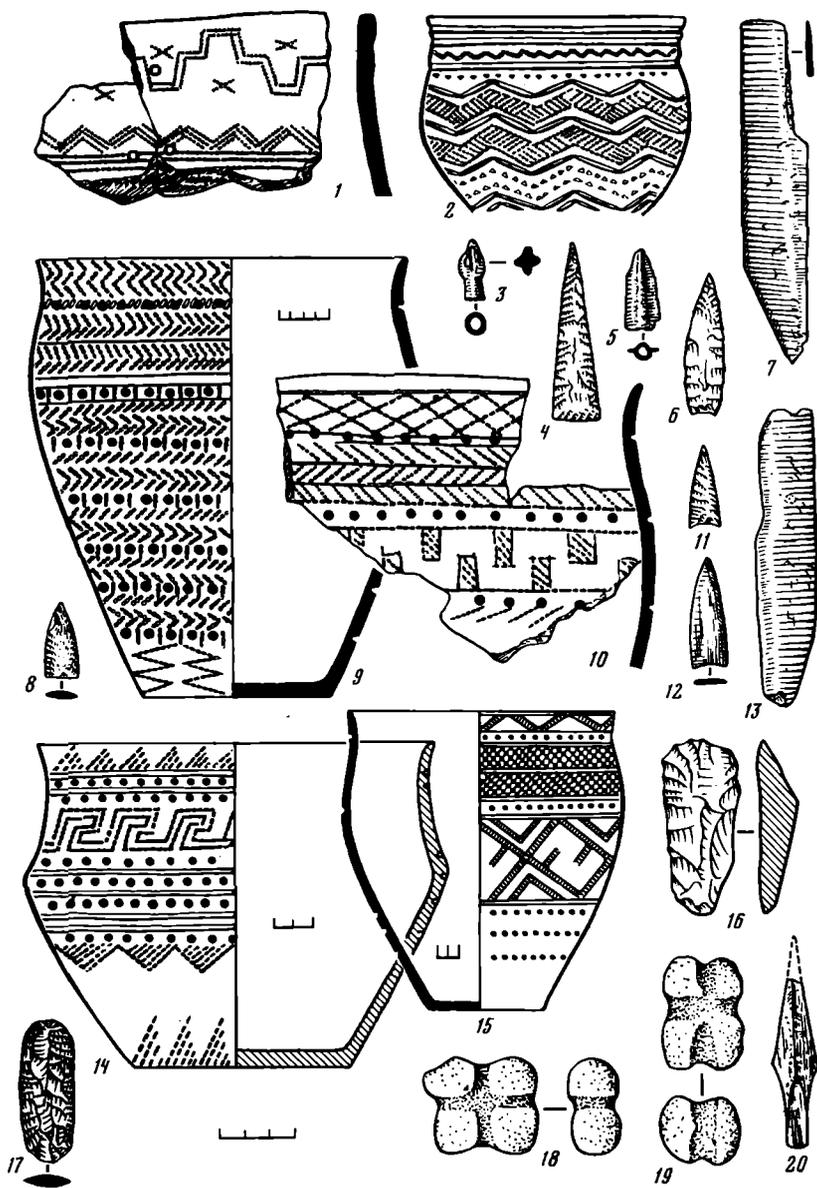


Рис. 8. Андроновская эпоха. Южнотасажное Зауралье и Среднее Приобье. Керамика и орудия черкаскульской и еловской культуры

1 — Карасье озеро; 2 — Исетское озеро; 3, 4, 7, 14, 20 — Еловский II могильник; 5, 9, 12, 13, 17, 18 — Еловское поселение; 6, 8, 10, 11, 15, 16, 19 — Десятовское поселение.

3, 5, 7, 13 — бронза; 4, 6, 8, 11, 16, 17 — камень; 12, 20 — кость; остальное — глина

взгляд, не вполне логичен. Во-первых, без обращения к этнографии мы не имеем возможности определить, близки сопоставляемые условия (и уровни) или не близки. Во-вторых, перечисленные условия не определяют всех возможных подходов к трактовке археолого-этнографических сопоставлений.

В последние годы стало модным выражать скепсис относительно правомерности археолого-этнографических сопоставлений на том основании, что все современные неразвитые группы подверглись влиянию более передовых народов. В приведенном тезисе ясно видно игнорирование того безусловного факта, что всегда, на всех этапах исторического развития, те или иные общества испытывали на себе влияние других, в том числе более передовых. Путь исследовательского поиска в археологии как раз и заключается в выработке умения отличать местное от прошлого, главное от второстепенного, новое от старого, традиционное от нетрадиционного. И все мы в своих работах так или иначе пытаемся это делать. Сложность и противоречивость исторического процесса должны не отвращать нас от поиска, а, напротив, стимулировать этот поиск.

Вместе с тем нельзя не признать, что подчас имеет место слишком прямолинейное обращение к этнографии. Естественно вызывает недоумение, когда древний предмет, напоминающий по облику деталь современного шаманского костюма, объявляется свидетельством шаманизма в каменном веке. Не могут не удивлять также безоговорочные экскурсии при реконструкции социальной жизни сибирского населения эпохи бронзы в этнографию австралийских аборигенов, живших на стадии каменного века и в совершенно других экологических условиях. Формальное проецирование этнографии на археологию дискредитирует метод археолого-этнографических сопоставлений.

Уменьше находить и объективно осмысливать археолого-этнографические параллели при реконструкции тех или иных явлений археологической действительности — одно из важных условий выхода на исторический уровень археологического исследования. Это условие лежит в основе так называемого палеоэтнографического подхода в археологии. Он во многом близок сравнительно-историческому методу, но имеет свои особенности. Раскрывая содержание сравнительно-исторического метода, К. Маркс писал: «Анатомия человека — ключ к анатомии обезьяны. Намеки же на более высокое у низших видов животных могут быть поняты только в том случае, если само это более высокое уже известно. Буржуазная экономика дает нам, таким образом, ключ к античной и т. д.»²². Из приведенного высказывания следует, что сравнительно-исторический метод, исходя из общих закономерностей и конкретных тенденций исторического развития, позволяет прогнозировать будущее на основе прошлого и реконструировать прошлое на основе настоящего и менее далекого прошлого.

Специфика палеоэтнографического метода (подхода) заключается в том, что здесь прошлое и настоящее нередко выступают по существу в одном качестве: так, аналогом прошлой (археологической) действительности может выступать живая (этнографическая) действительность. Тактика палеоэтнографического подхода заключается в выборе наиболее подходящей этнографической модели реконструируемого археологического явления.

В известном смысле палеоэтнографический подход является приемом этнографического моделирования в археологии. Так, объясняя факт увеличения доли лошади в стаде степного западносибирского населения эпохи поздней бронзы, мы ищем этнографический аналог этому явлению. Данные по этнографии казахов-кочевников юга Западно-Сибирской равнины показывают, что в прошлом столетии переход отдельных казахских групп к оседлости сопровождался уменьшением процента лошади и возрастанием роли крупного рогатого скота, а в случае возвращения от вынужденной оседлости к кочевничеству удельный вес лошади в стаде опять увеличился. В свете приведенной этнографической аналогии (модели) увеличение доли лошади в стаде степного населения Западной Сибири на поздних этапах бронзового века можно трактовать как отражение процесса накопления элементов кочевого быта у степняков в связи с переходом от пастушеско-земледельческого хозяйства к кочевому скотоводству.

Особенностью палеоэтнографического подхода является также то, что он, как правило, тесно связан с экологическим подходом. Это объясняется тем, что обращение археолога к этнографии наиболее правомерно тогда, когда сопоставляемые археологические и этнографические факты отражают экологически обусловленность явления, представляют собой закономерный результат рационального приспособления человеческого коллектива к окружающей среде.

В тех случаях, когда интересующие нас тенденции и закономерности прослеживаются в течение нескольких исторических эпох, палеоэтнографический подход может выступать на уровне сравнительно-исторического метода. К сожалению, это обстоятельство обычно остается вне поля зрения археологов. Нередко приходится слышать упрек, вроде: «Как можно, характеризуя хозяйственно-бытовой уклад ранних кочевников, обращаться за аналогиями к поздним кочевникам — ведь это две разные ступени исторического развития». Между тем в зависимости от цели исследования бывает можно и нужно сопоставлять уклад не только ранних и поздних кочевников, но кочевников и оленеводов, кочевничество эпохи железа и подвижную охоту на степных копытных каменного века, так как эти разные формы хозяйства демонстрируют во многом сходную манеру адаптации к природной среде.

В настоящее время у некоторых археологов, особенно молодых, крепнет вера в по существу неограниченные возможности математических методов, при помощи которых можно вычислять (именно вычислять, а не исследовать) исторические процессы и археологические культуры. Думается, однако, что использование математических методов в исторической науке правомерно прежде всего на источниковедческом уровне исследования. Нельзя ставить знак равенства между математической и исторической логикой, так как это может привести к подмене диалектического подхода метафизическим, что будет большой методологической ошибкой.

В равной мере было бы наивно ожидать, что можно вывести некую формулу археолого-этнографических сопоставлений, пользуясь которой, археолог будет приходить к правильным и бесспорным историческим выводам. Любая формула статична и однозначна, тогда как исторический процесс динамичен и многозначен. Поэтому интерпретационный уровень археологического исследования не может быть вменен в рамки строгих схем

и формул, ибо это неизбежно приведет к односторонности и схематизму, как это всегда бывает при метафизическом подходе.

Говоря о соотношении метафизического и диалектического методов в исследовательском процессе, Ф. Энгельс писал, что метафизик «мыслит сплошными непосредственными противоположностями; речь его состоит из: «да—да, нет—нет; что сверх того, то от лукавого». Для него вещь или существует или не существует, и точно так же вещь не может быть самой собой и в то же время иной. Положительное и отрицательное абсолютно исключают друг друга; причина и следствие по отношению друг к другу тоже находятся в застывшей противоположности. Этот способ мышления кажется нам на первый взгляд вполне приемлемым, потому что он присущ так называемому здравому человеческому рассудку. Но здравый человеческий рассудок, весьма почтенный спутник в четырех стенах своего домашнего обихода, переживает самые удивительные приключения, лишь только он отважится выйти на широкий простор исследования. Метафизический способ понимания, хотя и является правомерным и даже необходимым в известных областях, более или менее обширных, смотря по характеру предмета, рано или поздно достигает каждый раз того предела, за которым оно становится односторонним, ограниченным, абстрактным и запутывается в неразрешимых противоречиях, потому что за отдельными вещами он не видит их взаимной связи, за их бытием — их возникновение и исчезновение, из-за их покоя забывает их движение, за деревьями не видит леса»²³.

Трудно себе представить, что электронно-вычислительные машины, питающиеся усредненными и зачастую субъективно подобранными показателями (но тем не менее возведенными в статус аксиом), могут обладать интуицией, способны исходить их парадоксальных ситуаций, в силах учитывать динамическое своеобразие локальных и хронологических тенденций, в состоянии тонко и нестандартно проникать в глубь явлений. «Исключительная эмпирия, — замечает Ф. Энгельс, — позволяющая себе мышление в лучшем случае разве лишь в форме математических вычислений, воображает, будто она оперирует только бесспорными фактами. В действительности же она оперирует преимущественно традиционными представлениями, по большей части устаревшими продуктами мышления своих предшественников, такими, например, как положительное и отрицательное электричество, электрическая разъединительная сила, контактная теория. Последние служат ей основой для бесконечных математических выкладок, в которых из-за строгости математических формул легко забывается гипотетическая природа предпосылок»²⁴.

Признавая динамичность, многогранность и внутреннюю противоречивость явлений, в том числе и явлений археологической действительности, мы тем самым должны признать, что отражающие их научные понятия тоже динамичны, многогранны и внутренне противоречивы. Вне диалектического подхода, абсолютизируя строго определенное содержание и объем понятий, мы исходим из невозможности развития теоретического знания, потому что развитие теоретического знания — это развитие понятий и переход от одних понятий к другим. Такое развитие и такие переходы невозможны при строгой однозначности формы и содержания понятий.

Известно, например, что в понятии этнос в процессе его развития вы-

делились две разные стороны — этнос как социальная категория и этнос как популяция. Первой из них сейчас занимаются преимущественно археологи, историки и этнографы, второй — главным образом антропологи, отчасти также биологи, экологи и др. Названные стороны могут рассматриваться, таким образом, как два разных содержания единого понятия этнос, и если мы попробуем исключить одно из них, этнос в его современном понимании и само научное понятие этнос перестанут существовать. Обогащение научного понятия новым содержанием — непереносимое условие развития не только научного понятия, но и научной теории (в данном случае теории этноса), а также развития научного знания в целом.

Односторонний подход к этносу как научному понятию особенно часто проявляется при попытках социальной и этнической атрибуции археологической культуры. Стала традиционной схема, по которой археологическая культура совмещается с группой родственных по происхождению племен, т. е. с этносом, который, в свою очередь, определяется как социальный организм. Нам представляется, что эта схема характеризует идеальный случай совмещения. Конечно, такая схема нужна, но нужна, на наш взгляд, лишь в той мере, в какой, например, географам-ландшафтоведам необходима схема «идеального континента». В действительности такие эталонные схемы не могут отражать многообразие и сложность реальной картины, что обязательно следует оговаривать в наших археолого-этнографических исследованиях. По мнению ряда ученых, не все сибирские этносы знали племенную организацию (коряки, чукчи, ительмены²⁵). У других сибирских народностей, например у эвенков, северных селькупов, направление брачных связей легко менялось, выходя в ряде случаев далеко за пределы этнических границ. В ряде случаев дуально-фратриальное деление выступало показателем не племени, а этноса в целом. У обских угров единая дуально-фратриальная организация связывала не племя и даже не этнос, а этнолингвистическую общность, в которую входили две народности — ханты и манси, с несколькими языковыми диалектами у каждой.

Даже те социальные подразделения, которые сибирские этнографы склонны называть племенем, не всегда строго отождествимы с конкретным этносом или этнографической группой. Судя по сибирским археологическим и этнографическим материалам, одним из вариантов сложения «племени» был следующий: в чужеродную среду внедрялась группа мигрантов — как правило, род или группа родственных родов (потому что переселялись обычно экзогамные коллективы). Эта пришлая группа должна была вступать, нередко после длительной и кровопролитной войны, в брачные связи с этнически чуждыми аборигенами (во избежание нарушения экзогамных норм), т. е. вынуждала местное население к взаимодействию на фратриальном уровне. При социальной оценке эти две традиционно брачащиеся половины выступают вроде бы как единый социальный организм, а в этническом отношении они осознают себя как два разных народа и во всех других сферах противопоставляют себя друг другу, причем это противопоставление и даже противоборство тоже закрепляется традицией и может длиться сотни лет. Таким образом, проблема соотношения культуры, этноса и племени (группы родственных племен) чрезвычайно сложна и не может быть вмещена в однозначные рамки, так как любая строгая схема неизбежно ограничила бы наши исследовательские возможности.

В своем понимании путей и целей исследовательского поиска мы стремимся исходить из того, что по настоящему научной схемой является не статичная установка, поданная на уровне формулы, а построение, предусматривающее достаточный простор для своего дальнейшего развития; что исследователь не тот, кто знает все существующие схемы и умеет подгонять под них материал, а тот, кто способен выйти за рамки традиционных точек зрения, преодолевать давление существующих схем и формул, разумно сомневаться в аксиомах и устоявшихся взглядах.

Многие археологи до сих пор продолжают считать, что археологический материал является не только основным, но по существу единственным источником познания далекого прошлого, и поэтому практически не используют в своих исторических исследованиях тех многогранных возможностей проникновения в археологический материал, которые могут дать нам экология, палеогеография, этнография и другие науки. Сейчас среди ученых, особенно философов и специалистов по общей экологии, все чаще поднимается вопрос об «экологизации» науки²⁶. И. П. Герасимов высказал мысль, что экологию следует понимать не столько как особую науку, сколько как «специфический общенаучный подход к изучению различных объектов природы и общества, наряду, скажем, с системным и кибернетическим подходами»²⁷. Такой подход особенно оправдан применительно к древней истории и прежде всего к истории первобытного общества. К. Маркс и Ф. Энгельс считали, что нельзя дойти «хотя бы только до *начала* познания исторической действительности, исключив из исторического движения теоретическое и практическое отношение человека к природе. . .»²⁸.

В настоящей работе предпринята попытка показать возможности экологического подхода в понимании явлений и процессов истории первобытного общества — в первую очередь применительно к Западной Сибири. Однако было бы неправильно думать, что в методологии археологической (как и любой другой) науки можно вычленить «чистый» экологический подход. В археологии экологический аспект исследования так тесно и органично переплетен с палеогеографическим, палеоэтнографическим, социологическим и другими, что в каждом отдельном случае бывает трудно ограничить его определенными рамками.

Процесс исторического осмысления археологического материала проходит, как правило, несколько этапов. Раскопав, например, древнее поселение, мы пытаемся реконструировать хозяйство его обитателей. Это делается главным образом палеоботаническими и остеологическими методами. Одновременно мы стремимся реконструировать древнюю географическую среду, применяя при этом весь доступный набор палеогеографических методов. Затем мы обращаемся к литературе по проблемам взаимосвязи природы и общества — с тем, чтобы уловить закономерности экономической и социальной адаптации конкретного первобытного коллектива к данной природной среде. Здесь экологический аспект выступает, пожалуй, наиболее выражено. Затем мы идем в этнографию, где пытаемся найти подходящий аналог этому отчасти уже реконструированному нами обществу, чтобы окончательно все домыслить, уточнить и понять. И лишь затем мы рискуем обнародовать свою реконструкцию на уровне концепции. На всех этапах этого исследования используется в той или иной мере эко-

логический подход; поэтому весь изложенный комплекс методов мы вправе оценивать в русле экологического подхода.

Сейчас в археологии все явственнее обозначается разрыв между быстрыми темпами накопления археологического материала и крайне медленными темпами его исторического осмысления. Примечательно, что все лучшие обобщающие работы по древней истории Сибири написаны в конце 1940-х—середине 1950-х годов, т. е. задолго до нынешнего так называемого «информационного взрыва» в археологии. Я имею в виду прежде всего такие фундаментальные труды, как «Древняя история Южной Сибири» С. В. Киселева (1949) и «Неолит и бронзовый век Прибайкалья» А. П. Окладникова (1950, 1955). До сих пор никто из сибирских археологов по глубине историзма не только не превзошел их, но, пожалуй, и не сравнялся с ними, несмотря на то что источниковедческая база увеличилась сейчас в десятки, если не в сотни раз. Совершенно очевидно, что традиционные археологические методы сами по себе, без их дальнейшей разработки и без внедрения в них новых подходов, уже не в состоянии обеспечить достижение новых уровней историзма, нового уровня теоретических обобщений.

В свете сложившейся диспропорции между источниковедческим и историческим уровнями археологического исследования внедрение экологического подхода в археологию особенно актуально. Можно без преувеличения сказать, что вне «экологизации» археологической науки нельзя плодотворно разрабатывать такие важные проблемы древней истории Сибири, как факторы изменения форм экономики (в частности, предпосылки становления производящего хозяйства), причины расцветов и упадков древних культур, условия неравномерности исторического развития населения разных географических районов, региональные особенности материальной и духовной культуры первобытных обществ, причины, содержание и социальные последствия древних миграций и т. д.



¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 30. Мысль о все усложняющейся зависимости человека от природы высказывалась К. Марксом и Ф. Энгельсом в ряде других работ, например: Соч., т. 20, с. 496; т. 23, с. 521—522, 552 и др.

² Анисимов А. Ф., 1966, с. 30.

³ Герасимов И. П., 1977, с. 15.

⁴ Камшилов М. М., 1969, с. 32.

⁵ Анисимов А. Ф., 1959, с. 33.

⁶ Вдовин И. С., 1971, с. 295.

⁷ Цинциус В. И., 1971, с. 173—174.

⁸ Смирнов И. Н., 1890, с. 221.

⁹ Швецов С., 1899, с. 12.

¹⁰ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 495—496.

¹¹ Там же, т. 46, ч. I, с. 463.

¹² Там же, с. 481.

¹³ Пуляркин В. А., 1968, с. 77.

¹⁴ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 16.

¹⁵ Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956, с. 565.

¹⁶ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 496.

¹⁷ Там же.

¹⁸ Камшилов М. М., 1978; Котляков В. М., 1980, с. 6.

¹⁹ Камшилов М. М., 1978, с. 288.

²⁰ Печальнее всего, что разрушение памятника фактически ничего не прибавило к нашим прежним знаниям о сибирском походе Ермака.

²¹ Чернецов В. Н., 1953а, б; Мошинская В. И., 1957; Косарев М. Ф., 1974, 1981.

²² Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. I, с. 42.

²³ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 21.

²⁴ Там же, с. 455—456.

²⁵ Долгих Б. О., 1967, с. 3.

²⁶ См. например: Кантор К. М., 1977; Герасимов И. П., 1978.

²⁷ Герасимов И. П., 1978, с. 67.

²⁸ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 2, с. 166.



Общая физико-географическая характеристика. Вопросы палеоклиматологии. К проблеме смещения ландшафтных границ.

Общая физико-географическая характеристика

Западная Сибирь по своим физико-географическим особенностям — территория во многом уникальная. Она почти целиком лежит на практически идеальной равнине с классическим широтным расположением природных поясов. Здесь представлены все ландшафтно-растительные зоны, характерные для умеренных и северных широт, — степь, лесостепь, тайга, лесотундра, тундра, и полярная пустыня (рис. 9). В пределах Западно-Сибирской равнины находится самый большой в Евразии Обь-Иртышский бассейн, площадью около 3 млн. кв. км.

Западная Сибирь — самый заболоченный регион земного шара. Болота занимают более половины ее площади. Здесь сосредоточено до 60% общесоюзных запасов торфа и около 30% мировых. В таежной части между-речья Оби и Иртыша расположена самая большая в мире система знаменитых Васюганских болот. Длина ее с юго-востока на северо-запад достигает 800 км при ширине до 300—350 км¹. Из-за большой доли болотного питания воды Обь-Иртышского бассейна в таежной и тундровой зонах имеют самое большое в мире содержание железа². Окислительные процессы («ржавление воды») вызывают зимой в водоемах острый недостаток кислорода, что приводит к катастрофическим заморам рыбы.

В Западной Сибири насчитывается более 800 тыс. озер, в том числе в тундровой зоне 96 533, в лесотундре и таежно-болотной полосе — 691 509³. Еще несколько десятков тысяч озер находится в степной и лесостепной зонах, а также на Алтае и в Кузнецком Алатау. Они обычно невелики и не глубже (речь идет о равнинных озерах) 2—3 м. Самое большое озеро Западной Сибири — Чаны — находится в Барабинской лесостепи. Площадь его колеблется от 2 тыс. до 3,6 тыс. кв. км, наибольшая глубина — 7—12 м.

Климат Западной Сибири — континентальный и довольно суровый; он определяется четырьмя основными географическими особенностями этой территории. Первая из них — положение преимущественно в умеренных широтах, обуславливающее ограниченное количество солнечного тепла и отсюда сравнительную суровость климата. Вторая особенность — удаленность, особенно южной части региона, от океанов, что является основной причиной континентальности климата. Третья особенность — равнинная территория, открытая как для холодного арктического воздуха с севера, так и теплых ветров из Казахстана и Средней Азии. И, наконец, четвертая особенность — заградительные горные барьеры на периферии: на западе — Урал, препятствующий поступлению влажных атлантических воздушных масс; на юге — Алтай и Саяны, а за ними — мощнейшие си-

стемы Памира и Тянь-Шаня, отгородившие Западную Сибирь от сухих масс центральноазиатского воздуха ⁴.

По направлению с юга на север, от степной зоны к тундровой, наряду с закономерным понижением зимних и летних температур и сокращением вегетационного периода наблюдается постепенное увеличение влажности; однако на севере тайги и в тундровой зоне влажность вновь снижается. Так, сумма годовых осадков в степи составляет 200—300 мм, в лесостепи — 300—400 мм, в тайге — 400—500 мм, в тундре — 300—200 мм (как в степной зоне).

Как это ни парадоксально на первый взгляд, степь и лесостепь в экологическом отношении во многом сопоставимы с тундрой и лесотундрой. Так, для степи и тундры одинаково характерны открытые безлесные пространства, сравнительно сухой климат, гололеды, мигрирующие стада копытных, быстрая смена благоприятных и неблагоприятных погодных условий. Любопытно, что первые русские путешественники, описывая природные особенности тундры, часто называли ее не тундрой, а степью ⁵. Экологическая сопоставимость степи и тундры очень важна для понимания сходства древних хозяйственных традиций степных и тундровых групп населения: в древности у тех и других основную роль в хозяйстве играла подвижная охота на диких копытных, позже население степей переходит к кочевому скотоводству, а население тундры — к кочевому оленеводству.

Западносибирская лесостепь весьма существенно отличается от восточноевропейской. Для первой характерны большая континентальность климата, гривной рельеф, березовые рощи (колки), значительная заболоченность, сравнительно большое количество озер, обширные участки засоленных почв; для второй — менее континентальный климат, балочно-долинный рельеф, дубравы, малое число озер, слабая заболоченность. В целом западносибирская лесостепь более засушлива, чем восточноевропейская. Засухи повторяются здесь через каждые два-три года, а сильные засухи, приводящие к гибели сельскохозяйственных культур, — примерно раз в 10 лет ⁶.

Одной из особенностей степной и лесостепной зон Западной Сибири являются повторяющиеся усыхания и возобновления местных озер. Так, в окрестностях с. Кривинского (Курганский округ Тобольской губ.) до 1854 г. было лишь шесть озер; после 1854 г. их стало 30. Похожая картина наблюдалась и в других местах юга Западной Сибири. В Чистоозерной и Локтинской волостях озер не было вообще, а после 1854 г. в одной только Локтинской волости их образовалось около 50 ⁷. Высокая вода держалась несколько лет — примерно до 1860 г., затем началось усыхание. В 1883—1886 гг. произошло новое обводнение озер. Аналогичные явления имели место в Казахстане. «Некоторые из озер Киргизской (т. е. Казахстанской. — М. К.) степи, — отмечал И. И. Завалишин, — замечательны особым физическим явлением. Они — то исчезают, то наполняются вновь. Иной год они глубоки и обильны рыбой, а потом исчезают и на днище являются великолепные покосы с высокою сочною травой, ставятся зароды сена. Старожилы из прилинейных казаков правого фланга Сибирской линии говорят, что подобные явления сменяются одни другими через каждые двадцать лет. К тому же разряду диковинных приливов и отливов озер относится и обширное оз. Убугань, близ которого было Кишмурунское

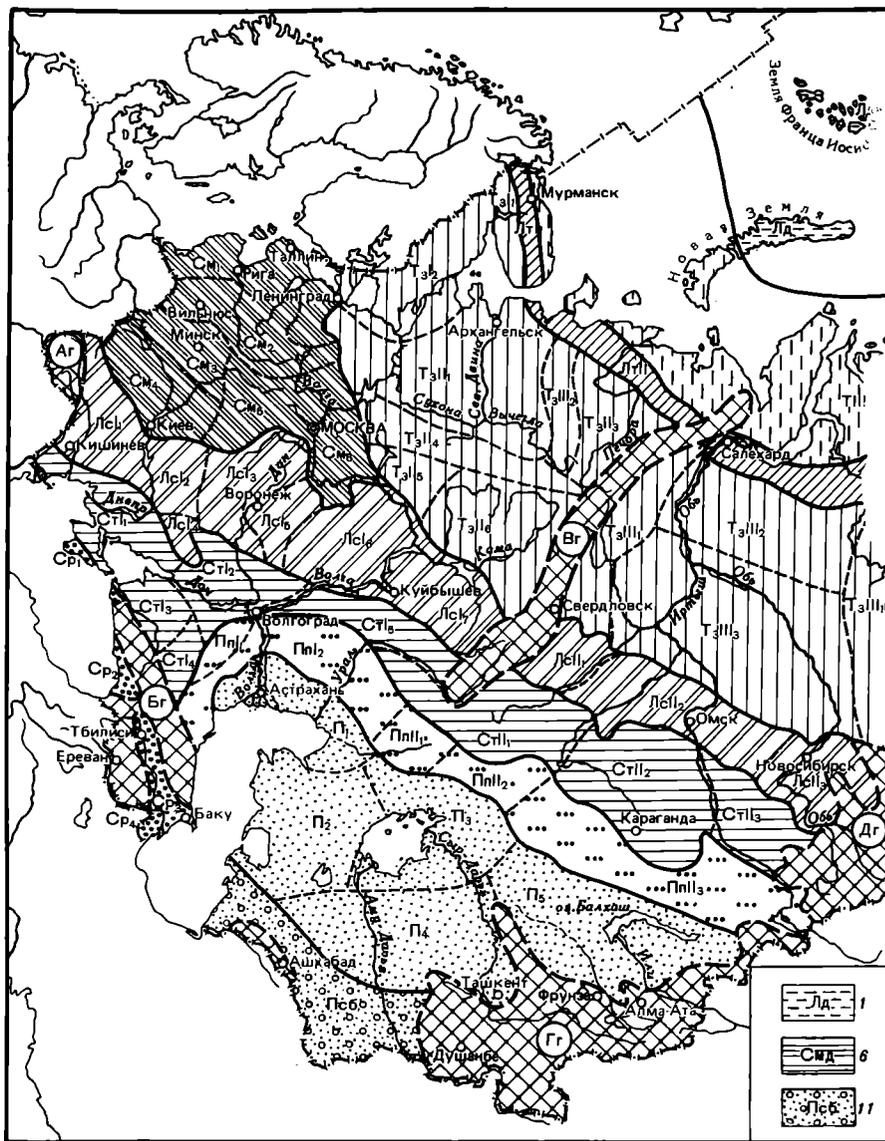
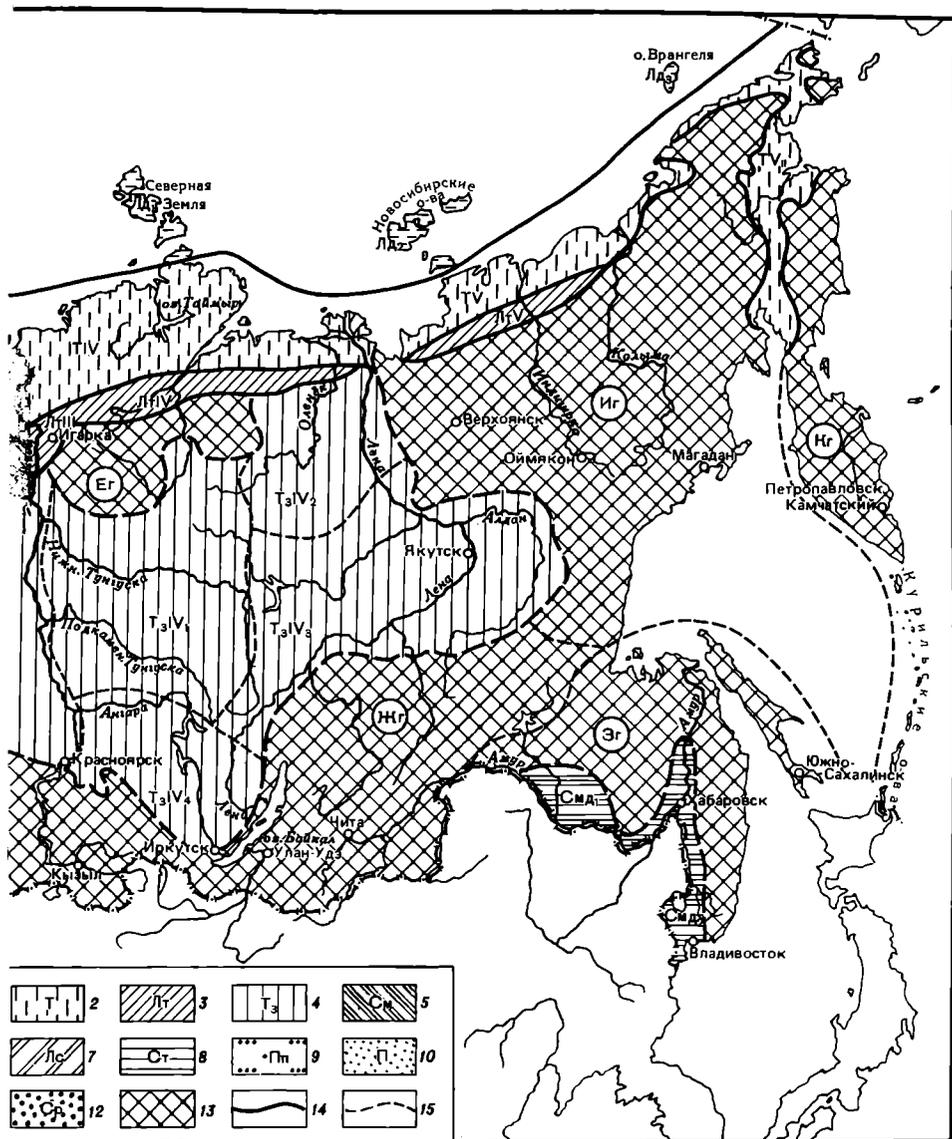


Рис. 9. Природные зоны СССР (составил Ф. Н. Мильков: Природные зоны СССР. М., 1977, с. 22—23)

1 — ледяная зона; 2 — тундра; 3 — лесотундра; 4 — тайга; 5 — смешанные леса Русской равнины; 6 — смешанные леса Дальнего Востока; 7 — лесостепь; 8 — степная зона; 9 — полупустыня; 10 — пустыни умеренного пояса; 11 — субтропические пустыни; 12 — средиземноморская зона; 13 — горные страны; 14 — границы природных зон; 15 — границы провинций



укрепление. Впрочем, мы сами были свидетелями в 1854 г. в Курганском округе (Тобольской губ.), прилегающей к Киргизской степи, что многие озера, на которых исстари косили сено (ибо они много лет уже обратились в сухие котловины), вдруг наполнились весной водами, да так, что и рыба появилась в них, и озерами они потом остались»⁸. Всего для зауральско-казахстанских степей в прошлом столетии отмечено три мощных обводнения озер — в 1829, 1854 и в 1883 гг.⁹

Местное население не склонно связывать периодические подъемы уровня озер, или «смоки», как их называют чалдоны, с увеличением количества осадков. В Тюкалинском округе Тюменской губ. наивысший уровень озер наблюдался в 1888—1889 гг., хотя 1889 г. был очень засушливым, и, напротив, в 1895 г. вода в озерах сильно убыла несмотря на дождливое лето¹⁰. Наполнение степных и лесостепных озер сибирские старожилы связывают с выходом на поверхность грунтовой (или, как они говорят, «земляной») воды¹¹.

Эти чередующиеся с усыханиями мощные озерные «приливы» не имеют строгой периодичности. Однако промежутки между ними не бывают, видимо, меньше 25 и более 35—40 лет; в среднем эта цикличность (за цикл берется сумма лет, приходящаяся на «прилив» и «отлив») составляет около 35 лет. Скорее всего, эта неправильность объясняется нестандартным характером наложения друг на друга нескольких разных по периодичности приливообразующих сил, а также гидрографическими особенностями конкретных районов — например, неодинаковой глубиной залегания грунтовых вод, их разным количеством, скоростным режимом и т. д. Так, некоторую несинхронность в колебаниях уровня кулундинских озер Б. Бережков объяснял в свое время разной скоростью передвижения грунтовых вод. Поэтому, считал он, «может случиться, что засушливый год отразится на уровне озер только через несколько лет»¹².

Возможно, некоторая несинхронность могла происходить и за счет тектонических особенностей разных районов аридного пояса. Так, обводнение озер, тяготеющих к верховьям Убагана в пограничье Тургайской столовой страны и Казахского мелкосопочника, имело место, если верить опросным данным А. К. Гейнса, в 1849 г., т. е. на пять лет раньше, чем в Курганском округе Тобольской губ. Внешний эффект озерного «прилива» здесь также был несколько иным. Вот как описывает А. К. Гейнс это событие в местности между речками Тютюгур и Кайбагар: «С треском и громом, подобным пушечному, открылись между этими двумя реками ключи отличной воды, бившей очень высоко. Вода начала наполнять пространство между реками так скоро, что некоторые киргизы, бывшие еще на своих зимовках, не успели убрать своих вещей и угнать овец. В самое короткое время образовалось обширное озеро верст в 70 между Тютюгуром и Кайбагаром... Киргизы называют это озеро Тютюгур-Кайбагар. На нынешнем дне его были превосходные покосные луга. Странно, что в короткое время по образованию озера там появилось много рыбы. Киргизы окрестных мест занимаются рыболовством в обширных размерах»¹³.

Разнообразие природных условий Западной Сибири, выразившееся в наличии нескольких растительных и климатических зон, определило различия в хозяйственном укладе населения, направляя его производственные возможности в сторону охоты, рыболовства, пастушества или земледелия, ускоряя либо замедляя освоение металлообработки, способствуя или препятствуя увеличению плотности населения и т. д. Однако, говоря о важной роли природной среды, следует иметь в виду, что особенности ландшафта, направление речных путей, наличие или отсутствие удобных для эксплуатации каменных и рудных месторождений и другие естественногеографические факторы в разных своих сочетаниях, в разные исто-

рико-археологические эпохи и при разных социально-экономических обстоятельствах проявлялись по-разному.

«Внешние природные условия, — писал К. Маркс, — экономически распадаются на два больших класса: естественное богатство средствами жизни, следовательно плодородие почвы, обилие рыбы в водах и т. п., и естественное богатство средствами труда, каковы: действующие водопады, судоходные реки, лес, металлы, уголь и т. д. На начальных ступенях культуры имеет решающее значение первый род, на более высоких ступенях — второй род естественного богатства»¹⁴.

В эпоху камня Восточная Сибирь, обладавшая богатейшими источниками каменного сырья, имела по сравнению с Западной Сибирью лучшие возможности для развития каменной индустрии. Так, неолит Прибайкалья демонстрирует нам разнообразие каменных орудий, высокое мастерство в обработке разных пород камня, в том числе яшмы, халцедона и нефрита. Западная Сибирь, наоборот, испытывала недостаток в каменном сырье, и каменные орудия изготовлялись здесь в основном из сланцевых пород и речного галечника. Они сделаны преимущественно на отщепях, немногочисленны и отличаются довольно небрежной обработкой.

Но бедность Западной Сибири камнем и, напротив, обилие в Восточной Сибири, в частности Ангаро-Байкалье, доступных и разнообразных источников каменного сырья определили в дальнейшем разную степень стимуляции технического прогресса. В Западной Сибири острая и постоянная нехватка каменного сырья вызвала по мере развития производительных сил необходимость поставить хозяйство на более прочную техническую основу. Используя опыт южных соседей, население юго-восточной части Обь-Иртышья осваивает местные месторождения самородной меди и оловянного камня и создает собственную бронзовую металлургию, о богатстве и своеобразии которой говорят такие блестящие памятники, как Самусьское IV поселение в низовьях Томи и Ростовкинский могильник близ Омска.

Население Восточной Сибири, не испытывавшее сырьевого кризиса, продолжало использовать традиционные источники сырья, а это не способствовало активным поискам новых производственно-технических возможностей. А. П. Окладников, обращая внимание на отсутствие металлических топоров в Прибайкалье в эпоху бронзы, справедливо соглашается с В. А. Городцовым, что «жители Прибайкалья могли долгое время обходиться без металлических топоров потому, что они в избытке имели для этих целей саянский нефрит, орудия из которого почти не уступали по прочности изделиям если не из бронзы, то во всяком случае из чистой меди»¹⁵.

Исследуя причины, ускорившие социально-экономическое развитие Западной Сибири, следует учитывать еще одно обстоятельство, которое раньше, в каменном веке, не было столь значимым, а именно удобное расположение речных путей. Основные реки обского бассейна (Тобол, Ишим, Иртыш, сама Обь) текут в относительно спокойных равнинных условиях, с юга на север, из степной и лесостепной зон в таежную, что начиная с эпохи металла способствовало усилению экономических и культурных связей Западной Сибири с южным скотоводческо-земледельческим миром.

Географическое положение Восточной Сибири было менее выгодным. Бассейн Лены почти целиком лежит в пределах горно-таежного ланд-

шафта, вследствие чего контакты, осуществляемые там по речным путям, были затруднены и не выходили обычно за пределы таежной зоны. Замкнутое общение в родственной охотничьей среде способствовало консервации культурных традиций и производственных навыков и привело начиная с эпохи металла к заметному экономическому отставанию населения Восточной Сибири от носителей таежных западносибирских культур.

Приведенные примеры иллюстрируют неодинаковую роль одного и того же природного окружения в разные исторические эпохи. В равной мере нельзя без оговорок отдавать предпочтение степному ландшафту перед таежным только на том основании, что степь по сравнению с тайгой имела лучшие возможности перехода к производящему хозяйству. В каменном веке, до появления скотоводства и земледелия, степь была малоудобной для жизни территорией. Крайне редкая и нестабильная гидрографическая сеть, колебания объема пищевых ресурсов в связи с частыми засухами летом, буранами и гололедами зимой не давали возможности наладить сколько-нибудь надежные охотничьи и рыболовецкие промыслы. В каменном веке степь была заселена слабо; здесь в то время обитали, видимо, редкие и немногочисленные охотничьи группы, часто передвигавшиеся с места на место вслед за стадами копытных животных. Более или менее прочная оседлость могла иметь место лишь в периоды обводнения озер и повышения их проточности, когда создавались благоприятные условия для рыболовства.

В оценке особенностей экономического развития населения разных районов Западной Сибири в ту или иную историческую эпоху следует учитывать также возможную нестабильность географической среды в связи с периодическими изменениями климата.

Вопросы палеоклиматологии

Сейчас отечественные и зарубежные специалисты в своих палеоклиматических построениях исходят из цикличности изменения климата на нашей планете. Если попытаться классифицировать выявленные климатические ритмы по происхождению и длительности, то получится примерно такая градация.

Первый порядок. Долгопериодические изменения климата, совпадающие с геологическими и палеонтологическими эпохами. Длительность этих циклов — 40—60 млн. лет. В процессе вращения солнечной системы вокруг центра Галактики Солнце, а вместе с ним и наша Земля, проходят участки мирового пространства, по-разному насыщенные космической материей. Прохождение солнечной системы сквозь поглощающие галактические туманности могло вызывать периодические ослабления солнечной радиации, что влияло на климат и условия жизни на Земле. Различная насыщенность космической материей отдельных областей Галактики, через которые периодически проходит солнечная система, являлась дополнительным фактором гравитационного воздействия, по-разному возбуждающего земную кору, что способствовало смене геологических, а вслед за этим и палеонтологических эпох. Авторы этой гипотезы — советские геологи В. И. Синицын, Г. П. Тамразян и др.¹⁶ В последние годы некоторые ученые предпо-

ложили существование галактических ритмов в 500—600 тыс, и в 200 млн. лет¹⁷.

Второй порядок. Климатические периоды, связанные с изменением элементов земной орбиты. Эти ритмы были открыты в свое время известным математиком, астрономом и палеоклиматологом М. Миланковичем. Он вычислил математически наиболее и наименее благоприятные периоды поступления солнечного тепла на Землю в зависимости от наклона ее оси, изменения плоскости орбиты и степени ее вытянутости. Удалось определить, что периодичность этих изменений равна 92 тыс., 40 тыс. и 21 тыс. лет. По подсчетам М. Миланковича за последние 600 тыс. лет основные элементы земной орбиты несколько раз сочетались таким образом, что их климатические последствия то складывались, то погашали друг друга, что выразилось в смене на нашей планете ледниковых и послеледниковых эпох¹⁸. По мнению Е. В. Максимова наиболее выраженным и наиболее значимым для смены ледниковых эпох является ритм в 40 тыс. лет, который по уточненным данным равен 40 700 годам¹⁹.

Третий порядок. Климатические ритмы, вызванные периодическими воздействиями на Землю суммированной приливообразующей силы Луны, Солнца и планет солнечной системы. При объяснении этих ритмов принято обращаться к теории О. Петтерсона²⁰. Она исходит из законов небесной механики и решена в виде математической задачи. Сущность ее заключается в том, что в процессе вращения Луны вокруг Земли плоскость лунной орбиты постепенно меняется, и через каждые 1700 лет Земля, Луна и Солнце совмещаются на одной прямой, причем это совмещение при сравнительно небольшом диапазоне отклонения сохраняется достаточно длительное время. В результате происходит суммирование приливообразующей силы Луны и Солнца с возрастанием ее приблизительно на 12% (по сравнению с наиболее низким показателем). Это вызывает существенные возмущения земной гидросферы и атмосферы и приводит к повышению общей увлажненности климата.

В 50-е годы известный советский палеоклиматолог А. В. Шнитников, обобщив огромный палеоклиматический материал, показал, что он находится в соответствии с циклами изменения приливообразующей силы по теории О. Петтерсона. Опираясь на гляциологические, палинологические, исторические и другие данные, А. В. Шнитников внес некоторые весьма существенные коррективы в традиционную палеоклиматическую схему Блитта—Сернандера. Он разделил послеледниковое время на 1850-летние климатические периоды, совпадающие с повторяющимися максимумами приливообразующей силы Луны и Солнца. Каждый из этих ритмов состоит, по А. В. Шнитникову, из двух основных фаз — влажной (продолжительность 300—500 лет) и сухой (длительность около 600—800 лет), между которыми лежит переходная фаза, продолжающаяся около 700—800 лет²¹.

В послеледниковый период, в голоцене, особенно выражено прослеживаются как раз эти 1850-летние климатические циклы. Сами по себе они, конечно, не могут порождать ледниковые эпохи, но способны усиливать или ослаблять их эффект — на уровне интерстадиалов и интергляциалов. Кроме того, они влияли на ландшафтные изменения, особенно существенно в пограничье природных зон. Применительно к исследуемому в настоящей

работе времени нас в первую очередь будут интересовать именно эти 1850-летние климатические ритмы.

Второстепенные максимумы приливообразующей силы Луны и Солнца повторяются через 84—93 года, а третьестепенные, очень слабо выраженные, — через 9 лет.

Нельзя представлять дело таким образом, что каждый последующий 1850-летний климатический цикл является копией предыдущего. Дело в том, что на них по-разному накладываются климатические ритмы других порядков и другой продолжительности. Эти взаимонакладывающиеся и нестандартно вписывающиеся друг в друга ритмы приводили к тому, что климатический эффект 1850-летних климатических циклов (и их отдельных фаз) мог усиливаться или ослабляться.

Следует учитывать, например, что на 1850-летний климатический цикл накладываются ритмы, связанные с максимумами приливообразующей силы планет Солнечной системы — Марса, Венеры, Сатурна, Урана и Нептуна, периодичность которых составляет 1680, 168, 84, 24, 12 лет. Так, ритмы в 168 лет и 84 года хорошо сопоставляются с зафиксированными исторически рекордными наводнениями Нила²². Не исключено, что малые 9-летние ритмы приливообразующей силы Луны и Солнца и 12-летние ритмы приливообразующей силы планет Солнечной системы тоже оказывают влияние на изменение уровня воды в реках и озерах. Во всяком случае, наводнения в таежном Приобье и связанные с ними ухудшения условий рыболовства у приобских острок, по сообщениям путешественников XVIII—XIX вв., повторялись регулярно, со средней периодичностью в 10 лет²³. Нам представляется, что упоминаемые в предыдущем разделе настоящей главы обводнения степных и лесостепных западносибирских озер («смоки»), повторяющиеся в среднем через 35 лет, судя по их внешним проявлениям, тоже связаны с какими-то внутренними вековыми изменениями приливообразующей силы. Накапливающиеся сейчас данные как будто не противоречат этому предположению²⁴. Имеют место и более мелкие «пульсы» приливообразования, которые улавливаются, однако, лишь на фоне ландшафтно-климатической и гидрологической специфики отдельных районов. Так, в колебаниях уровня оз. Зайсан в верховьях Иртыша прослеживались 6—8-летние периоды²⁵, а большие разливы рек в Туруханском крае повторялись, по свидетельству старожилов, через каждые 3—4 года²⁶.

Таким образом, на интересующие нас 1850-летние циклы влияет, во-первых, то, что они происходят на фоне более длительных климатических периодов, а во-вторых, то, что они, в свою очередь, служат фоном для более мелких климатических ритмов разного происхождения и разной продолжительности. Это могло не только усилить, ослабить и затушевать проявления 1850-летних климатических циклов, но также несколько удлинить и укорачивать их, в том числе и их фазы, — т. е. периодичность в 1850 лет следует понимать, видимо, достаточно усредненно.

В III—I тысячелетиях до н. э. произошли, согласно построению А. В. Шнитникова, три весьма значительных колебания климата: период повышенной увлажненности (вторая половина III и начало II тысячелетия до н. э. — переходное время от неолита к бронзовому веку по археологической классификации), период пониженной увлажненности (II тысяче-

летие до н. э. — бронзовый век), вновь период повышенной увлажненности (середина и конец I тысячелетия до н. э. — эпоха раннего железа)²⁷.

В последние десятилетия схема Петтерсона—Шнитникова была подтверждена многочисленными новыми данными, полученными учеными разных специальностей — лимнологами, палинологами, гляциологами, геологами, почвоведками, гидрологами и др.²⁸ Так, недавние гидрологические исследования на Аральском море выявили следующую последовательность колебаний его уровня. В III тысячелетии до н. э. имела место трансгрессия Арала, вследствие чего уровень моря достиг абсолютной отметки 56—57 м; резко сократилась его соленость. Во II тысячелетии до н. э. Арал переживал регрессивную стадию, в результате которой уровень его понизился до 20—21,5 м, а соленость возросла в три с лишним раза. Затем вновь наступила трансгрессия, датируемая (в том числе и по радиокарбону) около VII—IV вв. до н. э.; уровень моря достиг абсолютной отметки 54,5 м, т. е. был на 1,5 м выше, чем в середине прошлого столетия²⁹. Применительно к территории Западной Сибири эта палеоклиматическая схема хорошо подтверждается археологическими данными, на чем мы остановимся несколько позже.

Изложенные выше теории и гипотезы сейчас практически не имеют противников, но еще совсем недавно некоторые из них горячо и непримиримо оспаривались. Среди наиболее категорических оппонентов следует особо выделить И. Г. Пидопличко и П. С. Макеева. Эти ученые отвергают возможность каких-либо климатических изменений на нашей планете за последние несколько сот тысяч лет, отрицая даже существование в прошлом ледниковых эпох. Они не допускают мысли, что на климатическую историю земли могли и могут влиять космические факторы. Так, прекрасную и одно время незаслуженно забытую книгу А. Л. Чижевского³⁰, рассмотревшего зависимости между 11-летними солнечными ритмами и изменениями погоды, интенсивностью роста деревьев, временем зацветания растений, пышностью цветения, размножением и миграцией насекомых, временем прилета птиц, изменением самочувствия людей, страдающих сердечными заболеваниями, и т. д. — работу, вошедшую в золотой фонд отечественной и мировой науки, И. Г. Пидопличко и П. С. Макеев «опровергли» буквально несколькими фразами, в которых постулируется ненаучность поиска причин земных явлений в космосе³¹, поскольку такое направление причинно-следственных связей непонятно «широким массам»³².

Нет необходимости говорить, что призывы И. Г. Пидопличко и П. С. Макеева упростить науку до уровня, понятного «широким массам», демагогические намеки на то, что те, кто принимают во внимание космические факторы в объяснении ритмов природы, — антимарксисты и пр., свидетельствуют об элементарной недобросовестности и отдаче откровенной спекуляцией. Это — доказательства такого же рода, как те, при помощи которых были «опровергнуты» в свое время кибернетика и генетика, что нанесло огромный ущерб нашей советской науке. Нетрудно видеть, что отрицание ритмичности природных явлений влечет за собой признание хаотичности и беспорядочности развития природы, отсутствия в ней каких-либо закономерностей, что в корне противоречит основным положениям марксистской философии.

Последовательность и датировка ритмов увлажненности в III—I тысячелетиях до н. э., изложенная в работах А. В. Шнитникова, подтверждается археологически. В целом топографическая приуроченность древних поселений в лесостепном Зауралье и на юге Западно-Сибирской равнины зависела: в конце неолита — от высокого уровня воды в реках и озерах ³³, в бронзовом веке — от низкого ³⁴, в начале железного века — вновь от высокого ³⁵.

В степной и лесостепной зонах исследуемой территории, параллельно с изменением топографии поселений, прослеживаются определенные демографические трансформации, тоже связанные, на наш взгляд, с колебаниями увлажненности климата. В период, предшествующий эпохе бронзы, население южной части Западно-Сибирской равнины могло жить в открытых степях, вдали от больших рек — у озер, мелких степных речек и даже в местах, не имеющих сейчас источников воды (на так называемых родниковых стоянках). Во II тысячелетии до н. э. (бронзовый век), наоборот, открытые степи почти полностью обезлюдели и степняки сосредоточились в основном у широких речных пойм, видимо игравших в то время роль своеобразных степных «оазисов». В середине и второй половине I тысячелетия до н. э. (эпоха раннего железа) вновь появилась возможность для освоения открытых степей, но теперь уже не охотничье-рыболовческими группами, как в неолите, а кочевыми скотоводами.

Таким образом, комплекс различных взаимоподтверждающих данных с очевидностью свидетельствует о колебаниях климата на Западно-Сибирской равнине во второй половине голоцена. Однако при всей бесспорности климатических изменений в интересующее нас время остается спорным вопрос — отражались ли они на ландшафтном облике Западной Сибири, в частности на подвижности границы между лесом и степью.

К проблеме смещения ландшафтных границ

Некоторые палеогеографы, не отрицая в принципе климатических колебаний в последние тысячелетия, считают, что они не отразились на подвижности ландшафтных границ ³⁶. Эти выводы основаны большей частью на данных споро-пыльцевых анализов. Однако здесь нельзя не принимать во внимание, что споро-пыльцевые показатели сами по себе, в связи с неотработанностью методики их интерпретации и из-за способности пыльцы переноситься водой, ветром и другими путями на большие расстояния, не вполне надежны для определения границ древних ландшафтно-растительных зон, что, впрочем, признают и сами споро-пыльцевики ³⁷, между которыми существуют значительные разногласия в оценке реакции природных зон на изменения климата.

Особенно наглядно ненадежность споро-пыльцевого метода как такового, без подкрепления его данными других наук, видна на палинологических спектрах заполярных районов, где приносная пыльца выявляется особенно отчетливо и бесспорно. Споропыльцевые исследования на Северной Земле показали, что из 10 поверхностных проб лишь одна дала более или менее объективную ботаническую картину. Улавливанием переносной пыльцы из воздуха было выявлено наличие пыльцевых зерен сосны, ели, лиственницы и других древесных пород, неизвестных здесь не

только в настоящее время, но и в течение последних сотен тысяч лет. Поверхностные пробы на Северной Земле, кроме пыльцы перечисленных деревьев, дали также пыльцу липы, северная граница распространения которой проходит в среднем течении Северной Двины и в верховьях Камы. Приведенные данные говорят о переносе пыльцы древесных пород на расстояние до 2000 км (по прямой), а для пыльцы липы еще дальше. Похожие данные получены на Шпицбергене и Земле Франца-Иосифа ³⁸.

Ученые, отстаивающие тезис о неизменности ландшафтно-растительных границ во второй половине голоцена, ссылаются, в частности, на работы М. И. Нейштадта, который считает, что климатические колебания последних тысячелетий вряд ли сказывались заметно на границах основных природных зон. По его мнению, ландшафтные сдвиги происходили главным образом за счет колебаний границ подзон, в то время как рубежи между зонами, в частности между лесом и степью (тайгой и лесостепью), оставались относительно стабильными ³⁹. Нам представляется, что подобные высказывания не характеризуют М. И. Нейштадта как категорического сторонника неизменности ландшафтных границ. Говоря, например, о превращении южной части тайги из преимущественно хвойной в преимущественно лиственную и наоборот в разные периоды голоцена, он тем самым в принципе признает значительные смещения ландшафтных границ в эти периоды. Ведь лиственный лес — это не тайга. Многие ландшафтоведы относят лиственные леса предтаежной полосы Западной Сибири к особой ландшафтной зоне. Одни называют ее зоной лиственных лесов ⁴⁰, другие — зоной смешанных березово-хвойных лесов ⁴¹, третьи — предтаежной зоной ⁴².

Подобным же образом можно трактовать характер изменения растительности лесостепной зоны: на самом деле, если для южной лесостепи в засушливые климатические фазы становится характерной более ксерофильная растительность, то это трудно воспринимать иначе, как показатель наступания степи на лесостепь.

Я хотел бы подробнее остановиться на палеогеографическом построении томского краеведа Д. П. Славнина, призванном доказать неизменность ландшафтного облика Западной Сибири во второй половине голоцена. Точка зрения Д. П. Славнина была принята некоторыми западносибирскими археологами — В. И. Матюшенко, В. А. Посредниковым и др.; они положили ее в основу своих исследований по древней экономике Томско-Нарымского Приобья.

Несколько лет назад Д. П. Славнин выступил с резкой критикой одной из моих статей по палеогеографии Западно-Сибирской равнины ⁴³. К сожалению, его подход к палеогеографической проблематике, как и любой узко-краеведческий подход, характеризуется слабым знанием специальной литературы, что приводит к абсолютизации какого-либо одного, зачастую устаревшего тезиса.

Д. П. Славнин абсолютизировал высказывание геолога Л. Б. Рухина от 1959 г., что «палеогеография — это геологическая наука», игнорируя то обстоятельство, что Л. Б. Рухин сформулировал этот (в общем-то спорный) тезис «применительно к древним геологическим периодам» ⁴⁴. Д. П. Славнин произвольно распространил это определение на вторую половину голоцена, причем неверно отождествил геологический ландшафт с ландшафт-

тно-растительной зональностью. Это привело его к другому неверному выводу: раз геологическая и ботаническая зональности — явления одного и того же порядка, то границей ландшафтно-растительных зон может быть лишь геологическая граница ⁴⁵.

Между тем совершенно очевидно, что распределение ландшафтно-растительных поясов не находится в сколько-нибудь строгой зависимости от геологической зональности. Так, разные в геологическом отношении Западная Сибирь (севернее 56-й параллели) и Восточная Сибирь относятся к одной (таежной) ландшафтно-растительной зоне. И наоборот, Новосибирская обл. и юго-западная часть Томской обл. расположены практически в едином геологическом регионе, для которого характерны равнинность, гривный рельеф, одинаковое направление речных долин, отчасти сходный характер засоленности поверхностных грунтов и т. д. Тем не менее здесь мы видим три разные ландшафтно-растительные зоны — степную (Кулунда), лесостепную (Бараба) и таежную (Васюганье).

Далее, основываясь на той же самой фразе Л. Б. Рухина и на ее произвольном толковании, Д. П. Славнин заключил, что изменение ландшафтно-растительной зональности на той или иной территории возможно лишь в связи с изменением геологических границ, а коль скоро во второй половине голоцена не было сколько-нибудь заметных геологических трансформаций, не может быть и речи о каких-либо колебаниях ботанических границ в то время ⁴⁶.

В данном случае Д. П. Славнин игнорирует общеизвестную истину, что ландшафт — чрезвычайно сложное явление, обусловленное многими факторами: рельефом, температурным режимом, степенью увлажнения климата и др. Существенное изменение хотя бы одного из них может повлиять на ландшафтный облик территории в целом. К числу особенно важных факторов ландшафтно-растительной зональности в послеледниковое время относятся степень увлажненности и температурный режим. Именно они в основном (если не учитывать антропогенный фактор) определяют современный характер ландшафтно-растительной зональности на Западно-Сибирской равнине, а их периодические изменения в прошлом приводили к колебаниям ландшафтно-растительных границ, причем в последние тысячелетия на практически неизменном геологическом фоне.

Подавляющее большинство географов-ландшафтоведов считает с теми или иными оговорками, что основным условием изменения границ ландшафтно-растительных зон являются колебания увлажнения климата. Ф. Н. Мильков пишет: «Безлесье степей — явление зональное, обусловленное прежде всего неблагоприятным (сухим) климатом. На этом неблагоприятном климатическом фоне на произрастании лесов отрицательно сказываются засоленность почв, конкуренция степного травостоя, равнинность рельефа и другие факторы. На другом климатическом фоне в случае преобладания осадков над испаряемостью ни засоленность почв, ни конкуренция степного травостоя не помешали бы произрастанию лесов в степях» ⁴⁷.

Крупнейший специалист по ботанической географии Сибири Л. В. Шумилова считает безусловным, что при «наличии тенденции к нарастанию сухости... степи наступали на леса в местах контакта с ними и постепенно реградировали оподзоленные почвы до черноземов... Напротив, при увели-

чений влажности климата приобретали преимущества лесные ценозы, которые угнетали светолюбивую степную растительность и, наступая, в свою очередь, подвергали деградации черноземные почвы»⁴⁸. Говоря о фактах нестабильности степного и лесного ландшафтов в прошлом, она пишет: «Наличие темноцветных вторично-подзолистых почв в Западной Сибири... может рассматриваться в качестве доказательства сравнительно недавнего существования лугово-степных ценозов значительно севернее современного их предела; с другой стороны, наличие в лесостепи мощных сфагновых торфяников, обычно сопутствующих хвойным лесам, является свидетельством былого распространения последних южнее их современной границы»⁴⁹.

Однако вопросы реконструкции древних ботанических зон очень сложны и не во всех случаях имеют однозначное решение. Согласно наблюдениям ученых-торфоведов, в таежной зоне Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин во влажные климатические периоды проявлялась тенденция к сокращению лесных массивов (за счет увеличения площади болот), а в засушливые климатические фазы могло происходить расширение лесных пространств (за счет уменьшения заболоченных площадей)⁵⁰. Не менее сложными были взаимоотношения лесных, болотных и степных ценозов в лесостепной и степной зонах, где в сухие климатические периоды общая площадь лесов могла увеличиваться в результате пересыхания болот, озер и речных пойм, а во влажные климатические фазы значительная часть этих низинных лесов должны были погибать от «вымокания».

Таким образом, при общей тенденции к распространению леса на юг в периоды повышенной увлажнения и к наступанию степи на север в сухие климатические фазы, на юге Западно-Сибирской равнины проявлялась параллельно еще одна тенденция — к взаимопроникновению лесной и степной растительности. Интересные палеофаунистические данные о возможности такого взаимопроникновения на территории Тоболо-Иртышья приведены (для эпохи бронзы) Н. Г. Смирновым⁵¹. Альтернативность толкования одних и тех же показателей создает трудности при реконструкции древних ландшафтно-растительных зон, что лишний раз подтверждает ненадежность обращения лишь к одной категории палеогеографических свидетельств, без привлечения других данных.

К сожалению, в лабораторных условиях нельзя пока создать модель природных климатических ритмов со всем комплексом их ландшафтно-географических последствий. В этой связи чрезвычайно интересны уже охарактеризованные вкратце в предыдущих разделах короткопериодические циклы увлажнения со средней продолжительностью в 35 лет, прослеживаемые по периодическим колебаниям уровня степных и лесостепных озер Западной Сибири. Они вписываются в многовековые 1850-летние климатические циклы Петтерсона—Шнитникова и являются как бы их микро-моделью. Эти малые ритмы (ученые обычно сопоставляют их с циклами Брикнера) тоже состоят из двух фаз — влажной (сравнительно короткой и бурной) и сухой.

Начало этих короткопериодических циклов знаменуется внезапным выходом на поверхность грунтовых вод. Озера увеличиваются в размерах, появляется много ляг (мелководных временных, обычно безрыбных озе-

рец), озер и переям (проток, соединяющих озера), заливаются пойменные пашни, пастбища и сенокосы, гибнут пойменные леса и низинные колки, повышается уровень воды в колодцах. Высокая вода держится несколько лет, а затем в последующие два-три десятилетия идет усыхание — мелеют озера, заболачиваются переямы и курьи, беднеют рыболовецкие угодья убывает вода в колодцах; некоторые пресноводные озера становятся солеными, другие вообще исчезают; в пересохших озерных котлованах местные жители опять начинают возделывать пашни, на дне других возобновляется древесная растительность.

Учитывая характер ландшафтных проявлений описанных циклов, можно предполагать, что в степной зоне и на юге лесостепи крупные многовековые увлажнения древних эпох влекли за собой затопление пойм, гибель пойменных лесов (при возможном возрастании площади гривных лесов), ухудшение условий для оседлого пойменного пастушества и земледелия, улучшение травостоя в открытых степях, хорошие возможности для рыболовства, охоты на степных копытных и кочевого скотоводства. Усыхания должны были вызывать исчезновение или обмеление озер, заболачивание проток, оскудение охотничьих и рыболовецких угодий, ухудшение условий жизни в открытых степях, появление лесов и достаточно богатых пастбищ в котлованах некоторых озер и в пересыхающих речных поймах, благоприятные возможности для пойменного пастушества и земледелия.

В разные исторические эпохи в соответствии с уровнем производительных сил местное население по-разному приспособлялось к меняющейся географической среде — обычно путем увеличения удельного веса наиболее рациональной в конкретной ландшафтно-климатической ситуации отрасли хозяйства.

В связи с конкретными условиями внедрения лугово-степных участков в глубь тайги в засушливые климатические периоды следует вспомнить работы известного сибирского почвовед К. А. Кузнецова. Он считал, что остепнение южной тайги может идти за счет лесных пожаров⁵². Давно известно, что в тайге даже непродолжительные летние засухи создают условия для многократного увеличения количества и интенсивности лесных пожаров.

Для возобновления погибшего от пожара хвойного леса в южной тайге (по материалам, собранным для Средней Сибири) требуется около 90 лет, причем в процессе восстановления выгоревший участок («гарь») проходит несколько стадий, первая из которых в общем соответствует стадии лесостепи⁵³. Частое повторение лесных пожаров способствует тому, что гарь постоянно поддерживается на первой стадии восстановления леса, т. е. на уровне лесостепи.

В засушливые климатические периоды повторяемость летних засух была чаще, чем в обычное время, а вероятность самовозгорания леса, количество пожаров и их губительная сила намного выше. Это подтверждается, например, наличием большого числа углей и зольных прослоек в пограничных горизонтах торфяников⁵⁴, которые образуются, как считают специалисты, при смене влажных климатических фаз сухими. Во время засушливого климата бронзового века многие гари при частых лесных пожарах могли превратиться в луговые и лугово-степные участки, удобные для скотоводства и земледелия. Интересно, что успешное ведение земледелия

и животноводства у русского старожильского населения таежной зоны Сибири в дореволюционное время самым непосредственным образом зависело от наличия удобных гарей. С. Патканов видел в 1888 г. в Тобольской губ. многочисленные гари, расчищенные под пашни жителями с. Демьянского и других деревень, расположенных в районе низовьев р. Демьянки. Урожай зерновых на них составлял первоначально сам-5—7 и даже сам-10, однако в дальнейшем продуктивность пашни падала и чтобы стабилизировать ее на прежнем уровне приходилось периодически удобрять участки навозом⁵⁵. Толчок активному освоению тайги в земледельческом отношении дали здесь опустошительные лесные пожары конца 1860-х годов, которые резко понизили возможности охотничьего (прежде всего пушного) промысла.

Однако, оценивая правомерность точки зрения К. А. Кузнецова о пожарах как причине остепнения в прошлом значительных участков южной тайги, надо учитывать следующее: среди специалистов, занимающихся условиями болотообразования в Западной Сибири, существует обоснованное мнение, что уничтожение таежного древостоя способствует повышению уровня грунтовых вод, а этой увеличивает вероятность заболачивания — особенно на Западно-Сибирской равнине, где грунтовые воды близко подходят к поверхности и болотообразовательные процессы очень интенсивны. «Хорошо еще, — писал о западносибирских пожарах прошлого столетия И. С. Поляков, — если пожарище снова зарастет мелким лиственным или хвойным лесом, в других же случаях под сенью упавших деревьев мирно образуются болота, как будто в прибавок к тому громадному их количеству, в котором они распространены не только в Тобольской губ., но и вообще в Западной Сибири»⁵⁶.

Охарактеризованная закономерность на самом деле имеет место, и против нее не приходится спорить. На ней, в частности, основывается Д. П. Славнин, выступая против точки зрения о колебаниях ландшафтных границ в Западной Сибири во второй половине голоцена. Он полагает, что лесные гари не остепняются, а «в силу насыщенности территории Нарымского края почвенными и грунтовыми водами закономерно заболачиваются, так как прекращается расход этих вод на произрастание леса»⁵⁷.

С позиций формального подхода аргумент выглядит достаточно убедительным. Но дело в том, что Д. П. Славнин не учел здесь по крайней мере трех обстоятельств. Во-первых, даже в Нарымском Приобье после выгорания заболачиваются не все леса, а главным образом те (чаще всего березово-осиновые и еловые), которые произрастают не на хорошо дренированных речных террасах, а в пониженных местах, где грунтовые воды действительно очень близко подходят к поверхности. Во-вторых, в засушливые климатические периоды уровень грунтовых вод был безусловно ниже современного, и поэтому выгорание леса могло не сопровождаться заболачиванием даже на пониженных участках. В-третьих, в западносибирской тайге (в том числе в Нарымском Приобье) известно довольно много незаболоченных гарей, наглядно демонстрирующих ошибочность мнения Д. П. Славнина. По свидетельству известного сибирского почвовед К. П. Горшенина, здесь нередки гари, «на которых древесная растительность в связи с мощным травостоем не возобновляется»⁵⁸. Нам во время

разведок на Кети и Чулыме встречались гари, где древесная растительность так и не победила травостой после пожаров 40—50-летней давности.

Палеогеографические данные о смещениях границ леса и степи в исследуемое время хорошо подтверждаются археологическими материалами. Во второй половине II тысячелетия до н. э. и на рубеже II и I тысячелетий до н. э. (сухая климатическая фаза, по А. В. Шнитникову) наблюдается мощное продвижение к северу южных пастушеско-земледельческих культур. Одним из результатов этого этнокультурного сдвига было сложение на юге западносибирской тайги сначала крупнейшего массива андронидных культур (рис. 7; 8)⁵⁹, а затем — ирменской общности с рядом карасукских черт (рис. 10)⁶⁰.

Для эпохи раннего железа (влажная климатическая фаза, по А. В. Шнитникову) археологически выявлен обратный этнокультурный сдвиг, состоявший из двух разновременных волн. Первая произошла около VIII—VII вв. до н. э. и была отмечена распространением в лесостепи памятников красноозерского (Среднее Прииртышье) и завьяловского (Новосибирское Приобье) типов, в материале которых прослеживается много северных лесных черт — распространение в орнаментации керамики крестового штампа, повышение в производственном инвентаре доли каменных и костяных орудий, увеличение в хозяйстве роли охотничьего и рыболовческого промыслов (рис. 11)⁶¹. Если в развитом бронзовом веке доля диких животных в остеологическом материале поселений северной части лесостепного Прииртышья составляла по числу особей не более 10%, а по количеству костей — менее 3%⁶², то в переходное время от бронзового века к железному кости диких животных уже преобладают⁶³. Вторая волна имела место в последние века I тысячелетия до н. э. и выразилась в распространении в предтаежном Обь-Иртышье памятников кулайского типа, ближайшие аналогии которым известны в Нарымском Приобье и в смежных районах таежного Обь-Иртышья (рис. 12)⁶⁴. Эти две волны, возможно, были разделены периодом относительной сухости (около V—III вв. до н. э.), во время которого произошло распространение лесостепных культур (саргатской в Прииртышье, большешереченской в Приобье) на территорию нынешней таежной зоны — в районы Тобольска, Томска и даже севернее (рис. 13). Не исключено, однако, что этот этнокультурный сдвиг был обусловлен причинами исторического порядка.

Мы отнюдь не считаем, что картина динамики природной среды, выявленная для юга Западно-Сибирской равнины, может быть механически перенесена на другие географические районы СССР. Если сравнить регионы северной половины нашей страны по степени континентальности климата, по характеру рельефа и другим географическим особенностям, то можно предполагать, что первое место по готовности леса уступить место степи (и наоборот) займет Западно-Сибирская равнина, второе, видимо, Восточно-Европейская равнина, а последнее, безусловно, Алтае-Саянский район и горно-таежные области Восточной Сибири и Дальнего Востока. В настоящий момент это несходство выражается в том, что в европейской части СССР, несмотря на большую роль антропогенного фактора в изменении ландшафтов, граница лесов и лесостепи в целом проходит гораздо южнее, чем в Западной Сибири, а в горных районах Восточной Сибири и

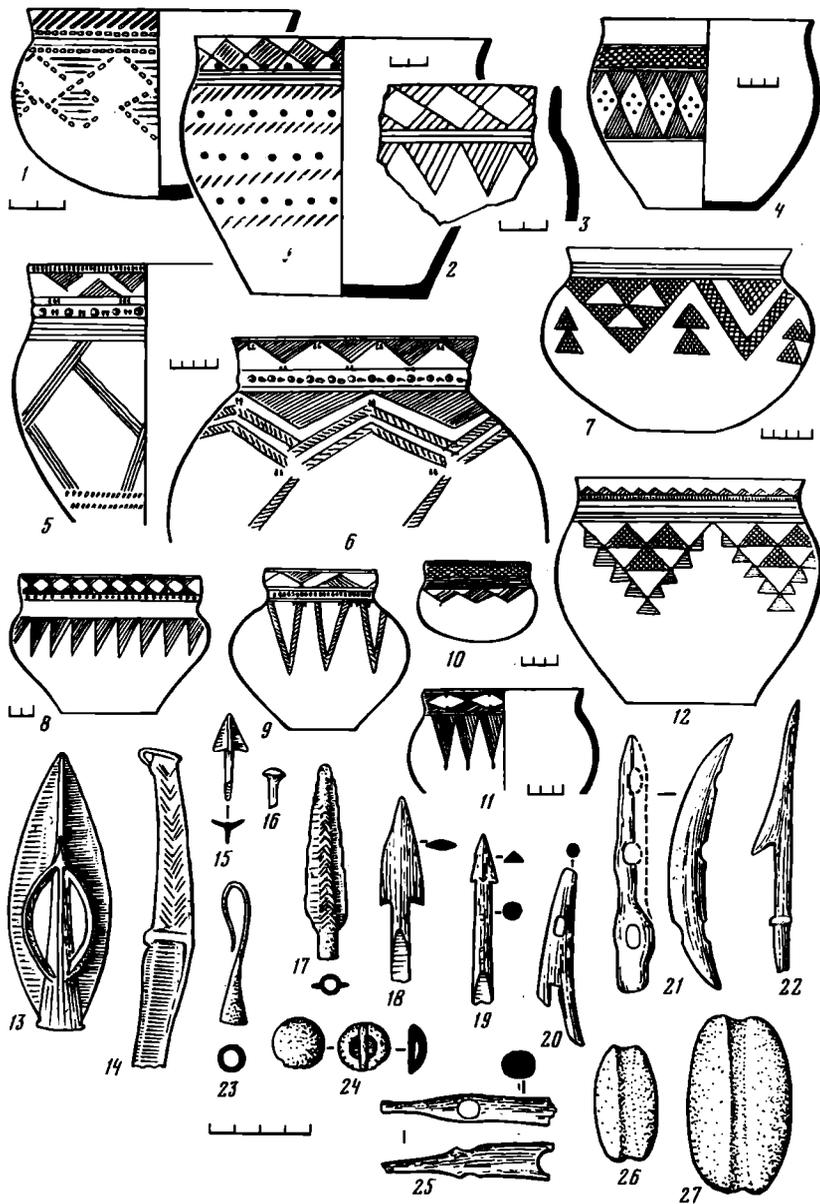


Рис. 10. Эпоха поздней бронзы в лесостепном и южнотаежном Обь-Иртышье (IX—VIII вв. до н. э.). Керамика и вещи ирменской культуры

1, 2 — городище Чудская Гора; 3, 27 — поселение Черноозерье VIII; 4, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18—22, 25 — поселение Еловка; 5 — Самусьское IV поселение; 6, 10 — Басандайское городище; 7, 12, 16, 17, 23, 24 — Еловский могильник; 13 — Тарский округ.
13—17, 23, 24 — бронза; 18—22, 25 — кость; остальное — глина

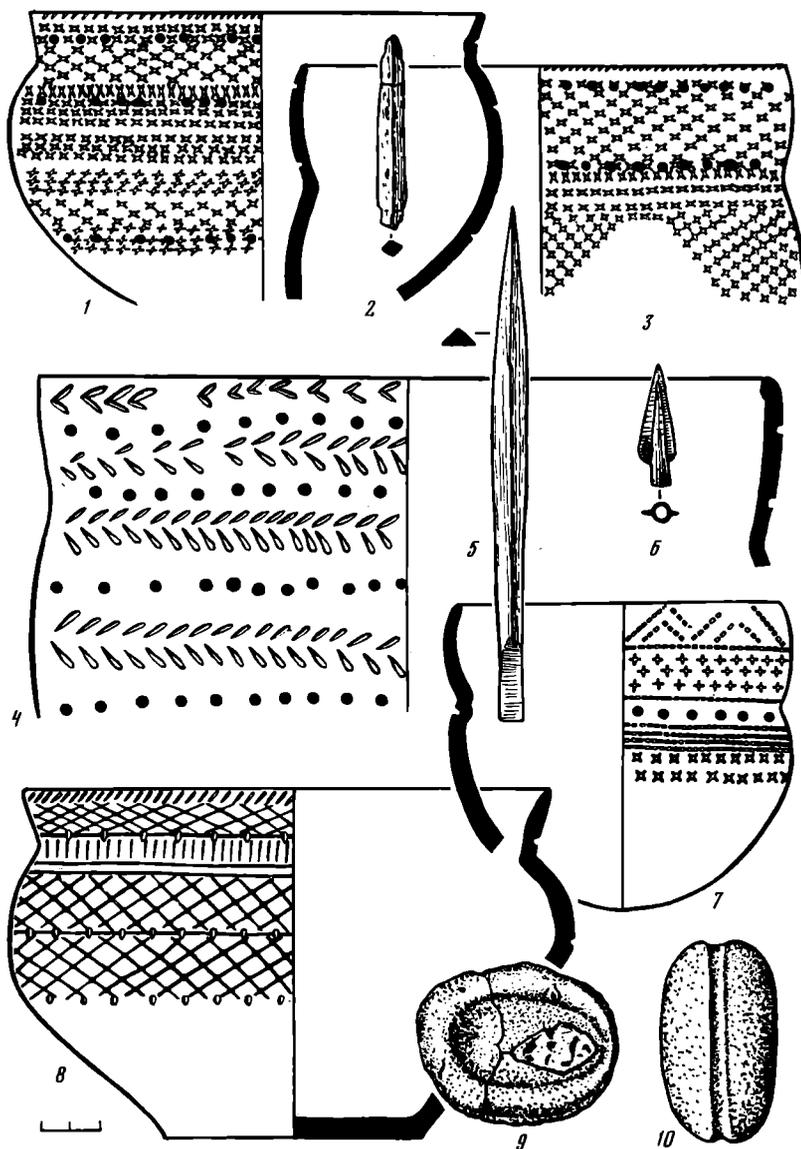


Рис. 11. Переходное время от бронзового века к железному в лесостепном и южнотаежном Обь-Иртышье (VIII—VII вв. до н. э.). Керамика и орудия красноозерской (1—4, 8—10) и завьяловской (5—7) культур

1, 4, 8 — Старо-Маслянинское поселение; 2, 3, 9 — поселение Инберень V; 5 — поселение Ирмень 1; 6, 7 — городище Завьялово 5; 10 — поселение Черноозерье VIII.

2 — кость; 6 — бронза; остальное — глина

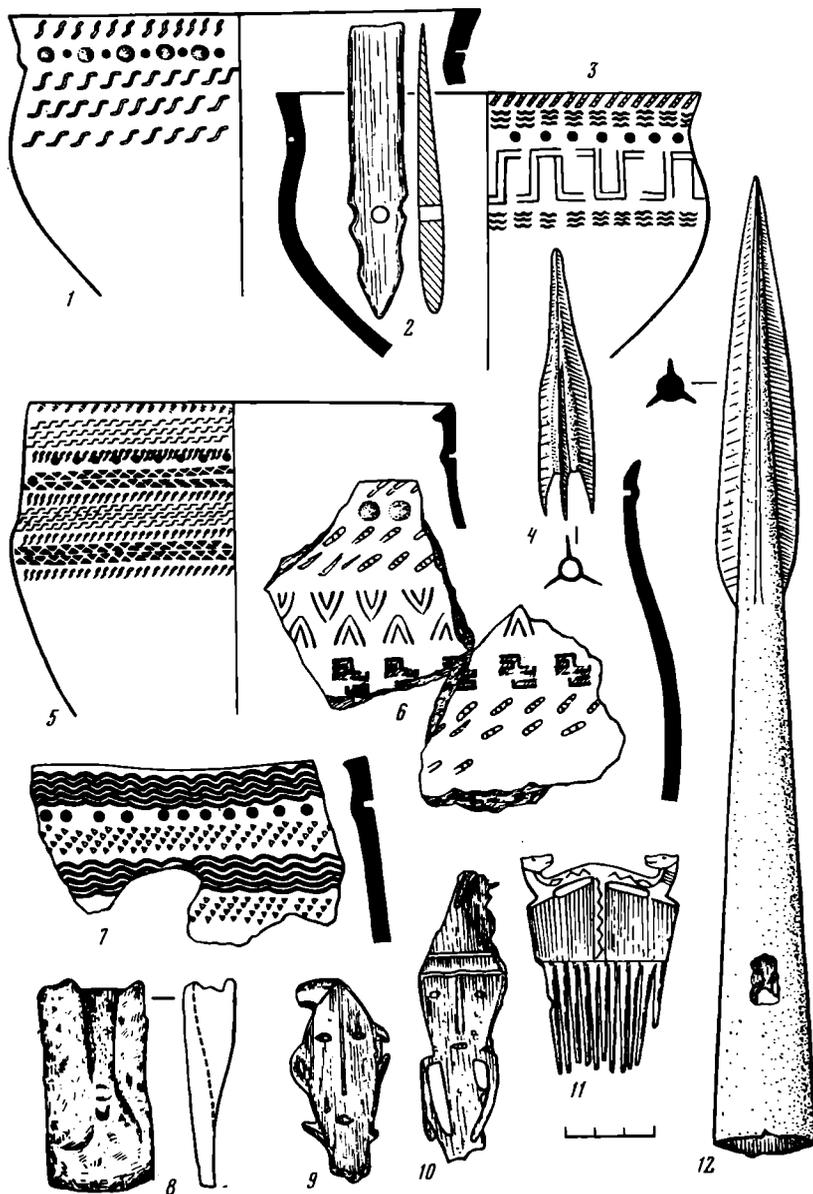


Рис. 12. Железный век. Тазжское Приобье на рубеже нашей эры

1, 3, 9 — Барсова Гора; 2 — городище Няксимволь; 4 — гора Кулайка; 5, 8, 11 — Саровское городище; 6, 7, 10 — Смолокуровское городище; 12 — пос. Дунаево.
1, 3, 5–7 — глина; 2, 11 — кость; 4, 9, 10, 12 — бронза; 8 — железо

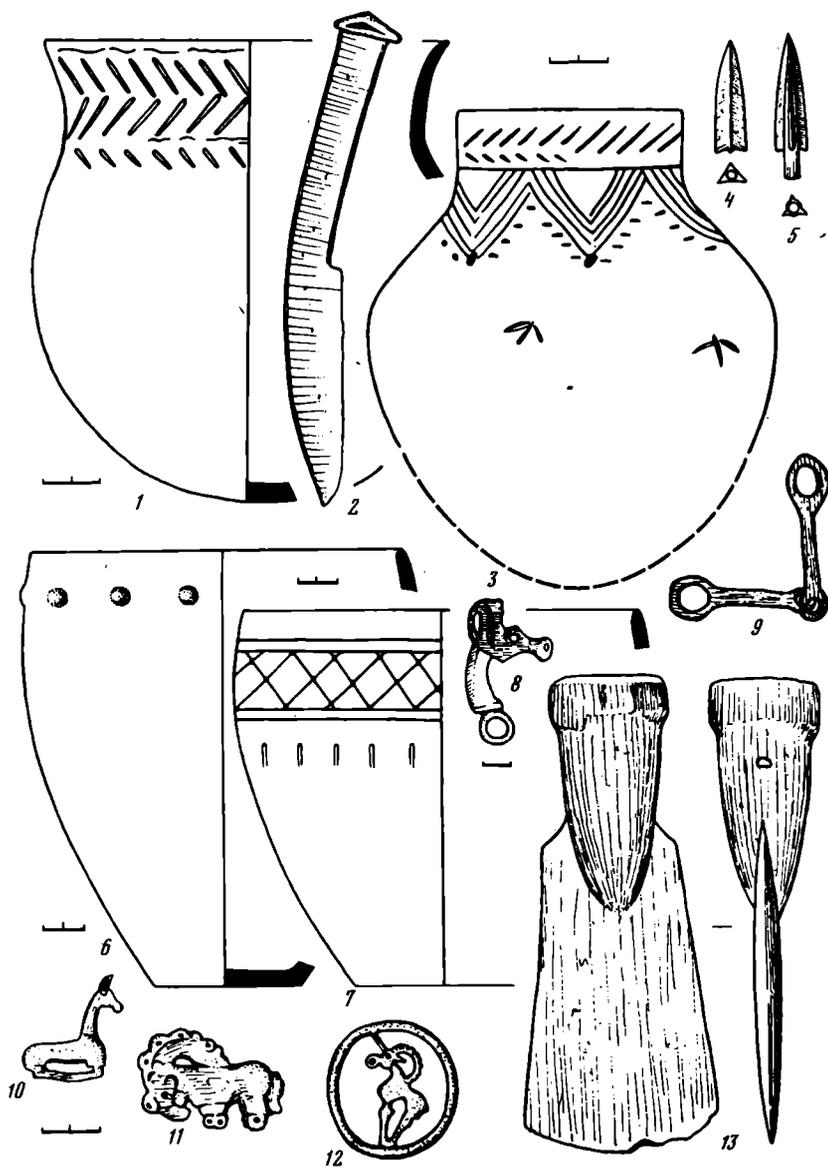


Рис. 13. Железный век. Север лесостепи и юг таежной зоны Западной Сибири в V—III вв. до н. э.

1 — поселение Лужки I; 2 — район Тюмени; 3 — Саргатские курганы; 4, 5 — из курганов саргатской культуры в Среднем Прииртышье (по В. А. Мозильникову); 6, 8, 10, 11 — Степановский клад под Томском; 9 — городище Каменный Мыс; 12 — поселение Шеломок II; 13 — район Новокузнецка (случайная находка).
1, 3, 6, 7 — глина; остальное — бронза

Дальнего Востока вообще не прослеживается сколько-нибудь выраженной широтной зональности в распределении тайги и лесостепи. Климатический оптимум атлантического периода, в общем совпавший с неолитической эпохой и существенно изменивший ландшафтный облик Восточной Европы и Западной Сибири, не оказал столь сильного влияния на динамику природных зон Восточной Сибири и Дальнего Востока⁶⁵. По схеме изменения палеогеографических условий Амуро-Зейского района в неогене и плейстоцене хорошо видно, что даже крупные климатические периоды, соответствующие ледниковым и межледниковым эпохам, не привели здесь к радикальной перестройке ландшафтно-растительной зональности⁶⁶.

Нам бы хотелось обратить внимание еще на один факт, возможно свидетельствующий о неодинаковых ландшафтно-климатических эффектах засушливых фаз в разных районах. Так, например, на юге Средней Азии ксеротермический период вряд ли мог привести к усыханию предгорных областей этого региона. Известно, что жаркое засушливое лето приводит к интенсивному таянию ледников и высокогорных снегов, вызывая сильные наводнения на реках, текущих с гор. Особенно много фактов, документирующих эту зависимость, выявлено на Северном Кавказе. В одном из военных донесений от 1737 г. есть такая фраза: «На Кубани воды от нынешних жаров великие». Примечательно, что в смежных степных районах равнинной России в 1737 г. была жесточайшая засуха, сопровождаемая катастрофическим неурожаем, массовым падежом скота, голодом и эпидемиями⁶⁷. Во время сильной засухи 1885 г., продолжавшейся на юге европейской части России все лето, в степной части Прикубанья, в Донской области, в Екатеринославской, Херсонской, Таврической и других степных губерниях погибла травянистая растительность, уменьшились в размерах или высохли болота, обмелели реки, упала или исчезла вода в колодцах, пересохли многие мелководные речки, ручьи, иссякли родники. А в предгорной полосе Кавказа, наоборот, вследствие сухого лета был очень хороший урожай⁶⁸.

В период потепления первой половины текущего столетия абляция горных ледников возрастала в среднем на 12 куб. км в год, а всего за последние 90 лет сток ледников возрос на 200—250 куб. км⁶⁹. Приведенные факты объясняют нам, почему миграции степняков, вызванные усыханием степей, могли направляться не только на северные равнины, но и в сторону горных физико-географических стран (мы имеем в виду, например, продвижение в конце II тысячелетия до н. э. тазабагыябского населения на юг Средней Азии, а носителей культур андроновского типа — в предгорья Алтая и Саян).

*

¹ *Нейштадт М. И.*, 1971.

² *Малик Л. К.*, 1976.

³ *Земцов А. А.*, 1976, с. 224—225.

⁴ Советский Союз. Географическое описание в 22-х томах. М., 1971, т. 5, с. 26.

⁵ См., например: *Зуев В. Ф.*, 1947, с. 32; *Белявский Ф.*, 1833, с. 101—102; *Врангель Ф.*, 1841.

⁶ *Ступина Н. М.*, 1965, с. 8—10.

⁷ Извлечения из дневников членов Красноуфимского отряда. — ЕТГМ, 1895—1896, вып. V, с. 9, 15—18.

⁸ *Завалишин И. И.*, 1865, т. 3, с. 25.

⁹ *Крашенинников И. М.*, 1906, с. 25.

¹⁰ Извлечение из дневников членов Красноуфимского отряда, 1895—1896.

¹¹ Там же, с. 27.

¹² *Бережков Б.*, 1917, с. 18.

- ¹³ Гейнс А. К., 1897, с. 253.
- ¹⁴ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 521.
- ¹⁵ Окладников А. П., 1955, с. 44.
- ¹⁶ См., например: Синицын В. М., 1967, с. 217.
- ¹⁷ См., например: Максимов Е. В., 1977.
- ¹⁸ Миланкович М., 1939.
- ¹⁹ Максимов Е. В., 1977.
- ²⁰ Petterson O., 1929.
- ²¹ Шнитников А. В., 1957; 1969, с. 113—114.
- ²² Latb Н. Н., 1972, p. 215.
- ²³ Паллас П. С., 1788, с. 19.
- ²⁴ Понько В. А., 1976.
- ²⁵ Седельников А. Н., 1909.
- ²⁶ Третьяков П., 1869, с. 279.
- ²⁷ Шнитников А. В., 1957, с. 262—265.
- ²⁸ См., например: Дзенс-Литовский А. И., 1957; Максимов Е. В., 1966; Тушинский Г. К., 1966; Рябцева К. М., 1967; Гарункштис А., 1975; Макеев В. М., Бердовская Г. Н., 1975; Левковская Г. Н., 1976; Фриш В. А., Фриш Э. В., 1977.
- ²⁹ Серебрянный Л. Р., Пшенин Г. Н., Пуннинг Я. М.-К., 1980.
- ³⁰ Чижевский А. Л., 1930.
- ³¹ Подопличко И. Г., Макеев П. С., 1955, с. 2.
- ³² Там же, с. 121.
- ³³ Косарев М. Ф., Потемкина Т. М., 1975; Молодин В. И., Зах В. А., 1979.
- ³⁴ Бадер О. Н., 1974; Сальников К. В., 1967, с. 173—177, 326—327; Потемкина Т. М., 1976, с. 8; Молодин В. И., Зах В. А., 1979.
- ³⁵ Косарев М. Ф., 19646; 1974, с. 36—38; Сальников К. В., 1967, с. 348, 350; Эданович Г. Б., 1973, с. 43.
- ³⁶ См., например: Хотинский Н. А., 1977.
- ³⁷ См., например: Ефимова Л. И., Малолетко А. М., 1980.
- ³⁸ Калугина Л. В., Малаховский Д. Б., Макеев В. М., Сафронова И. Н., 1979.
- ³⁹ Нейштадт М. И., 1957.
- ⁴⁰ Иоганзен Б. Г., 1963, с. 105.
- ⁴¹ Никонов С. П., Тарасенков Г. Н., Черезов В. И., 1968, с. 41.
- ⁴² Горшенин К. П., 1955, с. 175.
- ⁴³ Славнин Д. П., 1973; Косарев М. Ф., 19646.
- ⁴⁴ Рухин Л. Б., 1959, с. 8.
- ⁴⁵ Славнин Д. П., 1973.
- ⁴⁶ Там же, с. 122—123.
- ⁴⁷ Мильков Ф. Н., 1977, с. 170.
- ⁴⁸ Шумилова Л. В., 1962, с. 311.
- ⁴⁹ Шумилова Л. В., 1962, с. 311.
- ⁵⁰ Пьявченко Н. И., 1967; Ефремов С. П., 1967; Фриш В. А., Фриш Э. В., 1977.
- ⁵¹ Смирнов Н. Г., 1975.
- ⁵² Кузнецов К. А., 1951, с. 69—86.
- ⁵³ Попов Л. В., 1967, с. 182, 194.
- ⁵⁴ Долгушин И. Ю., 1968; Федорова Р. В., 1973.
- ⁵⁵ Патканов С., 1894, с. 10.
- ⁵⁶ Поляков И. С., 1877, с. 68.
- ⁵⁷ Славнин Д. П., 1973, с. 129.
- ⁵⁸ Горшенин К. П., 1955, с. 113—114.
- ⁵⁹ Косарев М. Ф., 1981.
- ⁶⁰ Членова Н. Л., 1955; Матющенко В. И., 1974.
- ⁶¹ Троицкая Т. Н., 1970; Косарев М. Ф., 1974, с. 121 и сл.
- ⁶² Смирнов Н. Г., 1975.
- ⁶³ Стефанов В. И., 1977.
- ⁶⁴ Троицкая Т. Н., 1979.
- ⁶⁵ Мониин Л. С., Шишков Ю. А., 1979, с. 336.
- ⁶⁶ Воскресенский С. С., Логинова И. Э., Махова Ю. В., 1976.
- ⁶⁷ Коровин В. И., Галкин Г. А., 1979, с. 91—92.
- ⁶⁸ Воейков А. И., 1877.
- ⁶⁹ Гросвальд М. Г., Қотляков В. М., 1978, с. 30.



Предпосылки перехода к производящему хозяйству. Эпоха бронзы. Пастушеско-земледельческое хозяйство. Железный век. Кочевое скотоводство.

Предпосылки перехода к производящему хозяйству

Специалисты по экологии считают, что до тех пор, пока достигнутая степень приспособленности к условиям среды остается удовлетворительной, сообщество стремится быть консервативным. Эта закономерность действительна и в отношении человеческого общества, особенно на ранних стадиях его развития. Л. Р. Бинфорд приводит ряд интересных свидетельств в пользу того, что первобытным людям не было свойственно стремление к улучшению хозяйства и орудий труда до тех пор, пока их не вынуждали к этому изменения окружающей среды¹. Поэтому вряд ли случайно, что все крупнейшие экономические открытия древности — смена палеолита мезолитом, переход от рыболовства и охоты к пастушеско-земледельческому хозяйству, а затем к кочевому скотоводству на юге Западно-Сибирской равнины произошли в периоды существенных ландшафтно-климатических изменений.

Переход от палеолита к мезолиту был стимулирован отступанием ледника и вымиранием мамонтовой фауны, т. е. произошел в условиях радикального изменения природной среды, что привело к возникновению кризисной ситуации, которая была разрешена путем глубоких перемен в хозяйстве, быте и социальной жизни. Более спорен вопрос об условиях становления на юге Западной Сибири производящих форм экономики.

Конец той или иной хозяйственной традиции и приход ей на смену новых форм экономики принято объяснять развитием производительных сил. При этом, однако, не всегда учитывается, что развитие производительных сил — не самодевятое явление; оно осуществляется посредством трудовой деятельности в условиях теснейшего взаимодействия между человеком и природой на определенном естественногеографическом фоне. К. Маркс определил труд как «процесс, совершающийся между человеком и природой, процесс, в котором человек своей собственной деятельностью опосредствует, регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой»². Из этого следует, что с изменением природной среды должен измениться и характер трудовой деятельности, что не может не отразиться на содержании производительных сил.

Подвижный охотничье-собираТЕЛЬСКИЙ образ жизни населения западносибирских степей в каменном веке строго лимитировал рост численности людей. Данные по Австралии показывают, что во время частых переходов охотничье-собираТЕЛЬСКИХ групп мать дополнительно к своему обычному женскому скарбу могла нести на руках не более одного ребенка. Это ставило непреодолимый барьер на пути к многодетству, вынуждая к трехлет-

нему (по крайней мере) промежутку в рождении детей, предназначенных для выживания³. Можно назвать и другие акты, предпринимаемые в неразвитых обществах для ограничения численности населения: отсрочка браков, ритуальное убийство стариков, предание смерти одного из близнецов и т. д. Перечисленные меры были вызваны необходимостью приводить в соответствие количество людей, обитающих в данной местности, с объемом естественных пищевых ресурсов. Все это наряду с имеющимися археологическими данными позволяет предполагать, что в условиях засушливого климата степей при преимущественно охотничье-рыболовческой ориентации хозяйства здесь обитали редкие и немногочисленные группы, часто менявшие места своего пребывания. Видимо, при смене сухих климатических фаз влажными, когда улучшались возможности для рыболовства, население степной зоны становилось более оседлым. Во всяком случае, тенденция к оседлому образу жизни в полной мере проявилась здесь накануне бронзового века.

В позднем неолите степные и лесостепные поселения располагались обычно на озерах либо при устье мелких речек и куреек, удобных для рыболовческих промыслов. Особой популярностью при выборе мест для поселений пользовались проточные озера, более богатые рыбой и менее подверженные зимним заморам. Рыболовство и связанная с ним оседлость должны были благоприятствовать развитию производящих занятий — земледелия и пастушества. Если попытаться объяснить эту зависимость просто и коротко, то суть ее заключается в следующем: прежде, во время частых скитаний за стадами копытных, человек не мог надолго остановиться, чтобы придумать (перенять?), проверить и утвердить какой-либо радикально новый тип хозяйства.

Рыболовство по объему добываемого продукта, технической оснащенности и ряду других признаков более других присваивающих промыслов приближается к производящему хозяйству, особенно к земледелию, на чем мы подробнее остановимся в одной из последующих глав. Здесь отметим лишь один любопытный этнографический факт: в прошлом столетии отдельные казахские группы, потеряв скот, оседали на зимниках, где сначала пробавлялись рыболовством, а затем переходили к земледелию; через несколько лет, обзаведясь скотом, они нередко забрасывали земледельческие занятия и вновь возвращались к кочевому скотоводству. Эта хозяйственная микростратиграфия, возможно, отражает в миниатюре закономерную последовательность крупных эпохальных вех в истории производящей экономики аридного пояса на исследуемой территории: неолит — переход от подвижной охоты на степных копытных; возможно сочетаемой с примитивным скотоводством, к рыболовческо-охотничьим занятиям (с элементами пастушества и земледелия); начало бронзового века — переход к пастушеско-земледельческому хозяйству; рубеж бронзового и железного веков — переход к кочевому скотоводству.

Очевидно, Л. Бинфорд прав, считая, что поиски археологами мест, наиболее удобных для появления производящего хозяйства, должны быть направлены в те районы, где археологически фиксируется крупный сдвиг в плотности населения и где имеются условия для оседлости. Поэтому он предполагает, что такие очаги должны возникать по соседству с ме-

стами, занятыми относительно оседлыми рыболовами⁴. Мы не можем согласиться с бытующим мнением, что оседлость в западносибирских степях была обусловлена переходом местного населения к пастушеству и земледелию. Думается, что здесь звенья причинно-следственной связи поставлены в обратном порядке. Наоборот, оседлость, возросшая в связи с повышением роли рыболовства на поздних этапах неолита, создала предпосылки для усвоения, развития и закрепления навыков пастушества и земледелия.

Говоря о ранних этапах пастушеско-земледельческого хозяйства на юге Западно-Сибирской равнины, следует иметь в виду, что между зарождением элементов производящей экономики и становлением или утверждением производящего хозяйства могут лежать тысячи лет поисков, находок и потерь. Известно, например, что австралийские аборигены, жившие на стадии каменного века, не только умели ухаживать за дикими растениями, но и пытались пересаживать их. Они не знали скотоводства, но умели улучшать пастбища для диких травоядных животных, выжигая старую траву и лесные участки. Не исключено, что нечто подобное и столь же рано, т. е. еще в каменном веке, могло иметь место в западносибирских степях и лесостепях. Однако зафиксировать первые признаки зарождения элементов производящей экономики, а следовательно и датировать их, археологически пока невозможно; с большей уверенностью можно говорить о времени и условиях становления пастушеско-земледельческого хозяйства.

Закрепление навыков пастушеских и земледельческих занятий на юге исследуемой территории следует относить, скорее всего, к III тысячелетию до н. э. В это время на памятниках Южного Урала и Южной Сибири уже достаточно характерны кости домашних животных — лошади, коровы, овцы (поселения суртандинской культуры на Южном Урале, афанасьевские могилы на Алтае и в Хакаско-Минусинской котловине)⁵. В поздне-неолитическом комплексе стоянки Усть-Нарым в Восточном Казахстане найдены каменные вкладыши для серпов⁶.

Специалисты считают, что поздне-неолитический период на юге Западно-Сибирской равнины (IV тысячелетие до н. э.) отличался влажным климатом, энеолит же (в основном III тысячелетие до н. э.) совпал с пограничьем атлантического и суббореального периодов, т. е. оформился в условиях начавшегося перехода от влажного климата к сухому. Возрастание засушливости побуждало степняков, совершенствуя традиционные присваивающие промыслы, целенаправленно апробировать другие виды хозяйственной деятельности. Энеолит в южносибирских и казахстанских степях был временем великого экономического эксперимента, приведшего здесь к возникновению многоотраслевого хозяйства, динамично сочетавшего исконные присваивающие промыслы (охоту, рыболовство, собирательство) с производящими занятиями (пастушеством и земледелием). В сложившейся в то время на севере аридного пояса ландшафтно-климатической ситуации такая многоотраслевая экономика оказалась весьма рациональной, что привело ко многим положительным производственным, социальным и демографическим изменениям. В разных местах Северного Казахстана возникают гигантские стационарные поселки (зимники?) ботайского типа — Ботай, Рошино, Баландино и др., — площадью до 10—20 га, с сотнями жилищ, с обильными костными остатками, принадлежа-

шими почти исключительно лошади. Сейчас эти памятники активно исследуются североказахстанскими археологами под руководством В. Ф. Зайберта.

В отличие от предтаежной и южнотаежной зон Западной Сибири, где многоотраслевое хозяйство существует с древних времен до этнографической современности, в степной зоне и на юге лесостепной эта форма экономики оказалась историческим эпизодом, оправдавшим себя лишь для неолита, т. е. для переходного времени от атлантика к суббореалу.

Усиливающееся усыхание климата ухудшало возможности для охоты и рыболовства, что заставляло степное население сокращать присваивающие промыслы и все более совершенствовать скотоводческо-земледельческие навыки. Затем степняки стали покидать мелкие речки и пересыхающие озера и уходить на большие реки. Скорее всего, первоначально эти переселения диктовались стремлением сохранить сложившийся в энеолите многоотраслевой характер экономики. С усыханием климата степные копытные должны были в основной своей массе перекочевать ближе к большим рекам, где появились обширные пойменные пастбища и удобные водопой. Вслед за ними туда начали переселяться и люди, тем более что крупные реки, освобождая поймы, оставляли там много временных озер, что позволяло мигрантам, во всяком случае на первых порах, заниматься, кроме охоты, привычным рыболовческим промыслом. Сосредоточение вокруг пойм при продолжающемся усыхании климата привело в дальнейшем к перенаселенности и к необходимости поиска более надежных форм хозяйственной деятельности. В сложившейся ландшафтно-климатической ситуации люди, видимо, обратили внимание на то, что наступившее суровое время лучше переживают те, кто больше надеется не на охоту и рыболовство, а на разведение копытных и выращивание злаковых. В процессе дальнейшего освоения пойменных угодий были окончательно отработаны две наиболее перспективные в новых ландшафтно-климатических условиях манеры хозяйственной адаптации — пастушество и земледелие, обычно выступавшие в эпоху бронзы в виде комплексного пастушеско-земледельческого хозяйства. Утверждение этой новой формы экономики произошло около первой трети II тысячелетия до н. э., т. е. уже в бронзовом веке.

П. М. Головачев, говоря о зимнем содержании скота и земледелии у качинцев и сагайцев Абаканских степей, обратил внимание на невозможность этих занятий вдали от речных пойм. Он, в частности, писал: «Вследствие летнего зноя и постоянных ветров, выдувающих мелкозем и не позволяющих влаге разрыхлять землю, питательный для хлебных злаков слой почвы очень неглубок, так что пашни и сенокосные луга располагаются вблизи речек, где почва наносная, но зато растения, сменяющие друг друга с мая до поздней осени и в засохшем виде остающиеся на зиму, позволяют местному неприхотливому скоту круглый год пастись на подножном корму»⁷. Примечательно, что нерусское население Хакасско-Минусинской котловины, начав переходить под влиянием русских от кочевого скотоводства к оседлости, обычно селилось в местах, где жили носители древних пастушеско-земледельческих культур, причем, как отмечали еще путешественники прошлого столетия, пользовалось «часто чудскими бороздами (древними оросительными каналами. — М. К.), оставленными первобыт-

ными насельниками степей и простиравшимися иногда на большие расстояния»⁸.

Мысль о том, что переход к производящей экономике был стимулирован усыханием климата, высказывал в свое время — правда, применительно к Передней Азии — Г. Чайлд. По его мнению, усиленная концентрация населения в немногих удобных местах по берегам рек и маловодных ручьев повлекла за собой интенсивный поиск средств питания и привела к становлению скотоводства и земледелия⁹. Точка зрения Г. Чайлда об аридизации климата как побудительной силе перехода к производящему хозяйству в начале голоцена считается спорной, так как ряд палеоклиматологов утверждает, что для этого периода признаки усыхания Передней Азии не прослежены. Открытия последних лет показывают, тем не менее, что рубеж плейстоцена и голоцена в Передней Азии был отмечен заметными ландшафтно-климатическими изменениями, которые ухудшили условия для традиционных отраслей хозяйства — в частности, для охоты и собирательства¹⁰.

Независимо от того, как решится спор о ландшафтно-климатической обстановке в том или ином конкретном районе в период перехода к производящей экономике, гипотезу Г. Чайлда нельзя сбрасывать со счета; она очень логична в своем построении и чрезвычайно интересна с экологической точки зрения. Во всяком случае, тезис Г. Чайлда об усыхании климата как стимуле и одном из условий победы производящего хозяйства справедлив применительно к Западной Сибири, хотя этот переход произошел там на несколько тысячелетий позже и не был копией переднеазиатского варианта.

Было бы ошибкой считать, что единственным условием перехода степного и лесостепного обь-иртышского населения к пастушеско-земледельческому хозяйству было усыхание степей. Изменения климата случались и в предшествующие эпохи, однако они не привели к победе производящей экономики, хотя оказали влияние на хозяйство и быт степного населения, способствуя то большей его подвижности (за счет возрастания роли охоты на степных копытных), то большей оседлости (главным образом вследствие увеличения значения рыболовства). При подвижной охоте должна была повышаться способность к внедрению в хозяйство элементов подвижного скотоводства, а оседло-рыболовческий быт мог благоприятствовать возникновению либо заимствованию земледельческих навыков¹¹. При всем этом производящая экономика на юге Западно-Сибирской равнины не могла утвердиться до начала бронзового века, пока здесь не сложились в полной мере все ее предпосылки.

Победа пастушеско-земледельческого хозяйства в западносибирских и казахстанских степях была обеспечена по крайней мере тремя совместно действовавшими факторами. Первый из них — развитие производительных сил (не случайно переход к производящей экономике на этой территории шел в общем параллельно с развитием медной, а затем бронзовой металлургии); второй фактор — подходящие экологические условия степной и лесостепной зон для разведения копытных и выращивания злаковых; третий фактор — кризисная ситуация, вызванная прогрессирующей засушливостью климата, катастрофическим сокращением охотничье-рыболовческих угодий и обострением проблемы перенаселенности.

Эпоха бронзы.

Пастушеско-земледельческое хозяйство

В стадах, принадлежавших населению бронзового века западносибирских степей и лесостепей, которое входило в ареал носителей культур андроновского типа, количественно преобладал крупный рогатый скот, затем шел мелкий рогатый скот и, наконец, лошадь. По данным Т. М. Потемкиной, в Среднем Притоболье кости домашних животных на поселениях андроновского времени распределялись по числу особей следующим образом: крупный рогатый скот — 37,7—55%, мелкий рогатый скот — 20,9—47%, лошадь — 8,7—12%¹². Похожее соотношение разных видов скота выявлено на андроновских поселениях Южной Сибири и Северного Казахстана, причем М. П. Грязнов считает, что у андроновцев верхней Оби крупный рогатый скот количественно превосходил мелкий «во много раз»¹³.

Тот факт, что корова не способна добывать корм из-под снега, позволяет предполагать стойловое ее содержание в зимнее время и, следовательно, заготовку на зиму значительных запасов сена. Однако здесь следует иметь в виду, что зимний прокорм скота в то время был более легким в связи с малоснежными зимами в степях вследствие засушливости климата бронзового века, из-за чего подножный корм на зимних пастбищах был доступнее, чем в новое время.

Этнографы неоднократно отмечали, что с переходом кочевников-скотоводов к более оседлому образу жизни увеличивается доля крупного рогатого скота и приобретает большое значение заготовка зимнего корма. В этом отношении весьма показательны данные по Эмбинскому уезду Тургайской обл., учитывающие долю разных видов скота в 1879 г., до развития земледельческих занятий, и в 1891 г., когда земледелие и оседлость здесь сделали некоторые успехи (табл. 1)¹⁴.

Т а б л и ц а 1. Соотношение разных видов скота в Эмбинском уезде Тургайской обл. в 1879 и 1891 г.

Год	Мелкий рогатый скот		Крупный рогатый скот		Лошадь		Верблюд	
	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%
1879	166 500	47,7	3 500	1	95 000	27,1	85 000	24,2
1891	395 000	70,5	30 000	5,4	75 000	13,4	60 000	10,7

Из приведенной таблицы видно, что с увеличением роли земледелия, толчок которому дал катастрофический джунт 1879—1880 гг., казахи Эмбинского уезда всего лишь за 11—12 лет существенно изменили состав стада: количество лошадей уменьшилось в 1,3 раза, верблюдов — в 1,25, поголовье же крупного рогатого скота увеличилось в 8,6 раза; одновременно возросла численность мелкого рогатого скота в 2,4 раза. Тенденция к уменьшению доли лошади и увеличению значения крупного рогатого скота с возрастанием оседлости прослеживается и во всех других районах южносибирских и казахстанских степей¹⁵. Интересно, что эта закономерность была зафиксирована не только в южных степях, но даже в суровой

реликтовой лесостепи Центральной Якутии. «Есть указания на то, — писал в конце прошлого столетия В. Иохельсон, — что в прежние времена у якутов преобладал конный скот над рогатым; теперь же мы видим обратную картину: рогатого скота вдвое больше, чем лошадей»¹⁶. Он объясняет это возрастанием численности населения и усилением степени оседлости, при которой выгоднее содержать крупный рогатый скот. Оседлости здесь, как и в южных степях, способствовало сокращение пастбищ, развитие сенокосения и (на юге Якутии) земледельческих занятий, особенно в Олекминском округе¹⁷.

В разных местах Зауралья и Западной Сибири в зависимости от ландшафтно-географических условий соотношение разных видов скота в стаде бронзового века было не вполне одинаковым. Так, на поселении Черноозерье VI в северной части прииртышской лесостепи остеологический материал неожиданно показал подавляющее преобладание овцы (163 особи против 29 лошадей и семи коров)¹⁸. Правда, этот памятник относится не к андроновскому, а к самусьско-кротовскому кругу культур. Но есть основания говорить о возможных различиях в составе андроновского стада: андроновские поселения Мирный III, IV в Челябинской обл. тоже показали преобладание овцы, хотя и в меньшей степени, чем на Черноозерье VI (Мирный III: крупный рогатый скот — 29 особей, мелкий — 33, лошадь — три особи; Мирный IV: крупный рогатый скот — 37 особей, мелкий — 54, лошадь — четыре особи)¹⁹.

Существует мнение, что количественное соотношение разных видов скота, выявляемое по костям домашних животных в культурном слое древних поселений, не соответствует их истинному соотношению в реальном стаде, так как воспроизводство овец идет более быстрыми темпами, чем коров и лошадей, и поэтому необходимы соответствующие поправки и коэффициенты. Думается, однако, что количественное соотношение костных остатков домашних копытных (по числу особей) в культурном слое древних поселений отражает более объективную картину численного соотношения разных видов скота в реальном стаде, чем с учетом предлагаемых поправок, где не принимаются во внимание этнографические особенности населения, ландшафтно-климатические условия его существования, неодинаковая смертность разных видов домашних копытных от буранов, гололедов, эпизоотий, нападений хищников и т. д.

В 1891 г. кочевники Тургайской обл. имели 1969 тыс. овец и 714 тыс. лошадей, т. е. овец было почти в 3 раза больше, чем лошадей²⁰. В те годы, по данным А. И. Добросмылова, в Тургайской области забивалось ежегодно около 400 тыс. овец и 70 тыс. лошадей²¹, т. е. овец почти в 6 раз больше, чем лошадей, что в 2 раза превышает их количественное соотношение в реальном стаде. Это как будто противоречит высказанному нами мнению. Однако здесь надо учитывать следующее: лошади и крупный рогатый скот забивались степняками, за редким исключением, осенью при массовой заготовке мяса на зиму, а овцы — и летом, и осенью²². Поэтому количество особей овцы, выявляемое по остеологическим остаткам на зимних поселениях со стационарными жилищами, по крайней мере в полноту меньше забиваемых в действительности. Таким образом, не соответствуя числу убиваемых за год овец, количество забитого на зиму мелкого и крупного рогатого скота, тем не менее, достаточно верно отражает их

реальное соотношение в стаде. Данные прошлого столетия об осенних убоях скота по степному Казахстану в целом говорят, что овец забивали в 3—5 раз больше, чем лошадей²³, что в общем соответствует их количественному соотношению в стаде степных кочевников и полукочевников Казахстана в то время²⁴.

Почти очевидно, что наряду с локальным своеобразием пастушеского и пастушеско-земледельческого хозяйства степей в эпоху бронзы должны были иметь место какие-то хронологические тенденции — особенно в процессе перехода к кочевому скотоводству. В Среднем Притоболье, например, к концу бронзового века идет увеличение доли лошади в стаде и параллельно уменьшение процента крупного рогатого скота²⁵. На поселениях саргаринской культуры в Северном Казахстане, относящейся к переходному времени от бронзового века к железному, доля лошади составляет по остеологическим материалам уже более 30% (Саргары, Петровка IV, Алексеевское); в целом численность домашних копытных, способных к самодобыванию корма, — лошади, овцы, намного превышает здесь в это время количество крупного рогатого скота²⁶. Сходная тенденция наблюдается в Центральном Казахстане, что убедительно показано А. Х. Маргуланом по данным памятников бегазы дандыбайской культуры²⁷. Похожую картину выявила М. А. Итина на поселениях амиробадской культуры конца бронзового века в Приаралье. Она интерпретировала это явление как «выделение хозяйственного типа полукочевых скотоводов из хозяйственно-культурного типа земледельцев-скотоводов предшествующего, тазабагыбского времени»²⁸.

Таким образом, в истории пастушества южной части Западно-Сибирской равнины в эпоху бронзы прослеживаются две тенденции — локальная и хронологическая: локальная выразилась в неодинаковом количественном соотношении разных видов скота в разных районах; хронологическая проявилась в том, что с приближением к эпохе железа возрастает роль лошади в стаде и уменьшается доля крупного рогатого скота. Вторая тенденция отражает процесс накопления внутри пастушеско-земледельческого хозяйства новых качеств, позволивших перейти на рубеже бронзового и железного веков к кочевому скотоводству. Можно предполагать, что одновременно с возрастающей подвижностью степного населения роль земледелия в степях к концу бронзового века несколько падает, хотя мы не в состоянии подтвердить это предположение какими-либо конкретными археологическими материалами.

Несмотря на утвердившееся в литературе мнение о знакомстве степного и лесостепного населения бронзового века с земледелием, у нас до сих пор нет прямых данных в пользу этой точки зрения. Дело в том, что древнейшие земледельческие орудия типологически не отличаются от орудий собирательства. Эта недифференцированность является, видимо, отражением факта генетической близости собирательства и примитивного мотыжного земледелия, особенно выраженной на ранней стадии производящего хозяйства. Не случайно в сибирских документах инородческими пашнями нередко назывались места, где шорцы, северные алтайцы и другие сибирские аборигены занимались собирательством. Так, например, говоря о киргизах, что «у них хлеба не сеют и не родится», ту же добавляли: «а у них де на пашнях и сарану и коренья копают на всяких пашнях»²⁹.

Отсутствие в Западной Сибири определенных раннеземледельческих орудий может объясняться и другими причинами, например тем, что они в основной массе были деревянными и поэтому не дошли до нас. Еще в прошлом столетии казахи-земледельцы Большой Орды вспахивали поле кривым деревом (агач-имек'ом), боронили пучком деревянных ветвей, привязанных к хвосту лошади; крупные комья земли разбивали деревянной дубиной, а урожай иногда убирали, выдергивая колосья из земли руками³⁰. Не исключено, что на ранних этапах западносибирского земледелия сев проводился без предварительного рыхления земли. Так, этнографически засвидетельствовано, что шорцы и челканцы иногда сеяли ячмень на необработанном поле, а созревшие колосья срезали ножом или выдергивали руками³¹. «Самый первобытный способ сбора хлеба — рвать руками, — читаем мы в отчете Н. Ядринцева о поездке на Алтай, — мы встретили на Чуе; в других местах, как на Аргуте, употребляли нож с косою ручкой»³². По запискам И. Г. Фалька, татары, жившие в XVIII в. между Тарой и Тобольском, «ячмень и овес не жнут, но деревянным орудием выдергивают колосья так, что солома остается на земле»³³. Если дело обстоит подобным образом и в древности, то крайняя редкость в Западной Сибири достоверно засвидетельствованных земледельческих орудий ранних эпох не должна нас удивлять.

Менее понятным представляется практически полное отсутствие на западносибирских андроновских поселениях зерен культурных злаков. Еще удивительней, что такая же картина наблюдается на хорошо изученных тазабагыябских поселениях Приаралья, население которых, по мнению исследователей, жило преимущественно земледельческим бытом и широко практиковало искусственное орошение полей. «Как ни невероятно, — недоумевает в связи с этим М. А. Итина, — не обнаружено в связи с этим М. А. Итина, — но при столь выраженной оросительной сети не встречено ни одной находки зерен тех злаков, которые сеяли тазабагыябцы»³⁴.

Видимо, поиски безусловных свидетельств земледелия у западносибирских андроновцев и одновременных им групп населения долго еще будут приводить к спорным результатам: находки зернотерок, пестов и мотыг можно в равной мере считать свидетельством собирательства; находки серпов — свидетельством заготовки трав для подкормки скота в зимнее время; находки зерен культурных злаков (если они встречаются эпизодически и в сравнительно небольших количествах) — показателем связей с соседями-земледельцами и т. д., причем во всех случаях можно найти подтверждающие этнографические примеры.

Поскольку и без того скудный фактический материал дает при его оценке большую простор для разночтений, необходимо обратиться к экологической стороне проблемы. Все исследователи признают, что сибирские андроновцы хорошо знали скотоводство и в то же время вели достаточно оседлый образ жизни. Известно, что в условиях первобытной производящей экономики единственной отраслью хозяйства, которая могла привязать людей к одному месту и обеспечить оседлость, являлось земледелие. Если скотоводческо-земледельческие группы по каким-либо причинам утрачивали земледелие и превращались в «чистых» скотоводов, они теряли оседлость. Теоретически не исключено, что в некоторых местах Южной Сибири и Казахстана могло существовать оседлое скотоводческо-рыболов-

ческое хозяйство, где оседлость обеспечивалась рыболовством, но для исследуемой территории мы пока не располагаем на этот счет достоверными археологическими данными.

Правда, этнографически известно, что казахи-камауцы низовьев р. Или в Прибалхашье осуществляли в прошлом столетии многоотраслевое хозяйство, в котором земледельческие, рыболовецкие и скотоводческие занятия играли примерно равную роль. Однако камауцы не были полностью оседлыми, так как летом часть их кочевала со стадами в стороне от постоянных поселений³⁵. Это наводит на мысль, что традиционная точка зрения об оседлом быте пастушеско-земледельческого населения степей в эпоху бронзы может быть оспорена. Видимо, оседлость южносибирских и казахстанских андроновцев была весьма относительной. Этнографические источники, накопленные для Казахстана, свидетельствуют о том, что комплексное пастушеско-земледельческое хозяйство в зоне степей не могло быть вполне оседлым. «Земледелие, — замечает по этому поводу А. Левшин о казахах юга степной зоны, — не делает их оседлыми. Они кочуют около пашен своих только до того времени, пока хлеб спеет. Сжав его и обмоловив, они берут с собою нужную часть онога, а остальную зарывают в землю до будущего посева и уходят в другие места»³⁶.

Даже наиболее привязанные к своим пашням казахи-земледельцы р. Чу, имевшие в среднем по три десятины посевов на семью, отправляли с весны почти весь скот на горные пастбища, где пасли его до середины сентября, т. е. вели практически полуоседлый образ жизни³⁷. Казахи, сочетавшие скотоводство с земледелием, вынуждены были кочевать на сравнительно небольшом расстоянии от зимников, чтобы иметь возможность хотя бы изредка посещать свои земледельческие участки. «Как только посев кончен, — писал А. К. Гейнс о скотоводческо-земледельческих казахских группах середины прошлого столетия, — то земледельцы идут в свои кочевья и возвращаются к пашням дней через 60, то есть ко времени жатвы; однако же и до этого срока они изредка навешают поля для наблюдения за ними, а в южной части весьма знойной степи и для поливки полей»³⁸.

Усилившееся расслоение пастушеско-земледельческих казахских родов привело к тому, что на летнюю кочевку стал отправляться не весь производственный коллектив, а отдельные семьи, имевшие большие по численности стада. Беднота же оставалась летом на зимниках, где пробавлялась земледелием, а в некоторых местах и рыболовством. Вот как описывает Ю. Шмидт социальный и производственный статус оседлой части казахских родов XIX столетия, живших в южной части Казахстана, где имелись условия для искусственного орошения полей:

«Всюду, где только местность допускала возможность искусственного орошения, обедневшие киргизы — игинчи и джатаки устраивали себе поля и принимались за земледельческую культуру. Обыкновенно эти бедняки являются батраками богатых киргиз, которые за труд снабжают их необходимыми примитивными орудиями, дают им в пользование одного или нескольких молодых бычков или волов для обработки поля, разъездов верхом и в арбе, корову и нескольких овец, затем отпускают на посев семена, а для жилья старую, рваную и прокопченую юрту, словом, дают все самые необходимые средства для самостоятельной жизни вблизи возделан-

ных полей... Пашут обыкновенно агач-имеком (агач — дерево, имек — кривое), который лишь в слабой степени напоминает соху; конец этой ковырялки иногда окован... Вслед за тем игинчи, джатаки со всеми членами своих семейств вооружаются здоровыми дубинками, союлами, мотыками и приступают к раздроблению и измельчению комьев и глыб; после сего принимаются за ручной посев, и если почва сухая, то пускают воду. Этим заканчивается процесс посева, остается тщательно наблюдать за достаточностью потребной влаги, необходимой для роста злаков, и караулить зерно от клева птиц и потрав... Одновременно с обработкой полей на игинчах лежит обязанность заботиться сбором возможно большего запаса сена, а посему некоторые члены семьи в свободное время приступают к сенокосению... В течение двух месяцев, иногда раньше всходы уже пускают колосья и быстро созревают. Уборка производится серпами, увязывают в снопы и складывают в небольшие копны, а после сего принимаются за молотьбу тут же на глинобитной и ровной поверхности. Для молотьбы сгоняют всю крупную скотину, какая имеется, и гоняют по кругу, на котором разбросана часть жатвы, затем просеивают лопатою во время ветра, и, наконец, ссыпают зерно в мешки, складывают в конические ямы и тому подобные укромные места»³⁹.

Нам представляется, что андроновские поселения эпохи бронзы в казахстанских и южносибирских степях по своей хозяйственно-бытовой значимости сопоставимы с позднейшими казахскими зимниками, которые, кстати, стали играть особенно важную роль со второй половины прошлого столетия, когда значительная часть казахов начала переходить от кочевого к полукочевому хозяйству в связи с развитием у них земледельческих занятий. По аналогии с казахскими зимниками можно предполагать, что андроновские поселения были в основном зимними местообиталищами, т. е. зимою здесь, видимо, жил весь производственный коллектив, летом же часть жителей оставалась на поселениях (возделывать пашню, охранять посевы, убирать урожай, заготавливать сено для зимней подкормки скота и т. д.), тогда как другая часть с основной массой скота кочевала на летних пастбищах, которые были расположены сравнительно близко от поселений — вряд ли далее 50—100 км. Летняя пастьба скота в непосредственной близости от поселений могла привести к потраве посевов, сеюкосных угодий и зимних пастбищ. По этнографическим данным, летние потравы на казахских зимниках, если и бывали, то обычно по вине чужеродных групп — туркмен, казахов-адаевцев и др.⁴⁰ Главной причиной перекочевки минусинских тюрков весной на летники, по И. Каратанову, было стремление «сберечь от потравы скотом покосные луга, лежащие около зимовок»⁴¹.

Можно предполагать, что значимость отгонной пастьбы у андроновцев не была постоянной, а зависела от хороших и плохих для скотоводства лет, которые при неустойчивых погодно-климатических условиях степной зоны достаточно часто сменяли друг друга. Тем не менее факт ее существования в течение всей эпохи бронзы в казахстанских и южносибирских степях, на наш взгляд, почти бесспорен. В этой связи любопытно отсутствие на раскопанных до сих пор степных андроновских поселениях костей свиньи — животного, которое, по мнению специалистов, является показателем оседлого быта. Интересны в этом отношении и данные об отгонном скотоводстве

у древнеямного и срубного населения Волго-Донского междуречья, изложенные в работах В. П. Шилова ⁴².

Нам представляется, что приведенные факты и соображения, давая право видеть у степного населения эпохи бронзы элементы кочевого быта, не могут быть квалифицированы как безусловное свидетельство начала перехода к кочевничеству или становления кочевничества. Скорее, отмеченные элементы следует понимать как неперемное условие существования пастушеско-земледельческого хозяйства в степях и как показатель потенциальной готовности пастухов-земледельцев степной зоны перейти при изменившихся обстоятельствах к кочевому скотоводству.

Если признать отгонный характер скотоводства у степных андроновцев, то сам собою отпадает традиционный тезис о полукочевом, отгонном скотоводстве как переходной стадии между пастушеско-земледельческим хозяйством бронзового века и кочевничеством эпохи железа ⁴³. На нынешнем этапе археолого-этнографической изученности Южной Сибири и Казахстана представляется более вероятным, что гранью между пастушеско-земледельческим хозяйством и кочевничеством было не отгонное, полукочевое скотоводство, а тот хронологический момент, когда над внутривидовым разграничением земледельческих и пастушеских обязанностей возобладало региональное, межплеменное разделение земледелия и скотоводства, что выразилось в разной локализации, во взаимном противопоставлении и даже известной враждебности этих двух частей ареала производящей экономики. Другими словами, здесь мы имеем дело с тем случаем, когда крупное разделение труда привело не к выделению разных классов, сословий и каст внутри общества, а к разделению последнего на несколько разных обществ, с несходными формами хозяйства — в данном случае на общество оседлых земледельцев и общество кочевых скотоводов, наряду с которыми всегда существовал ряд переходных форм, характеризующих нестабильные и динамичные по внутренней хозяйственной структуре полукочевые или полуоседлые общества. Последние были, на наш взгляд, прямыми наследниками и продолжателями хозяйственно-бытовых традиций степных пастушеско-земледельческих обществ эпохи бронзы.

Железный век. Кочевое скотоводство

Североказахстанские археологи пришли к выводу, что в конце бронзового века население, жившее на р. Ишим, покинуло свои поселения из-за начавшихся катастрофических наводнений ⁴⁴. Современная сельскохозяйственная практика показала, что в тех случаях, когда высота весенних разливов на Иртыше, Тоболе, Туре превышает средний уровень на 2—3 м, половодья носят особенно затяжной характер. В такие годы вегетационный период в поймах сокращается, травы и сельскохозяйственные культуры не успевают созревать, продуктивность пойменных пастбищ и пашен резко падает ⁴⁵. В то же время в открытых степях юга Западно-Сибирской равнины при достаточно высокой увлажненности получали по 250—300 пудов с десятины, что намного превышало продуктивность в эти годы пойменных пастбищ и сенокосов. Кроме того, открытые степи давали сено более высокого качества и обладали способностью быстро откармливать

отошавший за зиму скот. Поэтому сюда обычно по весне пригоняли табуны лошадей из более северных районов, причем «лошади, приводимые с севера, нередко объедаются и падают, если сразу предоставить им пастись на свободе»⁴⁶.

Приведенные примеры дают основание предполагать, что повышение уровня воды в реках и озерах, а также общее увеличение «дождливости» в начале железного века привело к сокращению пойменных угодий, что ухудшило возможности пастушеско-земледельческого хозяйства, но зато увлажнение степей облегчило освоение под пастбища открытых степных пространств. В этих условиях завершился переход к кочевому скотоводству.

Ранее освоение скотоводами открытых степей было затруднено прежде всего недостатком там естественных водоемов. Это особенно относится к засушливым периодам, когда отсутствие поверхностных вод нельзя в должной мере компенсировать созданием колодцев, так как засухи в степной зоне неизбежно сопровождались понижением уровня грунтовых вод, а в ряде случаев их засолением. Интересно, что даже в новое время в столкновениях между казахскими родами за право кочевания на той или иной территории «дело шло, — по свидетельству П. П. Румянцева, — не о земле, а исключительно о водных источниках, которыми степь небогата и которые поэтому ценятся особенно высоко»⁴⁷.

Само собой разумеется, что увлажнение климата как таковое само по себе не могло явиться непосредственной причиной перехода от одной формы хозяйства к другой. Основной движущей силой таких крупных экономических трансформаций было развитие производительных сил, которое на определенном историческом этапе подводило людей к готовности изменить характер экономики. Но эта потенциальная готовность могла оставаться втуне до тех пор, пока окружающая среда не благоприятствовала такому переходу. Говоря о климатических изменениях на юге Западно-Сибирской равнины в рассматриваемое время, можно считать, что они соответствовали производственным потребностям местного населения и способствовали успешному решению назревших экономических задач.

Касаясь конкретных условий перехода от пастушеско-земледельческого хозяйства к кочевому скотоводству в степном Обь-Иртыше, следует особо подчеркнуть совместное действие по существу тех же трех факторов, которые в свое время стимулировали переход от охоты и рыболовства к пастушеско-земледельческому хозяйству (правда, в данном случае они проявились на ином ландшафтно-климатическом фоне и в новых исторических условиях): первый фактор — развитие производительных сил (не случайный переход к кочевому скотоводству на юге Западно-Сибирской равнины в общем совпал с освоением железа); второй — достаточно благоприятные экологические условия степной и лесостепной зон для существования здесь кочевого скотоводства; третий — кризисная ситуация, вызванная сокращением продуктивности пойменных угодий и обострением проблемы перенаселенности.

Сказанное выше не означает, что условия перехода от пастушеско-земледельческого хозяйства к кочевому скотоводству, отмеченные нами для северной степи и южной лесостепи, могут быть механически перенесены на все остальные районы кочевого скотоводства. В южных сухих степях и

полупустынях, где отсутствовали реки с постоянным водным режимом и широкие плодородные поймы, земледелие и оседлый быт при прогрессирующем усыхании климата бронзового века вряд ли могли упрочиться на сколько-нибудь длительное время, и местное население должно было ориентироваться на преимущественно скотоводческий образ жизни.

Если на севере степной и на юге лесостепной зон, т. е. в районах пойменного земледелия андроновцев, повышение уровня поверхностных вод отрицательно сказывалось на сельскохозяйственных занятиях, то в южных сухих степях и полупустынях, т. е. в районах орошаемого земледелия, необходимым условием успешных сельскохозяйственных занятий была относительная многоводность рек. Есть основание считать, что в засушливых степях Центрального Казахстана местное население эпохи бронзы в своих попытках предотвратить упадок земледелия пыталось прибегать к искусственному орошению полей. Остатки древней оросительной системы были обнаружены, например, у поселения Коныспай на р. Чаглинке⁴⁸. Однако в условиях засушливого климата бронзового века, при непостоянном водном режиме местных речек, рассчитывать на сколько-нибудь надежный эффект ирригационных сооружений вряд ли было возможно.

Даже при более влажном климате прошлого столетия поливное земледелие в сухих степях Казахстана не давало заметных выгод. «В Прибалхашье и вообще в сухих степях Туркестана, — писал около ста лет назад А. М. Никольский, — где земледелие возможно только при искусственном орошении, усыхание рек ведет к упадку земледелия, так как теряется возможность подавать на поля воду при помощи арыков... В низовьях Или можно видеть много киргизских пахотных земель, брошенных потому, что исчезла возможность выводить арыками воду из реки в то время, когда это нужно... Здесь, как и всюду в Туркестане, вода при возможности искусственного орошения оживляет край. Без известного количества воды, достаточного для ирригации полей, он обратился бы в необитаемую пустыню, годную разве только для кочевников с их пастушеским образом жизни»⁴⁹.

Экологическое своеобразие южных степей и полупустынь должно было в условиях усыхания климата эпохи бронзы раньше, чем на севере степной зоны, создать предпосылки для упадка земледелия и утверждения кочевничества. Переход к кочевому скотоводству в пограничье степей и пустынь произошел, по Г. Е. Маркову, около рубежа II и I тысячелетий до н. э.⁵⁰, т. е. на несколько веков раньше, чем на юге Западно-Сибирской равнины, и в другой ландшафтно-климатической обстановке.

Если обратиться к более далеким территориям, то можно найти факты еще более позднего приобщения к кочевому скотоводству; правда, речь здесь пойдет о нестандартном варианте — переходе к кочевничеству не пастушеско-земледельческого населения, а охотничьего. Так, некоторые родоплеменные коллективы охотников-монголов перешли к кочевому скотоводству около конца I тысячелетия до н. э., а тунгусские охотничьи группы Забайкалья переселились в степи и освоили кочевое скотоводство лишь в начале II тысячелетия до н. э.

В ряде районов аридного пояса кочевничество так и не смогло победить до конца пастушеско-земледельческий уклад. Это наблюдается там, где наряду с наличием обширных пастбищных угодий продолжали сохраняться места, достаточно удобные для стационарного поливного земледелия (на-

пример, в низовьях Аму-Дарьи, на юге Казахстана, отчасти в Хакаско-Минусинской котловине и др.). Археологическое и этнографическое изучение этих территорий должно способствовать более глубокому пониманию содержания и структуры пастушеско-земледельческого хозяйства степного населения эпохи бронзы.

В последние годы вновь стала популярной точка зрения о возможности непосредственного перехода от подвижной охоты к кочевому скотоводству. Так, С. И. Вайнштейн и Ю. И. Семенов предполагают, что «отдельные группы охотников за крупными копытными в некоторых районах Центральной и Средней Азии в эпоху бронзы заимствовали у своих соседей домашних животных и перешли к кочеванию, тем более, что традиции бродячей охоты, переносное жилище и другие особенности материальной культуры не требуют ломки сложившихся условий жизни»⁵¹. Здесь, видимо, надо различать два разных аспекта генетических истоков кочевничества: а) кочевое скотоводство как определенный, исторически обусловленный, закономерный этап развития экономики населения аридного пояса; б) различные варианты усвоения уже сложившегося опыта кочевого скотоводства носителями других хозяйственных типов. Если рассматривать первый аспект проблемы, то вряд ли можно сомневаться в том, что кочевое скотоводство является продолжением в трансформированном виде многовекового производственного опыта более раннего пастушества. Если акцентировать внимание на втором аспекте, то бросается в глаза, что подвижная охота на степных копытных и кочевое скотоводство демонстрируют сходный характер хозяйственной адаптации к экологическим условиям аридного пояса.

Это сходство прослеживается не только в регулярных перемещениях производственных коллективов, в существовании за счет стад копытных, в характере жилищ и т. д., но и в других сторонах хозяйства и быта. Так, с переходом к кочевому скотоводству на юге Западной Сибири и на территории Казахстана возрастает роль охоты. Кроме археологических данных, об этом говорят и более поздние свидетельства. «После скотоводства, — отмечал А. К. Гейнс, — любимое занятие у киргиз (казахов. — М. К.) всегда составляла охота; волки, лисы, зайцы, барсуки, барсы, дикие лошади, дикие козы, сайги, серны промышляются киргизами в разных местах степи во множестве»⁵². Сибирские документы XVIII в. сообщают, что в правобережье Иртыша «степи весьма открытые, а потому и обширные, а корму впусе лежащего и никем необитаемого довольно число и к тому же диких лошадей, а по названию тарпанов, премножество, которых они (кочевники. — М. К.) застреливают и употребляют в пищу»⁵³.

До нас дошли сведения о грандиозной облавной охоте 1391 г., в которой принимала участие вся 200-тысячная армия Тимура во время его знаменитого похода на север. Она состоялась в казахстанских степях в местности Ана-Карагуй или Ата-Карагуй. Правое и левое крылья армии Тимура растянулись цепью и окружили «бесконечную равнину». Круг сжимался два дня. В нем оказалось так много куланов, джейранов и других животных, что воины, несмотря на многодневный голод накануне, бросали тощих животных и брали только жирное мясо»⁵⁴.

В связи с упадком земледелия и переходом на преимущественно мясную пищу у кочевников степей повысилась роль собирательства, что

также сближает их с неолитическими охотниками. П. С. Паллас описал у сибирских кочевников своеобразный промысел, имевший сезонный характер и заключающийся в разорении нор особой разновидности мелких грызунов, обитавших на Янке, Ишиме, в Барабе, по Енисею и особенно в Забайкалье. Они имели в своих гнездах до трех-четырех кладовых, в каждой из которых хранилось от 8 до 10 фунтов съедобных корней. «Маленькое сие животное, — сообщал П. С. Паллас, — нигде столько не полезно, как в Даурии и в других еще местах Восточной Сибири, где хлеб не сеют; там языческие народы поступают так, как вотчинники лихоимцы со своими мужиками». И далее: «Отнятого у мышей запаса им становится в пищу на целую зиму. Оне осенью, когда мыши свои анбары наполняют, изыскивают таковые»⁵⁵. По этнографическим свидетельствам, собирательство являлось значительным подспорьем в хозяйстве всех кочевников Центральной Азии, в том числе монголов⁵⁶. У кочевников Енисея и прилегающих районов Западной Сибири основным продуктом собирательства была сарана, причем, как свидетельствует П. С. Паллас, «много вынимают сих саран из . . . нор серых степных мышей»⁵⁷.

Однако изложенное выше не означает, что тем самым подтверждается мнение о возможности непосредственного превращения подвижной охоты в кочевое скотоводство на стадии бронзового века вне влияния реально существовавшего кочевничества. Ссылки здесь на поздние этапы истории североамериканских охотников на бизонов — индейцев команчи, кайова и юта, которые под влиянием белых колонистов освоили под седло лошадь и стали конными охотниками на бизонов, не правомерны, так как от того, что они сели верхом на лошадь, существо их охотничьего хозяйства не изменилось — они оставались охотниками на бизонов.

Если говорить о развитии производящего хозяйства в аридной зоне в общей исторической перспективе, то придется признать, что именно пастушеско-земледельческое хозяйство было способно закономерно и логично подготовить условия перехода к кочевому скотоводству — мы имеем в виду приобретение опыта разведения домашних копытных, изобретение колесного транспорта, умение изготавливать разнообразные молочные продукты, освоение отгонной системы скотоводства, введение в практику искусственных колодцев-водопоев и т. д. Сходство некоторых элементов традиций подвижной охоты и кочевого скотоводства объясняется не их генетической близостью, а прежде всего сходством манеры адаптации к природным условиям аридного пояса, т. е. здесь мы имеем дело с явлениями конвергентного характера, которые было бы неверно соединять генетически.

Хотя в истории Сибири известны случаи перехода от охоты к кочевому скотоводству (например, у «конных тунгусов» Забайкалья в начале текущего тысячелетия), они имели место в эпоху сложившегося кочевничества и были следствием вынужденного ухода охотников из тайги в степную зону, что неизбежно влекло за собой два варианта выбора: либо смерть от голода, либо приобщение к опыту уже существующего рядом кочевого скотоводства.

Эти случаи не характеризуют особый этап в развитии производящей экономики и не могут рассматриваться в качестве одного из путей возникновения кочевого скотоводства.

Мы уже говорили выше, что состав стада у кочевников был несколько иным, чем у местного пастушеско-земледельческого населения эпохи бронзы, отличаясь в первую очередь другим процентным соотношением разных видов скота в стаде. Это выразилось прежде всего в увеличении значения лошади и в уменьшении доли крупного рогатого скота. Указанное изменение произошло вследствие возрастания снежности зим в раннем железном веке, а также в результате перевода массы скота на круглогодичный подножный корм. В этих условиях крупный рогатый скот не мог быть многочисленным, так как он не приспособлен к длительным и частым передвижениям и не в состоянии добывать корм из-под снега. «Коров, — сообщает А. К. Гейнс, — у киргизов менее, чем прочего скота, как потому, что молоко и мясо их вполне заменяется охотнее употребляемыми лошадиным, овечьим и верблюжьим, так и потому, что их признают не способными к перенесению продолжительных и дальних перекочеваний; зимою же они менее прочего скота способны добывать себе корм из-под снега»⁵⁸.

Хотя поселения железного века в западносибирских и казахстанских степях почти не содержат костных остатков и у нас нет поэтому формальных оснований судить о соотношении разных видов скота в стаде ранних кочевников этой территории, мы имеем достаточно убедительные косвенные данные, подтверждающие высказанный выше тезис о повышении с переходом к кочевничеству роли лошади и падении значения крупного рогатого скота⁵⁹. Во-первых, материалы по хозяйству и быту казахов XIX в. показывают, что с повышением степени оседлости возрастает процент крупного рогатого скота в стаде, а доля лошади заметно уменьшается (подробнее мы остановимся на этом несколько ниже); и наоборот, при возвращении от вынужденной оседлости к кочевому быту происходит изменение состава стада в обратную сторону. Во-вторых, зимняя пастьба скота в условиях кочевого быта и сам переход к кочевничеству в ландшафтно-климатических условиях южносибирских и казахстанских степей могли привести к успеху лишь при численном преобладании лошади над крупным рогатым скотом.

Система зимнего выпаса скота у кочевников-казахов, по описанию путешественников прошлого столетия, заключалась в следующем: «На сии замеченные пастбища, — писал А. Левшин, — выпускают сначала лошадей, которые копытами разрывают снег и едят верхушки. За ними на том же месте выгоняют рогатый скот и верблюдов, продолжающих есть начатую лошадьми траву и съедающих средину стеблей. Но низшей части оных, близ корня находящейся, верблюды глотать не могут по природному устройству органов питания, потому и овцы, выпускаемые на пастьбу после всего прочего скота, на одном и том же месте находят себе пищу. Сей образ продовольствия стад и табунов называется тебеневкою»⁶⁰.

К сожалению, наиболее точные сведения о количественном соотношении разных видов скота у казахов имеются лишь для 1900 г., когда оседание кочевников на землю зашло довольно далеко. Тем не менее преобладание лошади над крупным рогатым скотом было еще весьма значительным. Возьмем для наглядности сведения по трем областям Киргизского края — Акмолинской, Семипалатинской и Тургайской (для Уральской обл. сведения о составе стад у казахов и русских не разграничены)⁶¹ (табл. 2).

Т а б л и ц а 2. Соотношение разных видов скота у казахского населения Акмолинской, Семипалатинской и Тургайской обл., 1900 г.

Область	Мелкий рогатый скот		Крупный рогатый скот		Лошадь		Верблюд	
	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%
Акмолинская	1 247 683	53,8	363 430	15,7	610 011	26,4	96 533	4,1
Семипалатинская	1 795 679	65,0	343 364	12,5	567 552	20,5	55 482	2,0
Тургайская	1 074 424	52,6	382 594	18,7	467 187	22,8	120 596	5,9
Итого:	4 117 786	57,7	1 089 388	15,3	1 644 750	23,1	272 611	3,9

У нас есть данные о количестве разных видов скота у казахов Акмолинской обл. в 1863 г.⁶² (табл. 3).

Т а б л и ц а 3. Соотношение разных видов скота у казахов-кочевников Акмолинской обл., 1863 г.

Область	Мелкий рогатый скот		Крупный рогатый скот		Лошадь		Верблюд	
	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%
Акмолинская	2 246 244	72 ² / ₃	227 776	7 ¹ / ₄	563 782	18 ¹ / ₃	55 947	1 ³ / ₄

Из приведенной таблицы видно, что в 1863 г., когда земледельческие занятия у казахов еще не получили достаточного развития, количество лошадей в Акмолинской обл. превышало число коров в 2,5 раза. Сравнив эти показатели с данными предшествующей таблицы, мы увидим, что 37 лет спустя, в 1900 г., число лошадей было лишь в 1,65 раза выше, чем коров.

Особенно заметно тенденция к оседлости и к изменению состава стада проявлялась после жестоких бескормиц, приводивших к массовой гибели скота. «После суровой зимы 1879—1880 гг., так называемого между киргизами «куянского» года, — писал М. А. Леваневский об Эмбинской степи, — киргизы, имеющие землю, начали прикрепляться к ней, занялись посевами хлебов и стали оставаться, готовя запасы сена и хлеба на зиму, на своих земельных участках. При таких условиях у них явилась потребность часть верблюдов или лошадей заменить рогатым скотом, баранами и козами»⁶³.

Крупный рогатый скот наиболее удобен в условиях оседлого быта. Он менее, чем овца и лошадь, требователен к уходу и пище. По данным В. Л. Серошевского для реликтовых лесостепей Якутии, на участке, где могли прокормиться 10 лошадей, способны пастись 25—30 голов крупного рогатого скота⁶⁴. Примерно такое же соотношение наблюдается для степных пастбищ аридного пояса. Поэтому при повышении степени оседлости, когда площадь удобных для эксплуатации пастбищ значительно сокращалась, стремление степного населения увеличить долю крупного рогатого скота в стаде было понятным и оправданным.

«Для крупного рогатого скота, — отмечал А. И. Добросмыслов, — никаких пастухов не нужно: он пасется сам, без всякого присмотра и, кроме того, в хорошую зиму на подножном корме так же, как и остальной

скот (до половины ее или даже до конца января). В суровую же зиму, когда и лошадь требует готового корма, последнего для крупного рогатого скота нужно много меньше; так, например, 6—7 небольших возов сена, необходимых киргизу на зиму для прокорма одной рабочей лошади, достаточно на то же время для нескольких голов крупного рогатого скота»⁶⁵. Корова вполне обходится самыми грубыми кормами — объедками сена от овец и лошадей, низшими сортами сена (осокой, колючками, лебедой, мелким камышом и пр.), соломой. Возможность подкармливать крупный рогатый скот соломой делает его содержание в условиях пастушеско-земледельческого быта особенно рациональным.

По выживаемости корова среди степных домашних копытных уступает лишь верблюду. Так, джут 1891—1892 гг. в Тургайской обл. погубил 44,76% лошадей, 33,21% овец, 32,76% коз, 32,12% коров и 22,13% верблюдов⁶⁶. Однако кочевники не любили держать крупный рогатый скот, прежде всего из-за его малоподвижности и неспособности передвигаться на большие расстояния. «Во время прежних беспокойных дней, — объясняет эту нелюбовь А. И. Добросмыслов, — при постоянных барантах и перекочевках на огромных пространствах, рогатый скот часто погибал или доставался врагу»⁶⁷.

В кочевом хозяйстве наиболее рациональны овца и лошадь. Овца, как и лошадь, способна добывать корм из-под снега, правда, если последний не глубже 17—18 см и не слишком слежавшийся. Поэтому, в отличие от лошади, которая может извлекать корм из-под снежного слоя мощностью до 35 см, выпас овец более рационален на малоснежном юге — в сухих степях и полупустынях. Так, у кочевников Николаевского уезда Тургайской обл., лежащего в пограничье степной и лесостепной зон, по переписи 1869—1870 гг. лошадей (253 000) было почти столько же, сколько овец (287 000)⁶⁸. В более южном Акмолинском уезде Акмолинской обл., расположенном в подзоне сухих степей, в 1863 г., т. е. почти в то же время, лошадей (103 126) было почти в 4 раза меньше, чем овец (390 000)⁶⁹.

Не менее показательны данные за 1881 г. о соотношении разных видов скота у кочевников Николаевского и Тургайского уездов Тургайской обл.⁷⁰ (табл. 4).

Т а б л и ц а 4. Соотношение разных видов скота у казахов Николаевского и Тургайского уездов Тургайской обл., 1881 г.

Виды скота	Николаевский уезд		Тургайский уезд	
	кол-во	%	кол-во	%
Лошади	387 720	41,38	59 991	16,91
Коровы	148 437	15,84	26 458	7,44
Верблюды	20 215	2,16	47 496	13,38
Овцы	366 501	39,11	210 429	59,31
Козы	14 160	1,51	10 476	2,95

Получается, что в Николаевском уезде, лежащем на севере степной зоны, крупного скота было в 1,5 раза больше, чем мелкого, а в сухих степях Тургайского уезда, напротив, крупного скота было в полтора с лишним раза меньше, чем мелкого.

Сведения, относящиеся к XVIII в., касаются, как правило, количества и видов скота у отдельных кочевых семей. В Башкирии, которая лежит в основном в пределах лесостепной и предтаежной зон, по данным И. И. Георги от 70-х годов XVIII в., «число овец почти соответствует у богатых числу лошадей или превосходит оное малым чем. Рогатого же скота держат богатые вполовину противу лошадей»⁷¹. Таким образом, крупный скот превышал численно мелкий примерно в 1,5 раза. В степной зоне соотношение было иным. Так, хан Малой Орды Нур Галий имел около середины XVIII столетия 1000 лошадей, 400 голов крупного рогатого скота, 200 верблюдов, 4000 овец и несколько сот коз⁷², т. е. количество мелкого скота превышало численность крупного приблизительно в 3 раза.

Итак, увеличение процента крупного скота у скотоводческого населения степей с юга на север, вслед за уменьшением аридности климата, экологически оправдано и выступает как закономерность, на что неоднократно обращали внимание этнографы и путешественники. «В южной, песчаной, части степи, — отмечал А. К. Гейнс, — с особенным успехом разводятся верблюды и овцы. . . . Напротив, в северной степи, снабженной во множестве ручьями и озерами, хорошими лугами и растущей по равнинам ковыль-травой. . . , особенно удобно разводить лошадей и крупный скот, который при том без большого призрения переносит зиму, укрываясь в лесах и кустарниках северной полосы степей»⁷³.

Видимо, несходство ландшафтно-климатических условий севера и юга аридного пояса влияло и на состав стада пастушеского и пастушеско-земледельческого населения бронзового века. Так, если у населения эпохи бронзы притобольской и верхнеобской лесостепи основная масса остеологического материала принадлежит корове и лошади, то у тазабагыябского населения пустынь и полупустынь Южного Приаралья преобладал, судя по характеру костных остатков, мелкий рогатый скот. На поселении тазабагыябской культуры Якке-Парсан 2 кости домашних копытных распределились следующим образом: овца — 70 особей (51,5%), крупный рогатый скот — 40 (29,5%), лошадь — 26 (19%)⁷⁴. В отношении населения, оставившего памятники федоровского и алакульского типов (относимые некоторыми археологами к одной андроновской культуре), можно ожидать, что федоровцы, жившие в основном в менее аридных, удобных для оседлости условиях, имели больший процент крупного скота в стаде, чем алакульцы, а земледелие и, возможно, некоторые виды присваивающих промыслов носили у них более устойчивый и более традиционный характер. В сухих степях и полупустынях односторонняя скотоводческая направленность хозяйства была более оправданной; здесь сравнительно редко случались многоснежные зимы с буранами и гололедами, и поэтому зимняя пастьба скота не сопровождалась такими жестокими бескормицами, как на севере. Песчаные почвы юга аридного пояса легко и быстро пропускали влагу, не позволяли ей схватиться плотной ледяной коркой, затруднявшей добычу подножного корма; интересно, что и в более северных районах степной зоны кочевники старались выбирать под зимники песчаные места, где гололеды были не слишком губительны. По свидетельству А. К. Гейнса, в таких песчаных местностях население было менее подвижным и кочевало обычно недалеко от зимовок, боясь потерять их⁷⁵.

Таким образом, степень оседлости, равно как и состав стада, у кочевников зависели от почвенно-климатических особенностей разных районов аридного пояса, т. е. в конечном счете от продуктивности пастбищ и количества удобных водоемов. В 80-х годах прошлого столетия казахи Актюбинского и Николаевского уездов Тургайской обл. (север степной и юг лесостепной зон) кочевали на 20—40 верст от зимовок; казахи Иргизского и Тургайского уездов Тургайской обл. (южная, сухая степь) кочевали на 200—400 верст от зимовок; казахи Казалинского и Перовского уездов Сыр-Дарьинской обл. (полупустыня) кочевали на 600—1000 и более верст от зимовок⁷⁶. Нет никаких оснований сомневаться в том, что охарактеризованная зависимость должна была в той или иной мере проявляться и у пастушеско-земледельческого населения эпохи бронзы, и это экологически обусловленное обстоятельство добавляет убедительности ранее высказанной нами мысли, что федоровцы, значительная часть которых локализовалась в лесостепной и предтаежной зонах, а также в предгорных местностях алтае-саянского региона, были более оседлы, более склонны к земледелию и имели больший процент крупного скота в стаде, чем алакульцы.

Этнографы обратили внимание еще на одну важную сторону кочевого быта, касающуюся зависимости длины маршрута кочевков от количества скота, находящегося во владении семьи или производственного коллектива. «Величина кривой, описываемой в кочевках киргизом, — сообщает А. К. Гейнс, — зависит от изобилия подножного корма на летовках и от многочисленности его стад». И далее: «Чем беднее киргиз, тем круги, описываемые его стадами во время летовок, будут менее; те же киргизы, которых имущество состоит из нескольких голов скота, так называемые «джатаки», неимущие, остаются круглый год на месте»⁷⁷. Эта закономерность означает, что в связи с перенаселенностью и уменьшением количества скота у отдельных кочевых коллективов, при отсутствии другого выхода (например, в случае невозможности миграции населения в другие районы), должна была проявиться тенденция к переходу на оседлый образ жизни. Наблюдения путешественников прошлого столетия в казахстанских степях показали, что эта тенденция была закономерным следствием оскудения пастбищных угодий и обеднения кочевых хозяйств. Уменьшение количества скота не только вело к большей оседлости, но и наталкивало на необходимость перехода к земледельческим занятиям.

В новое время признаки этой тенденции проявились в том, что с рубежа XVIII и XIX столетий в казахстанских степях все более распространяются зимние поселения — так называемые зимники. Интересно, что сначала, когда значительная часть казахов кочевала и зимой, зимники не были постоянными и в отношении их существовало право первозахвата. Однако позднее, когда получают развитие земледельческие занятия, казахи начинают дорожить своими зимниками, последние становятся постоянными и право первозахвата уступает место праву собственности⁷⁸. Распространение зимников в казахстанских степях знаменовало начало крупной волны оседлости, которая прогрессирующе нарастала вплоть до первых десятилетий текущего столетия.

*

- ¹ Binford L. R., 1970.
- ² Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 188.
- ³ Binford L. R., 1970.
- ⁴ Ibidem.
- ⁵ Киселев С. В., 1949, с. 41; Матюшин Г. Н., 1971; Зайберт В. Ф., Плеваков А. А., 1978, с. 247, 249.
- ⁶ Черников С. С., 1970, с. 8.
- ⁷ Головачев П. М., 1902, с. 5.
- ⁸ Островских П., 1895, с. 307.
- ⁹ Childe V. G., 1955, p. 23—25.
- ¹⁰ См., например: Шнирельман В. А., 1973.
- ¹¹ Косарев М. Ф., 1976.
- ¹² Потемкина Т. М., 1976, с. 21.
- ¹³ Грязнов М. П., 1957, с. 23.
- ¹⁴ По Леваневскому М. А., 1894, с. 125.
- ¹⁵ Шмидт Ю., 1894; Чермак Л., 1898, с. 21.
- ¹⁶ Иохельсон В., 1895а, с. 132.
- ¹⁷ Иохельсон В., 1895а, с. 132; 1895б, с. 153.
- ¹⁸ Смирнов Н. Г., 1975, с. 38.
- ¹⁹ Там же, с. 39.
- ²⁰ Добросмыслов А. И., 1895.
- ²¹ Там же, с. 68, 149.
- ²² Летом, когда мясо быстро портится, было нерационально забивать крупный скот, поэтому в летние месяцы предпочитали резать молодых барашков, которых можно было съесть за короткое время.
- ²³ Тольбеков С. Е., 1971, с. 568.
- ²⁴ Кравцов Г. Ф., 1887, с. 42—43; Леваневский М. А., 1894, с. 125.
- ²⁵ Потемкина Т. М., 1976, с. 21.
- ²⁶ Зданович С. Я., 1979, с. 18.
- ²⁷ Маргулан А. Х., 1979, с. 258.
- ²⁸ Итина М. А., 1977, с. 193.
- ²⁹ Шунков В. И., 1956, с. 32.
- ³⁰ Левшин А., 1832, ч. 3, с. 205.
- ³¹ Потапов Л. П., 1952, с. 180.
- ³² Ядринцев Н., 1881—1882, с. 237.
- ³³ Фальк И. Г., 1824, с. 391.
- ³⁴ Итина М. А., 1977, с. 178.
- ³⁵ Фишер В., 1884.
- ³⁶ Левшин А., 1832, ч. 3, с. 199—200.
- ³⁷ Россия. Полное географическое описание нашего отечества. СПб., 1903, т. XVIII, с. 228—229; Чермак Л., 1898, с. 11—12.
- ³⁸ Гейнс А. К., 1897, с. 165.
- ³⁹ Шмидт Ю., 1894, с. 126.
- ⁴⁰ Гейнс А. К., 1898, с. 60.
- ⁴¹ Каратанов И., 1886, с. 618—619.
- ⁴² Шилов В. П., 1964; 1972.
- ⁴³ Грязнов М. П., 1956.
- ⁴⁴ Зданович Г. Б., 1973, с. 43.
- ⁴⁵ Григорьева Е. Н., 1956.
- ⁴⁶ Асалханов И. А., 1975, с. 212. Заметим кстати, что в засушливые годы крестьяне, жившие на юге Зауралья и Западно-Сибирской равнины, нередко отдавали свой скот на прокорм в более северные районы. Эти факты, отчасти, помогают понять, почему в засушливые фазы древних эпох учащались миграции степняков на север, а во влажные климатические периоды — наоборот.
- ⁴⁷ Румянцев П. П., 1910, с. 52.
- ⁴⁸ Зданович Г. Б., Зданович С. Я., Зайберт В. Ф., 1971, с. 406.
- ⁴⁹ Никольский А. М., 1885, с. 43—44.
- ⁵⁰ Марков Г. Е., 1973, с. 111.
- ⁵¹ Вайнштейн С. И., Семенов Ю. И., 1971, с. 189.
- ⁵² Гейнс А. К., 1897, с. 157—158.
- ⁵³ Кириков С. В., 1955, с. 34.
- ⁵⁴ Там же, с. 34.
- ⁵⁵ Паллас П. С., 1788, с. 267.
- ⁵⁶ Жуковская Н. Л., 1979, с. 72—73.
- ⁵⁷ Паллас П. С., 1788, с. 490.
- ⁵⁸ Гейнс А. К., 1897, с. 155.
- ⁵⁹ Потемкина Т. М., 1976, с. 21; Итина М. А., 1977, с. 193; Зданович С. Я., 1979, с. 18; Маргулан А. Х., 1979.
- ⁶⁰ Левшин А., 1832, ч. 3, с. 127.
- ⁶¹ Россия. Полное географическое описание нашего отечества. СПб., 1903, т. XVIII, с. 24.
- ⁶² Кравцов Г. В., 1877, с. 42—43.
- ⁶³ Леваневский М. А., 1894, с. 136.
- ⁶⁴ Серошевский В. Л., 1896, с. 268.
- ⁶⁵ Добросмыслов А. И., 1895, с. 29, 37.
- ⁶⁶ Там же, с. 29, 37.
- ⁶⁷ Там же, с. 170.
- ⁶⁸ Тилло А. А., 1873, с. 90.
- ⁶⁹ Кравцов Г. В., 1877, с. 36.
- ⁷⁰ Добросмыслов А. И., 1895, с. 6—7.
- ⁷¹ Георги И. И., 1796, с. 98.
- ⁷² Там же, с. 135.
- ⁷³ Гейнс А. К., 1897, с. 150—151.
- ⁷⁴ Итина М. А., 1977, с. 186—187.
- ⁷⁵ Гейнс А. К., 1898, с. 60.
- ⁷⁶ Добросмыслов А. И., 1895, с. 12.
- ⁷⁷ Гейнс А. К., 1897, с. 63—64.
- ⁷⁸ Румянцев П. П., 1910, с. 53—54.

Глава четвертая ПРИСВАИВАЮЩАЯ ЭКОНОМИКА СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ ЗАУРАЛЬЯ И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

*

Подвижная охота на северного оленя (зона тундры). Коллективная охота на лесных копытных (таежное Зауралье). Комплексное охотничье-рыболовческое хозяйство в таежном Обь-Иртыше. Древний оседло-рыболовческий тип хозяйства в Нижнем Притоболье.

Со времени оформления в Западной Сибири трех гигантских хозяйственных областей — ареала производящего хозяйства, зоны присваивающей экономики и области многоотраслевого хозяйства, сочетавшего производящие отрасли и присваивающие промыслы, население тайги и тундры продолжало вести традиционное охотничье и охотничье-рыболовческое хозяйство, т. е. осталось в пределах сильно сократившегося ареала присваивающей экономики.

Хотя для этого ареала было издревле характерно комплексное промысловое хозяйство (охота, рыболовство и собирательство), здесь уже с неолита достаточно четко фиксируются четыре типа хозяйства, различающиеся между собой преимущественной ориентацией на определенный вид промысла: 1) подвижная охота на северного оленя (зона тундры); 2) коллективная охота на лесных копытных на путях их сезонных перекочевок при помощи стационарных заградительных устройств (лесное Зауралье); 3) охотничье-рыболовческое хозяйство, в котором охотничий и рыболовческий промыслы находились в состоянии достаточно строгого динамического равновесия и носили выраженный сезонный характер (таежное Обь-Иртыше); 4) оседлое рыболовство (Нижнее Притоболье).

Из четырех перечисленных типов присваивающей экономики наиболее традиционными были первые три (они существовали с каменного века до этнографической современности). Что касается оседлого рыболовства в Нижнем Притоболье, то этот тип присваивающего хозяйства был своего рода историческим эпизодом и расцвет его, по имеющимся археологическим данным, относится в основном к переходному времени от неолита к бронзовому веку, во всяком случае для Нижнего Притоболья.

Следует иметь в виду, что между названными четырьмя типами присваивающего хозяйства не было и не могло быть сколько-нибудь четких и стабильных географических и этнических границ. Согласно этнографическим исследованиям В. В. Лебедева, у тазовских селькупов, если судить по переписи 1926—1927 гг., можно выделить по крайней мере три хозяйственных уклада: «Первый, целиком основанный на рыболовстве, был характерен для безоленных хозяйств, не имевших мужчин, и включал незначительную часть населения. Второй — наиболее массовый уклад — был распространен у хозяйств, совмещавших пушной промысел и мясную охоту с транспортным оленеводством. Третий — чисто оленеводческий — отмечен лишь у одной десятой части хозяйств, сосредоточивших в своих руках основную массу оленей»¹.

Думается, что подобная дифференциация хозяйственного уклада могла иметь место на Тазе и в дооленоводческий период, с тем лишь отличием, что место оленеводства в то время занимала охота на дикого северного оленя. Акцент на тот или иной вид промысла мог периодически меняться не только у населения одной местности, но и у одного производственного коллектива: в плохие для рыболовства годы оседло-рыболовческое население переориентировалось на преимущественно охотничий быт, а охотники при ухудшении условий для промысла зверя могли перейти на преимущественно рыболовческий образ жизни, и т. д. Тем не менее в широкой территориально-хронологической перспективе названные четыре типа хозяйства и их тяготение к определенным географическим районам отражают реальные локальные тенденции в развитии присваивающей экономики Зауралья и Западной Сибири.

Эти типы хозяйства явились в древности единственно возможными, самыми рациональными вариантами адаптации аборигенного населения к экологическим условиям севера Западной Сибири.

Подвижная охота на северного оленя (зона тундры)

Мы уже говорили выше, что для понимания особенностей социально-экономической истории древнего населения тундровой зоны необходимо учитывать, что тундра по многим своим особенностям сходна со степной зоной (открытые безлесные пространства, характерность мигрирующих стад диких копытных, относительно сухой климат, частая смена относительно благоприятных и неблагоприятных в погодно-климатическом отношении лет, вызывающая существенные колебания объема естественно-пищевых ресурсов, и пр.). Здесь, как и в степи, должны были вестись особенно упорные поиски более рациональных и экономически более стабильных форм хозяйства, однако тундра по своим экологическим особенностям давала худшие, чем степь, возможности для успеха этих поисков. Тем не менее эти поиски завершились там и здесь, хотя и в разное время, сходным результатом — переходом к кочевому скотоводству в степях и к кочевому оленеводству в тундре.

Однако нас в большей мере интересует период, когда основным занятием тундрового населения была подвижная охота на северного оленя. Характеризуя этот тип присваивающего хозяйства, мы будем обращаться не столько к археологическим, сколько к этнографическим материалам, так как археологические данные чрезвычайно скудны. Палеоэтнографический метод здесь вполне оправдан. Вопреки традиционному мнению о сугубо оленеводческом типе хозяйства у этнографически изученных саамов, ненцев, энцев и других тундровых групп, у них до недавнего времени, по существу по XVIII в., а у нганасан до XX в., главным занятием была охота на дикого северного оленя². Думается, что в древности роль охоты на дикого оленя была не менее, если не более, значима. Об этом говорит, в частности, зафиксированная археологически большая подвижность тундрового населения в каменном, бронзовом и раннежелезном веках. Для этих периодов характерны в основном стоянки с бедным, слабо выраженным куль-

турным слоем, являвшиеся, видимо, временными охотничьими лагерями. Поселения с культурным слоем значительной мощности очень немногочисленны.

Говоря о подвижной охоте на северного оленя как особом типе присваивающего хозяйства, мы отнюдь не отождествляем подвижный охотничий быт тундровых аборигенов с бессистемным бродяжничеством. Охотники должны были учитывать направление и время массовых перекочевок оленей (осенью в глубь материка, весной к морскому побережью); они обязаны были досконально знать пути таких перекочевков, чтобы выбрать места, наиболее удобные для охоты. О том, насколько важен был учет этих обстоятельств, говорит то, что до недавнего времени изменения путей сезонных перекочевков дикого оленя коренным образом нарушали хозяйственно-бытовой ритм тундрового населения, заставляя его переселяться в другие места, вступать в войны и т. д.

Так, перемещения в юкагирской среде на рубеже XVIII и XIX вв. были вызваны прекращением сезонных перекочевков дикого оленя через р. Колыму, Малый и Большой Анюй и Омолон. Причиной переселения части якутов с Оленека на Хету (80-е годы XVI в.) была голодовка на Оленеке — опять-таки в связи с изменением традиционных путей сезонных перекочевков дикого оленя³. Поэтому в целом подвижный быт древних тундровых охотников был обусловлен в первую очередь характером и направлением сезонных миграций оленьих стад. В связи с этим у аборигенов тундры выработался особый тип перекочевков, который Ю. Б. Симченко называет «челночным».

«Этот тип сезонных переселений, — пишет Ю. Б. Симченко, — отличался, прежде всего, двумя наиболее характерными особенностями: сменой географических зон и постоянством сезонных мест обитания. Миграции охотников были ограничены с севера местами, где происходили весенне-осенние посылки дикого оленя, а с юга — зимниками на территории максимальной концентрации оленьих стад. Естественно предположить, что протяженность пребывания на летних и зимних местах охоты — летниках и зимниках была различной. Охотники на дикого оленя выходили в тундровую зону ко времени вскрытия рек и массовых переправ животных, оставаясь там до возвращения оленей на юг. После ледостава аборигены должны были откочевывать к лесу. Состояние снежного покрова по всей субарктической зоне определяло время весенних передвижений — середина мая — середина июня. Осенняя миграция приходилась на сентябрь. Таким образом, на летниках древние аборигены могли оставаться лишь около трех месяцев. Все остальное время люди вынуждены были жить в зоне леса»⁴.

Ю. Б. Симченко считает, что в зимний период древние тундровые аборигены жили в землянках, а в летний, когда приходилось довольно часто передвигаться с места на место, в чумах⁵. Этому мнению в общем не противоречат археологические материалы: древние жилища типа землянок более характерны для таежной и лесотундровой полосы. В тундровой зоне такие постоянные капитальные сооружения были нерациональны, да и строить их, при отсутствии хорошего леса, было не из чего. Разведками Г. А. Чернова в Большеземельской тундре выявлены сотни стоянок с охотничьим инвентарем каменного, бронзового и отчасти железного

веков, являвшихся, судя по бедности культурного слоя, местами не постоянного, а эпизодического пребывания человека.

Регулярность движения диких оленьих стад и постоянство маршрутов их сезонных перекочевков обусловили благоприятные возможности для коллективных способов охотничьего промысла, из которых в тундре, по этнографическим свидетельствам, особой популярностью пользовались загонная охота и «поколки». Первый способ подробно описан П. С. Палласом (по запискам В. Зуева) и заключался в следующем: «Где лесу, кроме мшистых равнин, никакого нет, там выдумали Самоедцы пособить сему средству другим образом, которым они зимою там от десяти до ста и до двух сот оленей добывают. Когда они стоят на одном месте во множестве и спознают, что в близости большое стадо диких оленей пасутся, то, загнав своих дворовых оленей с санями на вышшее место с ветренной стороны, втыкают с тех мест высокие в снегу кольца, у коих наверху попривязаны гусиные крылья, так, чтоб от ветру свободно махались, сперва сажен на пять друг от дружки, а после на десять, и так далее, до тех пор, пока подойдут близко к стаду, но чтоб только ветром не нанесло на оленей человеческого духу; потом начинают равным образом и с другой стороны становить такие же жерди, и продолжают по сю сторону до тех пор, пока стадо уже пройдут». «Когда все будет готово, то разделяются Самоеды надвое: одне ложатся в потаенных снежных шанцах, другие, называемые ворданы, кроются с ружьями и луками при полом месте с подветренную сторону, а некоторые заходят из дали, чтобы погнать оленей прогалиной меж вьющих на шестах крыльев. И так погнанные олени бегут прямо к дворовым при санях на вблоке поставленным, но оттоль скрывшиеся прежде люди назад прогоняют к вооруженным ворданам, кои тут в краткое время великое множество оленей побивают.

Когда же приметят, что стадо не в отдаленности от какой-нибудь горы пасется, то Самоеды стараются обойти всю гору и навеса на шесты все свое платье, тряпицы и все, чтобы ни было, растычат вокруг по подошве оныя, оставя только свободное место для прогалины, по коей после гнать на гору оленей. Но как скоро олени промеж тычин поравнялись, то бабы и заезжают с санями, чтоб заставить с той стороны место и окружить вовсе диких. Олени не видя куда бежать, бегают вокруг по горе, а скрывшиеся местами стрельцы то и дело побивают, так что изо всего стада редко один цел выскочит»⁶.

Весной подобные легкие временные загоны сооружались на традиционных путях, по которым стада диких оленей перекочевывали с юга на север, в глубь тундры. У обдорских и туруханских самоедов весенняя коллективная охота при помощи таких нестационарных заграждений была весьма популярной. «В марте и апреле, — читаем мы у П. Третьякова, — когда олень из лесов идет на открытые тундры, самоеды и юраки промышляют его махавками. Способ такой добычи заключается в следующем: на протяжении четырех или пяти верст устраивают нечто наподобие стенок, состоящих из кольев, вышиною аршина на полтора с привешенными на верхних концах их тряпичками или перьями; кольца сначала становятся довольно редко, но потом расстояние между ними сокращается и самый проход между ними суживается»⁷. Загон заканчивается сетью из тонких

ремней; здесь сидели в засаде мужчины-охотники с рогатинами и луками. В безлесных местах тундры вместо кольев с тряпицами и перьями («маха-вок») становились столбики из земли и дерна⁸.

«Поколки» не были связаны со строительством специальных заградительных сооружений. Они практиковались в тех местах, где традиционные пути сезонных перекочевок диких оленей пересекали реки. При переправе через них плывущие олени были практически беспомощны, и их в большом количестве добывали копьями на плаву. Поколки были характерны не только для тундры, но для всех мест, где происходили регулярные миграции больших стад диких копытных. «Поколки» были, видимо, самым древним видом коллективной охоты; сцены такой охоты известны в древней наскальной живописи Сибири — например, на Шалаболинской писанице в Хакасско-Минусинской котловине⁹. По этнографическим данным, западносибирские ненцы при удачной поколке добывали за день до 200 оленей¹⁰. Поколки и другие виды коллективного промысла диких копытных имели очень большое значение в жизни тундровых аборигенов, так как позволяли добывать мясо впрок. Наиболее значимой в этом отношении была осенняя поколка. Весенний промысел был менее надежен. Олени часто успевали перейти реку по льду; кроме того, как отмечают русские путешественники прошлого столетия, «весенний олень обыкновенно бывает чрезвычайно худ, и все тело его покрыто нарывами и ранами, так что в крайних только случаях употребляется в пищу жителями, и годится единственно для корма собакам; даже и шкура оленя в то время года не имеет настоящей доброты и в дырах. Гораздо важнее и изобильнее второй промысел, в августе и сентябре месяцах, когда олени с приморских тундр возвращаются в леса. Тогда сии животные здоровы, жирны и мясо их составляет вкусную пищу, а также шкура, покрытая уже новою шерстью, тверда и прочна»¹¹.

В этнографически изученное время наиболее важную роль поколки играли на Таймыре и Колыме (особенно у нганасан и юкагиров), где крупнотабунное оленеводство не получило развития, и охота на оленя до недавних пор, как и в древние эпохи, оставалась основным источником мясного промысла. Когда коллективная охота на переправах не приносила успеха, приходили голод и угроза вымирания. Вот как рассказывает Ф. Врангель об одной неудачной осенней поколке на Колыме в начале 1820-х годов прошлого столетия, которую ослабленные длительной голодовкой аборигены ждали с особым нетерпением.

«Наконец, — пишет он, — 12 сентября на правом берегу реки. . . показалась отрада и спасение туземцев — бесчисленный табун оленей покрыл все прибрежные возвышенности. Ветвистые рога их колыхались, как будто огромные полосы сухого кустарника. Со всех сторон устремились Якуты, Чуванцы, Ламуты, Тунгусы пешком и в лодках в надежде счастливой охотой положить предел своим бедствиям. Радостное ожидание оживило все лица и все предсказывало обильный промысел. Но к ужасу всех внезапно раздалось горестное роковое известие: «Олень пошатнулся!». Действительно, мы увидели, что весь табун, вероятно уstraшенный множественством охотников, отошел от берега и скрылся в горах. Отчаяние заступило место радостных надежд. Сердце разрывалось при виде народа, внезапно лишенного всех средств поддерживать свое бедственное существо-

вание. Ужасна была картина всеобщего уныния и отчаяния. Женщины и дети громко стонали, ломая руки; другие бросались на землю и с воплями взрывали снег и землю, как будто приготавливали себе могилу. Старшины и отцы семейств стояли молча, неподвижно, устремивши безжизненные взоры на те возвышения, за которыми исчезла их надежда»¹².

У нганасан и колымских юкагиров практиковался еще один способ охоты на оленей, сочетавший опыт коллективного загонного промысла и поколок. У нганасан это выглядело следующим образом: «Выследив стадо диких оленей, втыкали в два ряда махавки (крылья куропаток, веерообразно привязанные на тонких палках) в виде суживающего прохода, упирающегося узким концом в воду. С помощью собак загоняли оленей по этому проходу в воду, и охотники, подъезжая на ветках (легких переносных лодках), закалывали оленей копьями. Несколько человек с луками прятались около мест, где олени входили в воду, и убивали бегущих назад. Для поколок выбирали озера с далеко выходящим пологим мысом и высоким берегом на противоположной стороне, позволявшим охотникам скрыться там с ветками и длинными копьями. Проход, направляющий диких оленей к воде, устраивали также из палок с насаженными на них торфом и дерном»¹³.

Описанный способ охоты, видимо, появился относительно поздно. Вообще, если оценивать все перечисленные выше разновидности коллективной охоты на оленя в тундре с точки зрения логической последовательности их появления, то следует признать, что раньше всего должна была получить распространение сезонная добыча оленя на переправах, затем — загонная охота при помощи временных заградительных устройств, и, наконец, должны были сложиться синкретические способы, сочетавшие приемы поколки и загонной охоты. Затем все эти виды коллективного промысла сосуществовали — каждый применялся в соответствии с конкретными обстоятельствами: поколки осуществлялись весной и осенью, загонная охота — в летнюю и зимнюю пору, охота с заградительным устройством у воды — в период между весенним вскрытием и осенним замерзанием рек и озер. Предположительно можно говорить, что в тундровой и лесотундровой зонах Западной Сибири поколки вошли в постоянную охотничью практику в условиях сокращения и вымирания мамонтовой фауны, т. е. с переходом к мезолитической эпохе.

Следует особо подчеркнуть, что, несмотря на сосуществование с древнейших времен нескольких видов коллективного промысла оленя в тундре, основным способом всегда оставалась поколка. Те сравнительно немногочисленные и небольшие по площади поселения эпохи неолита с одним-двумя жилищами, которые исследовал Л. П. Хлобыстин в западносибирской тундре и лесотундре, были приурочены, по его мнению, к местам переправ диких оленей через реки¹⁴. Такой принцип расположения сезонных охотничьих стоянок применялся тундровыми аборигенами во все последующие времена — до этнографической современности. Весенние и осенние стойбища нганасан до недавних пор устраивались в местах переправ диких оленей¹⁵.

К сожалению, никаких следов древних загонных сооружений и тем более каких-либо прямых признаков, по которым можно было бы более

определенно судить о местах и характере древних поделок, в западно-сибирской тундре не сохранилось. Древние наскальные изображения, которые могли бы проиллюстрировать разные стороны экономики местных аборигенов, здесь не известны и пока нет оснований надеяться, что они когда-нибудь будут обнаружены. Поэтому приходится исходить, во-первых, из общепризнанного тезиса о традиционности охотничьего хозяйства аборигенов циркумполярного пояса (отсюда допустимость прямых археолого-этнографических параллелей) и, во-вторых, из экологической оправданности здесь на разных исторических этапах лишь строго определенных видов присваивающих промыслов, что также позволяет в ряде случаев ставить, с поправкой на эпоху, на место отсутствующего археологического факта наличный этнографический факт.

Путешественники XVIII в., кроме коллективных видов охотничьего промысла, описали разные приемы индивидуальной охоты на дикого оленя — гоном по насту (весной), скрадыванием в воде (летом), при помощи оленя-манщика и т. д. Нет оснований сомневаться, что перечисленные способы охоты являются традиционными и уходят в глубокую древность, в том числе и охота с манщиком. При раскопках городища Усть-Полуй под Салехардом, относящегося в основном к эпохе раннего железа, были найдены костяные детали оленьей уздечки, принадлежавшей, как считают, оленю-манщику¹⁶. Почти очевидно, что олень-манщик мог использоваться ранее — задолго до изобретения специальной узды со сложным набором костяных деталей.

Таким образом, охота на оленя издревле была основным источником существования населения тундровой зоны. Не случайно дикий олень называется у ненцев «илбць», что в переводе на русский означает: «то, с помощью чего живешь» или «средство к жизни»¹⁷. «От такого промыслу, — читаем мы у П. С. Палласа, — имеют они все, что им надобно, пищу, крышу, платье, нитки к шитью и на другие потребности, клей, лопатки, кои они из рогов делают, и прочее тому подобное»¹⁸. Это, однако, не означает, что древнее население тундры могло существовать только за счет охоты на оленей. Ведя столь одностороннее хозяйство, без подстраховки его другими видами промыслов, аборигены тундровой зоны неминуемо обрекли бы себя на вымирание.

Численность диких оленей в тундре всегда была очень нестабильна. Дело в том, что хорошие ягельные пастбища здесь весьма редки. Ягель растет очень медленно. Там, где он съеден или вытопан, воспроизводство его до нормальной высоты (9—11 см) происходит примерно через 25 лет¹⁹. Поэтому в тундре часты бескормицы, в результате которых резко снижалась численность диких оленьих стад. Кроме того, весной и осенью здесь обычны гололеды: снежный покров покрывается твердой коркой льда, олени не могут пробить его и добраться до пищи, что влечет за собой массовый падеж.

Значительным подспорьем в хозяйстве тундрового населения была охота на линную дичь. По описанию В. Н. Чернецова, она была основана на том, что «в период линьки, когда птица лишена возможности летать, она тысячными табунами собиралась на озерах, где и становилась верной добычей охотников. Охота осуществлялась обычно загоном. Предвари-

тельно на озерах устраивались загородки, расположенные в заливах, на протоках или на удобных частях берега. . . Часть охотников на лодках, а на мелких озерах и вброд, криками и палками загоняли гусей и уток с озера, а другая часть, расположившись в укрытиях по берегам, не давала птице прорваться в стороны, направляя ее в загоны, где птица и забивалась. Охота на линную птицу. . . была очень эффективна и обеспечивала людей пищей в виде вяленого мяса на большой срок»²⁰. Известно, что нганасаны добывали за одну охоту от 300 до 1000 гусей²¹. В низовьях Лены, где, судя по этнографическим данным, этот вид летнего охотничьего промысла был большим подспорьем в питании местного населения вплоть до конца прошлого столетия, Н. Д. Юргенс был очевидцем случая, когда в 1883 г. два мужчины, вооруженные палками, за полчаса убили во время линной охоты 1500 гусей²².

Существенное значение имел рыболовческий промысел. «Случаем упражняются они, — сообщает П. С. Паллас о северных западносибирских самоедах, — также при морских заливах и озерах рыболовством, и для того вяжут они из таловой коры сети, а веревки плетут из талового прутья»²³. Добыча рыбы не прекращалась и в зимнее время. «В речках. . . Самоедцы, вскоре как оные замерзнут, делают пролуби и над ними будки, потом пушают в воду вырезанные из дерева на нишках с камнем для грузу рыбки, кои им служат для приманы хищных рыб, коих они весьма мастеровито колют острогою; или делают также по таким речкам маленькие запорцы, у коих при окнах на дно опускают белую бересту, и проходящую рыбу, которую на белом дне ясно видно, колют вышеописанным способом»²⁴.

Археологические данные свидетельствуют о том, что в неолите и бронзовом веке охота в тундровой зоне превосходила по значимости рыболовство²⁵. Однако в эпоху железа, с появлением транспортного оленеводства и вслед за этим интенсификацией охотничьего промысла, численность диких оленьих стад сокращается. Позднее, в связи со сложением в западносибирской тундре крупнотабунного оленеводства (в новое время) и все большим уменьшением количества диких оленей, значение рыболовства, особенно в безоленных и малооленных хозяйствах, возрастает. Так, В. Ф. Зуев отмечал, что голодовки западносибирских тундровых самоедов в 70-х годах XVIII в. зависели не столько от колебания численности домашних и диких оленей, сколько от недостатка рыбы²⁶.

Таким образом, даже на Крайнем Севере рыболовство в условиях относительной перенаселенности было более надежным занятием, чем охота на дикого оленя и оленеводство. Описывая жизнь долган, обитавших в южной части Таймыра между пос. Дудино и Хатангским погостом, А. Ф. Миддендорф так объяснял их более обеспеченное по сравнению с другими аборигенами существование: «Они питались преимущественно рыбами, и хотя свободно кочевавшие родичи их поглядывали на них как бы с чувством соболезнавания, но преимущества обеспеченного существования, оседлости, связанного с нею заготовления больших запасов. . . давали им такое превосходство над кочующими, что они положительно были самыми замечательными членами этого рода и немало гордились тем, что в тяжкие времена спасают странствующих собратьев от голодной

смерти. Происходит это, говорили они неоднократно, оттого, что кочевники полагаются на ненадежное охотничье счастье вместо того, чтобы заняться надежной рыбной ловлей»²⁷.

По этнографическим свидетельствам, у некоторых тундровых и таежных оленеводческих и охотничьих групп рыболовство считалось не вполне достойным занятием. Среди оленных чукчей, которые являлись, пожалуй, самыми благополучными в экономическом отношении по сравнению с другими северными оленеводами, рыболовство вообще не было развито; из рыбодобывающих орудий они были знакомы лишь с удой и остройгой²⁸. Характеризуя охотничье-олeneводческий быт енисейских тунгусов начала текущего столетия, К. М. Рычков отмечал, что «даже в настоящее время некоторые старики относятся к рыбному промыслу как бы с презрением и не занимаются им»²⁹. Здесь напрашивается аналогия с кочевниками-скотоводами степей, в среде которых поддерживалось презрительное отношение к земледельческим и рыболовческим занятиям. Видимо, в этом проявлялось исконное недоверие, даже враждебность кочевых и «бродячих» обществ к оседлому образу жизни, в какой бы форме он не проявлялся. Такое неприятие оседлости, нежелание выйти за рамки традиционного быта, видимо, в значительной мере определяло консервативность кочевого уклада в целом.

Для этнографической современности у северных тундровых групп отмечена некоторая роль охоты на морского зверя — моржа, белугу, нерпу и др.³⁰ Ф. Белявский, побывавший на Ямале в конце 20-х годов прошлого века, еще застал там кожаные лодки и традиционные приемы охоты на морского зверя: «Дикари, — писал он, — во время половодья, бури и ловли тюленей и китов. . . садясь в лодку, стягивая вздержки, опоясавши половину тела, пускаются не только по рекам, но даже в обскую губу и по берегам Ледовитого моря, где они ныряя наподобие дельфинов, не страшатся преследовать китов и убивать молодых моржей, быв уверены в своей безопасности и невозможности потонуть»³¹.

И. И. Крупник считает, что морской промысел в субарктике в прошлом играл столь же важную и экологически оправданную роль, как подвижная охота на северного оленя и кочевое оленеводство. В этом он видит «важнейшую закономерность эволюции традиционного хозяйства в условиях Крайнего Севера, которая заключается в одновременном параллельном развитии двух «моделей» экономики с различной (противоположной) реакцией на изменение условий существования. Поэтому в целом, — продолжает он, — процесс хозяйственной эволюции тундровых народностей можно представить как своего рода постоянный «перелив» от кочевой формы к оседлой, т. е. от охоты и оленеводства к морскому промыслу — и обратно, в зависимости от конкретной динамики экологической и социальной обстановки»³². Думается, что высказанный И. И. Крупником тезис основан главным образом на материалах по истории хозяйства Северо-Восточной Азии. Для западносибирской тундры ни археологические, ни этнографические данные не свидетельствуют о том, что морской зверобойный промысел играл когда-либо большую роль, чем охота на оленя и оленеводство. Кроме того, следует учитывать, что охота на морского зверя как специализированная отрасль охотничьей экономики является

очень трудоемким и технически сложным видом промысла и поэтому вряд ли могла сложиться в западносибирской тундре ранее железного века.

Даже на рубеже XIX и XX столетий, когда продукты морского зверобойного промысла находили достаточно широкий сбыт, охота на морского зверя привлекала лишь незначительную часть тундровых аборигенов. «Некоторые самоеды, — писал по этому поводу В. Львов, — прикочевывают к берегам Ледовитого океана и тут охотятся на морских зверей — тюленей, моржей, а также белых медведей (ошкуев)»³³. Энци охотились на морского зверя эпизодически, причем занимались этим немногие, и похоже не в голодную пору, а при наличии уже заготовленного на зиму рыбного запаса, когда можно было позволить себе несколько отвлечься от основных хозяйственных забот³⁴. Нам представляется, что морской зверобойный промысел в западносибирской тундре никогда не мог существовать как устойчивая отрасль хозяйства и во все времена носил относительно эпизодический характер. Это, как и эпизодичность промысла морского зверя у исторических самоедов, объяснялось частыми и резкими колебаниями здесь производительности морских охотничьих угодий. Дело в том, что биогеоценозы северных морей европейской части СССР и Западной Сибири весьма неустойчивы и испытывают значительные изменения при похолоданиях и потеплениях. Так, биомасса зоофитопланктона Баренцева моря может уменьшаться в некоторые годы в 6 раз по сравнению со средним значением³⁵. Такая нестабильность, при необыкновенном богатстве низовьев Оби рыболовческими угодьями, вряд ли могла привести к сколько-нибудь устойчивому предпочтению морского охотничьего промысла не только перед охотой на дикого оленя (и оленеводством), но и перед рыболовством. В. Ф. Зуев и П. С. Паллас, давшие наиболее обстоятельное и объективное описание хозяйства западносибирских тундровых аборигенов XVIII в., подчеркивали случайный характер у них промысла морского зверя, который осуществлялся как бы мимоходом, в процессе летних кочевок с оленьими стадами: «Когда они подле моря кочуют, — сообщает П. С. Паллас, — то довольные имеют пропитание от белых медведей, кои на берег выходят, также от выброшенных морем белух и других зверей, коих они без различия едят и не гнушайся»³⁶. И далее: «Когда Самоедцы подле моря кочуют, то не оставляют промыслять и моржей и морских телят, кои недалеко от берегов на каменья или на льдины выходят»³⁷.

В древности жизненный уровень и численность западносибирского тундрового населения, видимо, находились в состоянии относительного равновесия с численностью диких оленей. Во всяком случае, в неолите охота на дикого оленя в целом удовлетворяла, как полагает Л. П. Хлобыстин, потребности аборигенов в пище и одежде, а рыбная ловля (и тем более морской зверобойный промысел) не имела особого значения³⁸.

Необходимость запастись мясом впрок научила жителей тундры разным способам консервации животного продукта. По этнографическим данным, варку и юколу энцы хранили в ямах до зимы, а затем доставляли в жилище на нартах. Консервирующим средством для хранения варки была тара из оленьей брюшины, посыпанной золой³⁹. Птицу, добытую во время линной охоты, юкагиры частью коптили, частью замораживали и зарывали в снег⁴⁰, а убитых летом и осенью оленей закапывали в слой вечной

мерзлоты⁴¹. После поколок колымские аборигены сразу же помещали убитых оленей в холодную воду реки, где они сохранялись в течение нескольких дней, пока добыча обрабатывалась и консервировалась⁴².

Весьма своеобразно консервировали запасенное впрок мясо оленные чукчи. «Летом, — писал по этому поводу В. Г. Богораз, — когда от копытницы обыкновенно пропадает много оленей, чукчи, не успевая потреблять все, стараются делать запасы, складывая их в особые мешки, состоящие из шкуры тюленя, снятой целиком с туши или сшитые из оленьих шкур по тому же образцу. Основным элементом этих запасов служит кровь, которая под влиянием летнего тепла горкнет и бродит. Вместе с кровью в мешки складываются печень и сердце, кишки, кое-как очищенные и мелко изрубленные, опаленные оболочки копыт и губ, также все остатки и обрезки мяса. Получаемый продукт употребляется зимою в замороженном виде»⁴³.

Собирательство в тундре всегда носило подсобный характер. По этнографическим свидетельствам, весной самоеды собирали и ели птичьи яйца — в вареном виде, причем в дело шли и испорченные⁴⁴. Интересно, что найденное гнездо утки, в которое птица снесла еще не все яйца, нганасаны отмечали кусочками дерна или сорванной кочкой; такое гнездо считалось собственностью нашедшего⁴⁵. Из растительной пищи тундровые самоеды собирали разную ягоду — бруснику, голубицу, черную вороницу и морошку. Ненцы употребляли в пищу дудник (растение из семейства зонтичных) и варили иногда жидкую кашу из альпийской толокнянки.

Археологические и этнографические материалы фиксируют два наиболее существенных подъема в развитии производительных сил у населения тундровой зоны. Первый связан с одомашниванием северного оленя. Это произошло, по мнению многих ученых, около рубежа I и II тысячелетий н. э., хотя Л. П. Хлобыстин, Г. М. Левковская и Г. Н. Грачева обоснованно предполагают, что приручение оленя в тундре могло иметь место значительно раньше — еще до середины I тысячелетия н. э. Появление оленеводства привело к интенсификации традиционных промыслов. Приручение оленя в транспортных целях (шедшее в общем параллельно с освоением железа) способствовало освоению в охотничьем и рыболовческом отношении ранее малодоступных районов открытой тундры, позволило быстрее и оперативнее менять сезонные промысловые угодья.

Второй крупный шаг в развитии производительных сил отмечен переходом к крупнотабунному кочевому оленеводству. Он совершился сравнительно поздно; во всяком случае, еще в XVII столетии домашний олень в западносибирской тундре был немногочисленным и основным источником существования являлись охотничьи и отчасти рыболовческие промыслы.

Говоря в предыдущей главе о древней экономике юга Западно-Сибирской равнины, мы с большим сомнением отнесли к точке зрения о непосредственной генетической связи подвижной охоты на степных копытных и кочевого скотоводства, в то время как применительно к тундровой зоне факт непосредственного перехода от подвижной охоты на дикого оленя к кочевому оленеводству безусловен, равно как и неоспорима их генетическая связь. Однако противоречие здесь кажущееся. Во-первых, не исключено, что в происхождении тундрового оленеводства, если учесть

неоднократные продвижения на север многих элементов южных культур (во второй половине бронзового века, в V—III вв. до н. э., в раннем средневековье и т. д.), могли сыграть роль пример и опыт южных скотоводов. Во-вторых, кочевое оленеводство на Крайнем Севере можно отнести к производящей форме хозяйства лишь с большим количеством оговорок.

В. В. Лебедев, используя данные переписи 1926—1927 гг., предлагает следующие критерии оценки производящего и непроизводящего хозяйства северных оленеводов: «80,5% кочевых хозяйств коренного населения Крайнего Севера, имевших до 250 оленей, носили присваивающий характер; 10,3% хозяйств, имевших от 250 до 1000 оленей, можно рассматривать как хозяйства переходной формы, и лишь 3,2%, имевших свыше 1000 оленей, можно считать подлинно производящими»⁴⁶. Если пользоваться этими в общем-то спорными критериями (странно, что они даются применительно к отдельным производственным коллективам, а не к обществу в целом), то ни о каком производящем хозяйстве в тундровой зоне вплоть до XVIII—XIX вв. не может быть и речи. Но и для XIX столетия глубокие различия между степным кочевым скотоводством как производящим хозяйством и тундровым крупнотабунным оленеводством совершенно очевидны.

Если при кочевом скотоводстве маршруты кочевания могут легко меняться по желанию хозяина стада, то в тундре основные маршруты перекочевок оленьих стад должны обязательно иметь меридиональное направление — с юга на север и с севера на юг. Оленевод, в отличие от кочевника-скотовода, фактически не освободил себя от необходимости «следования» за стадом. До недавнего времени он был не столько пастухом, сколько хранителем стада, полагаясь в вопросах пастбы больше на природное умение оленей находить богатые ягелем места⁴⁷. В этом смысле оленеводы по своему хозяйственно-бытовому укладу стоят ближе к подвижному охотничьему быту, чем к кочевому скотоводству. Характеризуя образ жизни юкагиров-олeneводо в Колымы в начале текущего столетия, В. В. Зензинов отмечал: «Олень бродит по тундре от одного кормовища к другому, юкагиры кочуют вместе с ним; летом от жары и комара олень спасается у моря — юкагир идет за ним, зимой олень прячется от жестоких пург в лесистых местах — юкагиры переносят свое кочевье из тундры на „камень”»⁴⁸.

Оленеводам, в отличие от скотоводов, до недавнего времени не были известны навыки элементарной селекции, ветеринарии, теплого содержания и подкормки молодняка и т. д. Сам термин «домашний олень» в значительной мере условен, ибо это животное так и не привыкло до конца к людям и легко переходило от «домашней» жизни к дикому состоянию. Западносибирским тундровым оленеводам не было известно доение важенок, тогда как у скотоводов-степняков молочные продукты всегда играли очень важную роль в пищевом рационе⁴⁹.

Переход к оленеводству, в отличие от перехода к кочевому скотоводству, не увеличил сколько-нибудь существенно численность населения, так как ягельные пастбища занимают сравнительно небольшие площади и возобновляются очень долго. Негативную роль здесь сыграл, видимо, и однозначный состав тундровых копытных (только олень), в то время

как у степных скотоводов в стаде наличествовали по крайней мере три вида животных: корова, овца, лошадь, а кроме того, еще верблюд и коза, которые в силу своих биологических особенностей не вполне одинаково реагировали на разные стихийные бедствия (засухи, бураны, гололеды, изменение мощности снежного покрова и т. д.), а также на экологические особенности разных районов аридного и полуаридного поясов (состав пастбищ, количество кормов и пр.), что в целом приводило к большей выживаемости и стабильности степного стада в сравнении с тундровым. Именно поэтому роль охоты и рыболовства (и вообще «комплексность» хозяйства) у тундровых оленеводов была более значимой и экологически более оправданной, чем у степных скотоводов.

Таким образом, по основным своим показателям кочевое скотоводство не может быть прямо сопоставлено с кочевым оленеводством. То же самое относится к их происхождению. Экологические условия тундры, в отличие от степей, исключили возможность сложения здесь пастушеско-земледельческого хозяйства как базы перехода к кочевничеству. В тундре роль такой переходной стадии мог сыграть лишь период транспортного использования оленя в условиях подвижного охотничьего и охотничье-рыболовческого хозяйства. Вместе с тем между тундровым оленеводством и кочевым скотоводством степей имеется ряд сопоставимых признаков. Прежде всего эти две разные формы хозяйства сходны манерой адаптации к условиям природной среды и содержат в себе (олeneводство в большей мере) некоторые трансформированные элементы подвижного охотничьего уклада: частые перемещения производственных коллективов, легкие переносные жилища, существование за счет стад копытных и т. д.

Стремление увеличивать численность домашних оленей в тундре заставляло владельцев оленьих стад чаще передвигаться с места на место в поисках новых ягельных пастбищ. Следует, видимо, согласиться с высказыванием Л. П. Хлобыстина, что тундровое охотничье и охотничье-рыболовческое население каменного и бронзового веков, хотя и вело довольно подвижный образ жизни, было в целом более оседлым, чем позднейшие оленеводы⁵⁰. По наблюдениям М. А. Кастрена, степень подвижности северного населения прямо зависела от численности оленьего стада: семьи, имевшие мало оленей, вели более оседлую жизнь, и, наоборот, владельцы больших стад проводили весь год в непрерывных передвижениях по тундре⁵¹. Эта закономерность находит достаточные соответствия в кочевом скотоводстве степей, где маршруты и продолжительность кочевок были тем длиннее и продолжительнее, чем многочисленнее было стадо⁵².

Коллективная охота на лесных копытных (таежное Зауралье)

Восточный и западный склоны Урала входили в область наиболее активных сезонных миграций лесных копытных, что создавало в прошлом благоприятные возможности для охоты⁵³. Названные особенности исходят из того, что количество зимних осадков на западной стороне Урала намного выше, чем на восточной. Так, в Прикамье мощность снежного покрова почти в 2 раза больше, чем в смежном свердловско-тагильском регионе.

Известно, что лось способен добывать подножный корм из-под слоя снега не более 20 см, а сибирская косуля — не более 15 см (как степной сайгак). Поэтому осенью начинались массовые перекочевки лесных копытных, особенно косули, через Урал на восток, с глубоких снегов на мелкие, а весной в обратную сторону.

Стационарные заградительные приспособления, предназначенные для добычи мигрирующих через Урал копытных, совершались в местах наиболее массового хода животных. Особенно много сил тратилось, судя по этнографическим данным, на строительство так называемых огородов — грандиозных сооружений, тянувшихся местами на десятки верст.

Основным объектом мясной охоты в южной части лесного Зауралья была косуля. Это подтверждается в первую очередь экологическими особенностями этого района, а также этнографическими данными. По свидетельству Л. П. Сабанеева, косули мигрировали стадами по 20—50, иногда до 500 голов. А. Ф. Теплоухов описывает перекочевки этих животных и охоту на них так: «Переходы эти начинаются с середины осени, с падением первого снега, а возвращаются звери на западный склон весной, когда снег сходит. Этим пользуются охотники для поимки животных ямами. Ямы... располагаются в несколько рядов вдоль хребта с севера к югу на всех горных переходах и берегах рек, по которым совершается обыкновенно переход. Пространства между ямами заполняются легкими загородками с перерывами у самых ям, которые сверх того покрыты ветвями и мхом на тонких жердочках и, по возможности, сделаны незаметными. Обыкновенная длина и глубина их около 2 м, а ширина 1,5 м. Стены укреплялись кольями, чтобы попавшее животное не могло сгрести землю под себя и выскочить. Вне главной линии ям устраиваются еще поперечные загородки в направлении с востока к западу, иногда тоже с ямами. При переходе через горы животные встречают преграду; инстинктивно они недоверчиво смотрят на оставленное свободное пространство с ямой и направляются в сторону вдоль загородки, разыскивая проход, но, наткнувшись опять на поперечную изгородь с ямами, они принуждены возвратиться назад к прямой дороге, и хотя они стараются перепрыгнуть стороной около ямы, все же некоторые попадают в нее»⁵⁴.

Зауральское население более северных районов, начиная с бассейна Туры, жило в основном охотой на лося. «В сих пустынных местах, — сообщает П. С. Паллас, — множество диких зверей, между которыми лоси главнейшее их составляют довольство. Каждая вогульская семья в округе своего владения заняла на выгодном месте изгородку, простирающуюся в лес иногда до 12 верст... Они крепко стерегут, чтобы сии изгороди были безопасны и наблюдают прилежно, чтобы в тех местах, где оные поставлены, никто ни сена ни косил, ни дрова ни рубил, ни селился, ни своровал бы уловленной дичи. В некотором расстоянии пущены отверстия и по оным или расположены напряженные творила или прокопаны ловчие ямы для поимки подходящих зверей»⁵⁵. Этот способ охоты наблюдал в конце прошлого столетия у чердынских вогулов И. Н. Глушков. «На пути перекочевок лосей, — писал он, — между горами устраивается изгородь в две жерди, в которой оставляются проходы через известные промежутки. С той и другой стороны прохода устанавливаются большие луки с деревянными стрелами, имеющими железные наконечники в виде

ножичков, отклепанные из котельного железа. В проходе лось задевает за нитку (симу), чем спускает в себя обе стрелы, которые попадают ему около лопаток»⁵⁶. Сцены охоты на лося при помощи подобных заградительных сооружений богато представлены в древней наскальной живописи Урала⁵⁷.

Видимо, охота при помощи «огородов» практиковалась не только на Урале, но вообще в горных районах Сибири, где наблюдалась резкая смена климатических и ландшафтно-растительных поясов и где перекочевки диких копытных шли по узким путям, совпадавшим обычно с перевалами или долинами горных рек. По свидетельству В. И. Вербицкого, алтайцы «для лося, оленя и марала делают городьбу, которая бывает версты три, кое-где оставляя пустоту. Внутри городьбы наставляют от 200—300 луков»⁵⁸.

Особенности и сроки сезонных перекочевок лося через Урал учитывались и при индивидуальной охоте. «Поздней осенью и ранней весной, — сообщает И. Н. Глушков, — охотники пользуются перекочевками лосей через Урал. По выпадке снега лоси перекочевывают на восточный склон Урала, где осадков выпадает значительно меньше. Один за другим бредут они по проходам, где сходятся верховья сибирских и европейских рек. Подъем по этим лощинам не крут — Урал сильно понижается в них. Образуются целые тропы — путь лосей ежегодно один и тот же (особенно много проходит лося верховьями Почанга и Чурома). Запоздавшему лосю трудно брести по глубокому снегу; несмотря на всю его силу и рост, его легко догоняет охотник на лыжах и кончает с ним. Весною лось возвращается на западный склон, где он находит обильную пищу в молодых побегах рябины. Возвращаться также нелегко: особенно когда на снегу образуется ледяной покров (наст, чарым), масса лосей становится добычей охотников. Оставшиеся на зиму лоси на западном склоне поголовно истребляются охотниками»⁵⁹. «Зимой вогулы настораживают луки, но без огорода, на восточном склоне Урала, по следам лося. Этим способом удается убить целые десятки лосей в осень»⁶⁰.

Весьма распространена была индивидуальная охота с собаками. «Вогуличи, бродящие по лесам, — читаем мы у И. Лепехина, — имеют с собою обыкновенных дворовых собак, которые приобыкли распознавать лосиный след и изящные имеют чутье; хотя они невзрачны, однако довольно двух, чтобы удержать сего зверища не силою своею, но всегдашним напрыгиванием и лаем, на которое сохатый ярится и, как бы презирая малую сию в рассуждении себя тварь, топает ногами и угрожает головою до тех пор, пока охотник, следуя лаю собак, не подойдет к нему поближе и не застрелит». «В самые жары, когда в лесах несносный бывает овод, лучший промысел сохатых случается; ибо слепни и другая мелочь столь сильно их мучит, что они все свободное время лежат в воде, по рекам и озерам, в которых порост находится и где они, высунув одно только рыло, всхрапывают; тут их охотники легко убивают»⁶¹. Зимой достаточно добычливой была также охота на оленя; скрадывали его, прясась за выступы и камни; иногда сгоняли оленя с оголенных россыпей на снежный склон и затем легко догоняли на лыжах⁶².

Все эти способы промыслов, коллективные и индивидуальные, были подсказаны самой природой. О большой роли охоты здесь в древности

свидетельствует обилие охотничьих орудий, найденных на лесных зауральских памятниках каменного, бронзового и железного веков, особенно на торфяниковых поселениях свердловско-тагильского региона (рис. 14; 15).

Индивидуальные способы охоты на крупного мясного зверя доставляли, видимо, текущую пищу, тогда как добыча лесных копытных при помощи огородов позволяла запастись мясом на длительный срок. Добытое впрок мясо надо было оберегать от гниения, и древнее население этих мест должно было уметь сохранять животный продукт от порчи. Мне в конце 50-х годов во время разведки на севере Свердловской обл. встречались в тайге карстовые пещеры с ледяными приемниками, где ивдельские манси хранили мясо убитых летом лосей. Существовали и другие способы консервации. Вот что сообщает П. С. Паллас о вогулах XVIII в.: «Мясо естли свежего не поедят, режут полосами или вялят на воздухе или коптят в дыму без соли, и оно либо вареное, либо сухое составляет обыкновенную их пищу. Естли же по нещастию долгое время не поймают они зверя, а наличных не станет, то брошенные тогда кости толкут, в кипятке варят и питаются сею»⁶³.

Путешественники XVII—XVIII вв. единодушно подчеркивают, что основным занятием зауральских лесных вогулов, в отличие от приобских остяков, было не рыболовство, а охота, которая определяла весь их хозяйственно-бытовой уклад⁶⁴. Из-за этого, по свидетельству П. Любарских, вогулы «зиму так много почитают, что ей единственно приписывают все жития своего содержание и прокормление своего семейства: ибо тем только платят и ясак Государю, на то выменивают, или продав, покупают хлеб, платья, нужные железные орудия и всякие другие для себя потребные вещи; наконец, большую почти половину года в пищу то себе употребляют, что случится им получить на зимней звериной ловле; летнее же время весьма невыгодным для себя быть поставляют, в которое, кроме рыбной и птичьей ловли и самой малой лося и оленя добычи, да и то только к нужному себе пропитанию, ничего более достать способу не находят»⁶⁵. Видимо, это черта, обусловленная экологическими особенностями лесного Зауралья, была присуща хозяйству местного населения и в более древние времена, хотя при происходивших в прошлом существенных климатических колебаниях роль рыболовства, в зависимости от степени увлаженности, могла то повышаться, то понижаться. Тем не менее во все исторические периоды охота на диких лесных копытных сама по себе, без рыбной ловли, не могла гарантировать зауральским лесным аборигенам достаточно устойчивых пищевых запасов. П. С. Паллас, говоря о голодовке у вогулов по причине неудачной охоты, добавляет: «Но таковая нужда случается им очень редко: ибо кроме ловли зверей, стреляют они разных птиц, а буде близко есть рыболовные реки, то сетями и городьбою ловят рыбу»⁶⁶.

О значительной роли рыболовства в Зауралье в древние времена свидетельствуют находки на территории Шигирского торфяника в местах стоянок разных исторических эпох — от мезолита до железного века — большого количества роговых гарпунов и игловидных наконечников стрел для охоты на рыбу (рис. 16, 1—4, 6—9, 11—14), деревянных острог (рис. 16, 5, 10), костяных крючков (17, 10, 11), деревянных поплавок

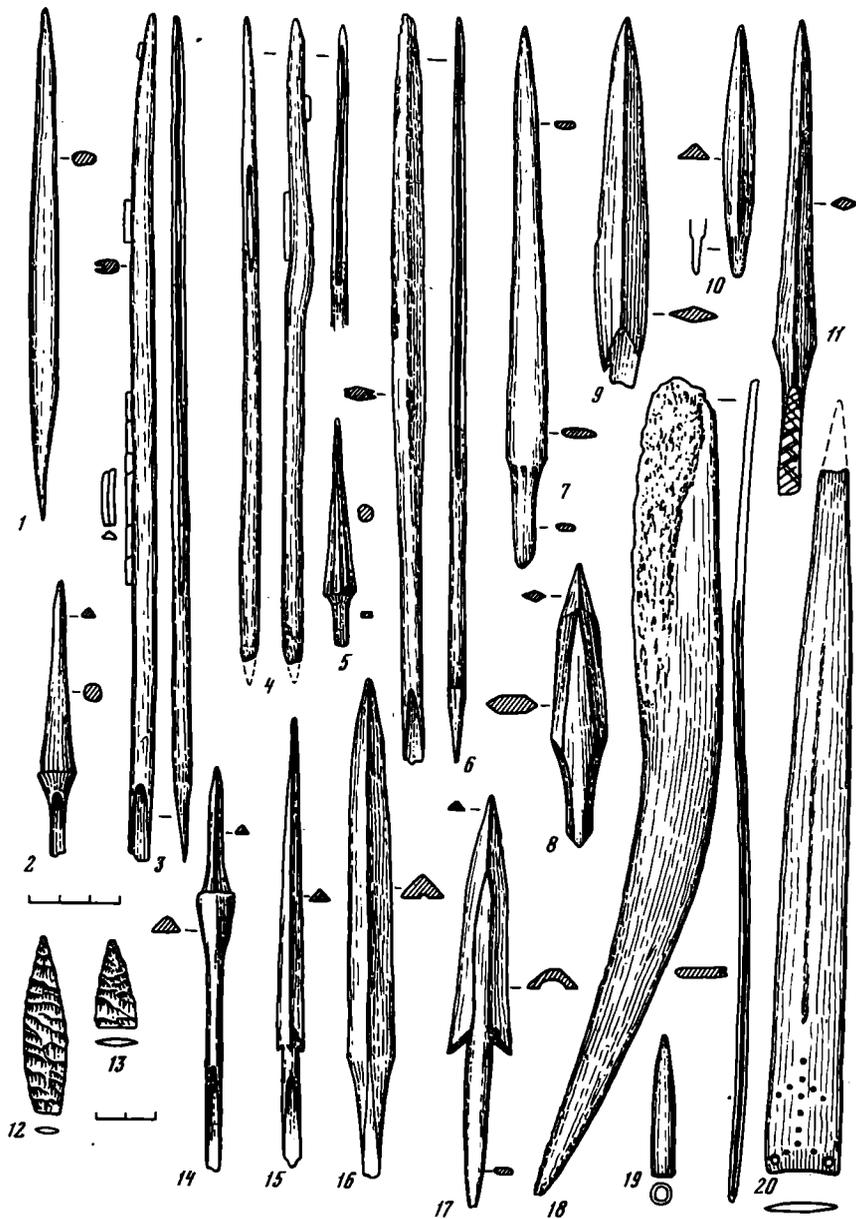


Рис. 14. Среднее Зауралье. Шигирский торфяник. Древние орудия охоты
 3, 4 — кость с камнем; 12, 13 — камень; остальное — кость

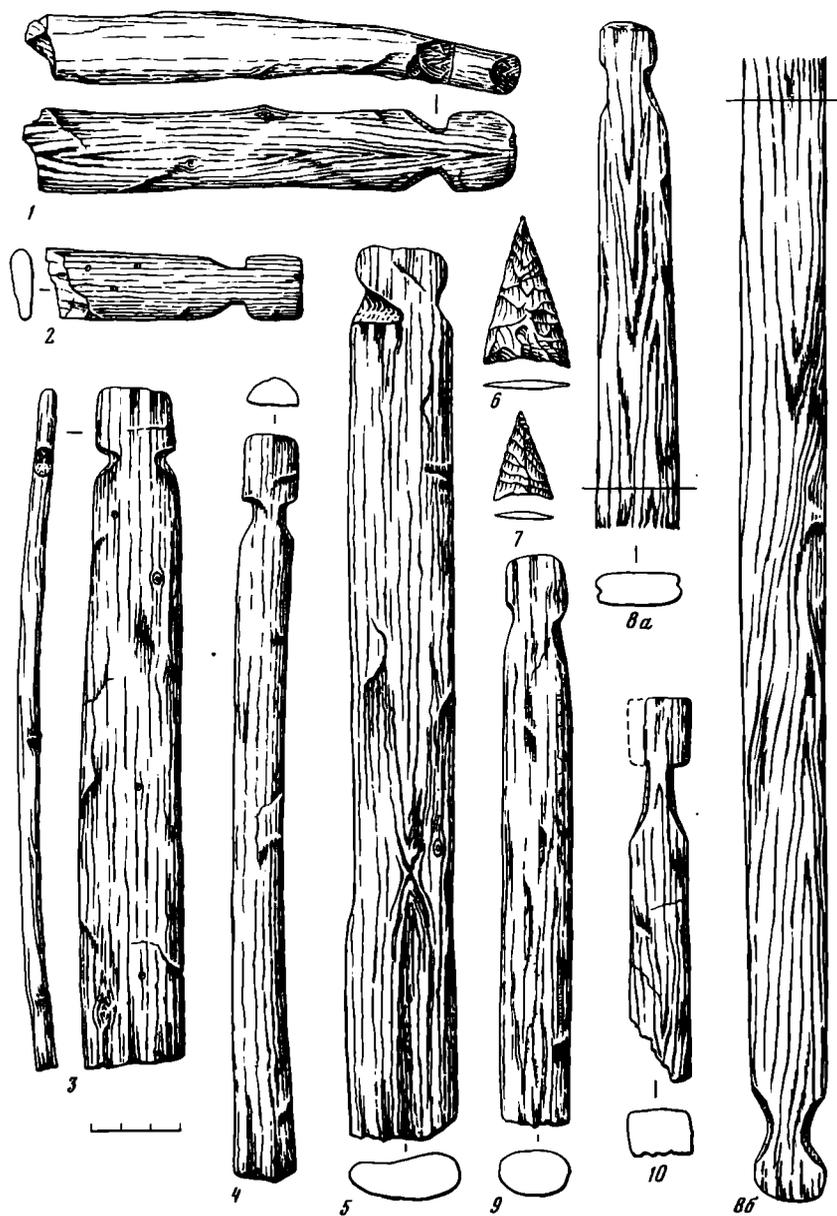


Рис. 15. Среднее Зауралье. Горбуновский торфяник. Орудия охоты (энеолит, бронзовый век)
 6, 7 — камень; остальное — дерево

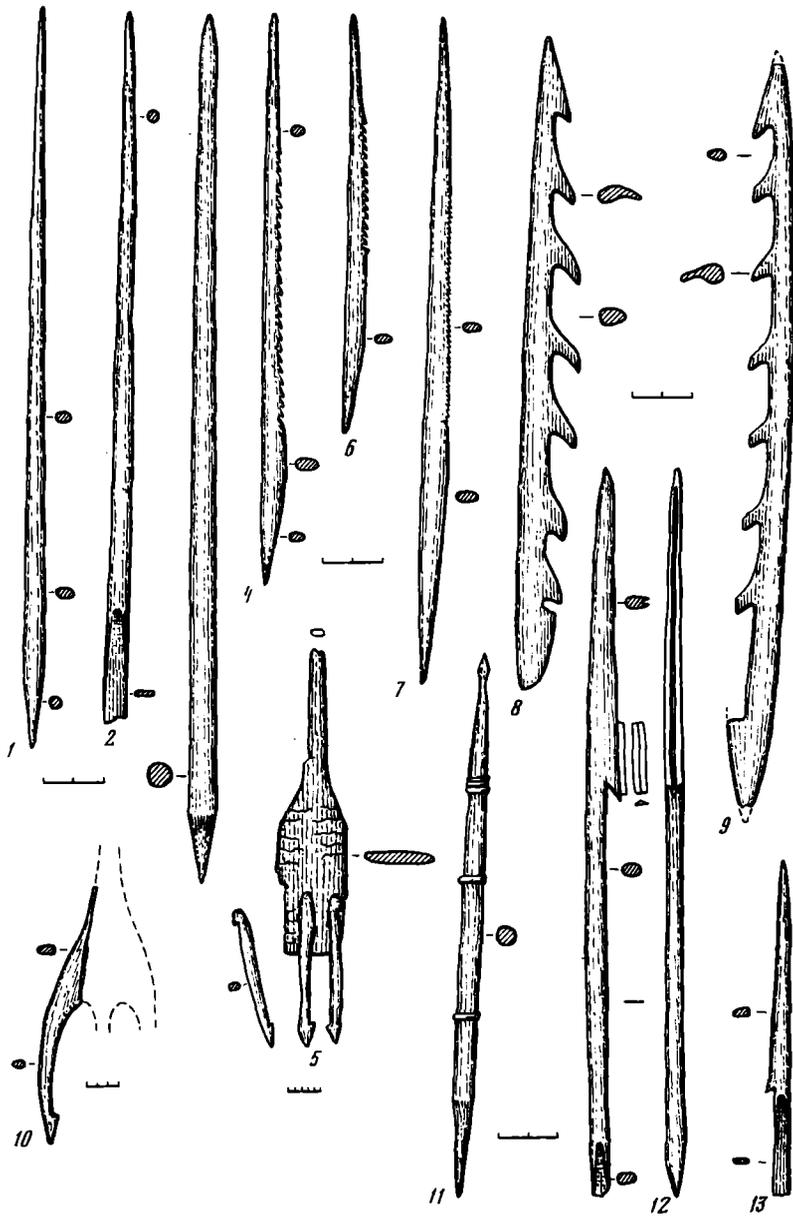


Рис. 16. Среднее Зауралье. Шигирский торфяник. Древние орудия охоты на рыбу
 5, 10 — дерево; 12 — кость с камнем; остальное — камень

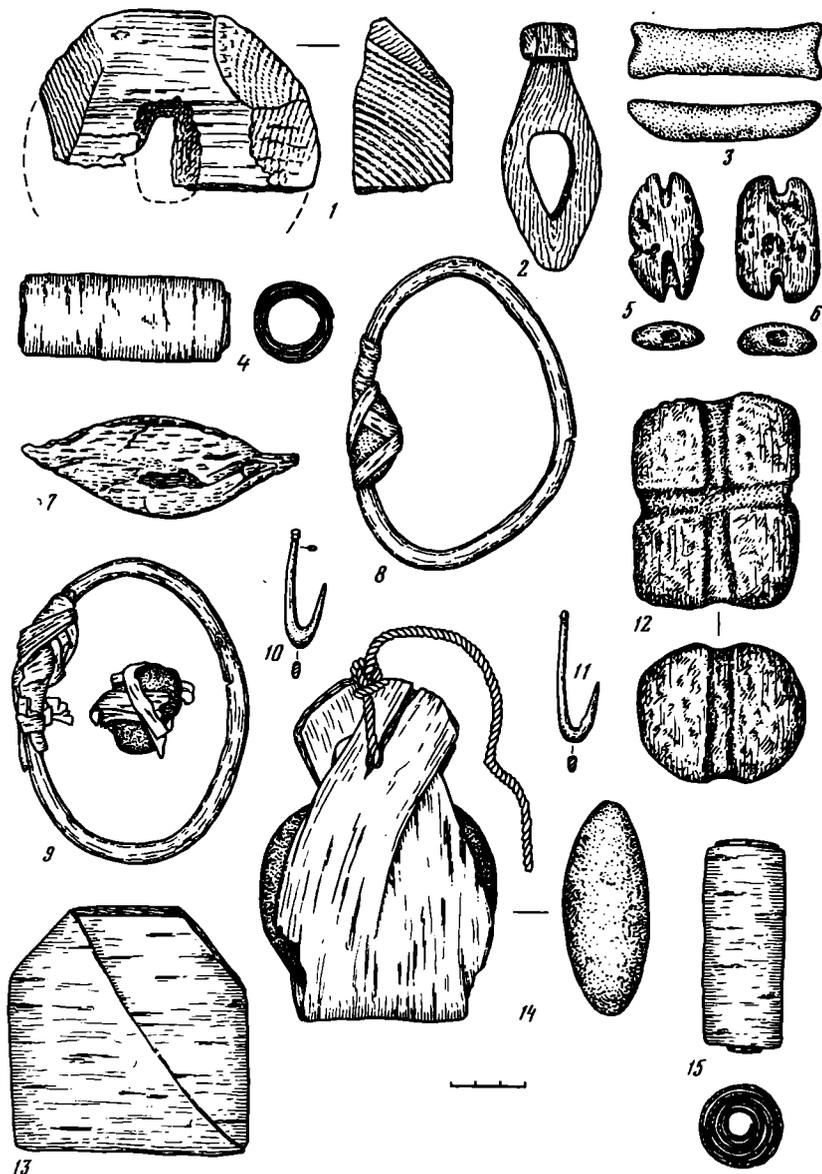


Рис. 17. Зауралье и Западная Сибирь. Археологические и этнографические орудия рыболовческого промысла

1, 2, 8, 12 — Шигирский торфяник; 3—7 — Горбуновский торфяник; 13 — мансийское грузило-кибас (север Свердловской обл.); 14 — хантыйское грузило-кибас (д. Лымкой, Уватский район Тюменской обл.); 15 — поплавок для сети, применяемый западносибирскими чалдонами (с. Благодатное, Карасукский район Новосибирской обл.).

1, 2 — дерево; 3 — глина; 4—15 — береста; 5, 6, 12 — камень; 7, 13 — берестяные мешки (кибасы) с камнями внутри; 8, 9 — дерево, береста, камень; 10, 11 — кость; 14 — берестяной мешок на бечевке с глиняным диском внутри

(рис. 17, 1, 2), сетевых грузил (рис. 17, 8, 9, 12) и др. Разнообразные грузила и полавки для сетей встречены при раскопках Горбуновского торфяника под Нижним Тагилом (рис. 17, 3—7). Здесь найдены также остатки вентерей. Глиняные и каменные грузила разных типов известны также на многих других памятниках Восточного Зауралья.

Уральские речки, хотя были невелики по размерам, имели одно немало-важное преимущество перед равнинными западносибирскими реками — на них не было сильных зимних заморов, и поэтому места рыболовческих промыслов здесь были относительно постоянными во все времена года, в том числе и зимой. Сравнительно высокая степень заморности восточноуральских и равнинных западносибирских рек, П. С. Паллас сообщает: «Некоторые из северных гор быстротекущие реки от сего замирания воды бывают свободны, как то Сось, Щучья и Хайя, и по тому имеют в себе более рыбы. Напротив того в Оби только там рыба и держится, где свежие и каменные ключи из берегов бьют или такие речки впадают»⁶⁷. «Замирание, — сообщает И. С. Поляков, — начинается с притоков Оби, текущих в нее с правой, восточной стороны; порченная вода показывается первоначально около правого берега самой реки и, уже значительное время спустя, распространяется на левую сторону; в то же время замирание распространяется в малой степени на левые притоки Оби, текущие со стороны Урала; а вершины этих притоков в горной части остаются свободными от замирания»⁶⁸.

Значительным подспорьем в жизни древнего населения таежного Зауралья была охота на линную дичь, о чем, помимо этнографических данных, говорит изображение такой охоты на одной из древних писаниц Восточного Урала⁶⁹. Возможно, В. М. Раушенбах права, предполагая, что многие тысячи роговых наконечников стрел, обычно удлиненных, игловидных, прекрасно отполированных, из Шигирского торфяника (рис. 16, 1—4, 6—8) могли в значительной своей части использоваться не только для добычи рыбы, но и для охоты на водоплавающую дичь⁷⁰.

Издравле бытовал собирательский промысел. Слои VI разреза Горбуновского торфяника, относящиеся к энеолитической и бронзовой эпохам, содержали деревянные колотушки, используемые, как предполагает В. М. Раушенбах, для обработки кедровых орехов; культурный слой торфяника был насыщен черемуховыми косточками⁷¹. В 1980 г. В. Ф. Старков нашел здесь берестяной туес, внутри которого были остатки ягод черемухи. Собирательство в лесном Зауралье не утратило значения до этнографической современности. Побывавший здесь в 70-х годах XVIII в. П. С. Паллас отметил, что местные вогулы занимаются сбором «кедровых орехов и растущих по болоту ягод»⁷². На Шигирском торфянике во время работ золотоискателей было обнаружено значительное число деревянных мотыгообразных орудий, датируемых от мезолита до железного века, которые определяются исследователями как приспособления для рыхления земли и копания корней съедобных растений.

Комплексное охотничье-рыболовческое хозяйство в таежном Обь-Иртыше

Ландшафтно-климатические условия глубинных таежных районов Западной Сибири отличались большей стабильностью, чем в степной зоне и тундре. Природная среда здесь была менее подвержена воздействию климатических колебаний и возможности для традиционных промыслов — охоты, рыболовства и собирательства в течение нескольких последних тысячелетий не претерпели радикальных изменений.

Однако по отношению к западносибирской тайге нам зачастую свойственно переоценивать запасы ее естественного продукта. В отличие от соседних географических областей (уральской горной страны, степной зоны) западносибирская тайга лежит в стороне от наиболее активных путей сезонных перекочевок диких копытных. Ни лось, ни олень в тайге не группируются в большие или значительные по численности стада, поэтому здесь в древности, как и у этнографически изученных аборигенов, должна была преобладать индивидуальная охота на крупных мясных животных — гоном по насту (весной), скрадыванием лося и оленя в воде, где они спасались от гнуса (летом), добыча зверя на тропах при помощи сторожевого лука или ловчих ям и т. д.

По этнографическим свидетельствам, в западносибирской тайге применялся лишь один способ загонной охоты на крупного зверя — при помощи так называемой засеки. Вот как описывает такую охоту М. Б. Шатилов, наблюдавший ее на р. Вах: «Выследивши их (т. е. лосей или оленей. — М. К.) стойбища и тропы, остяки валят лесину одна за другой поперек хода зверя, под углом, постепенно его суживая и оставляя в конце угла проход, где и устанавливаются сторожевые луки»⁷³. Засеку с многочисленными проходами, где один охотник ставил 30—50 луков, видел на р. Демьянке в 1888 г. С. Патканов⁷⁴. По сведениям П. С. Палласа, охота на лося и оленя при помощи засек в XVIII в. на территории Западной Сибири практиковалась во всех местах, «где лесу довольно»⁷⁵. «Засака, — писал В. Ф. Зуев, — делается как городьба из кольев, а между ими оставляется проход, в коем становятся либо луки, либо утверждает вверху колев петлю и оную расширяет, а как зверь в оный проход пойдет, то либо в петлю попадет, либо, задев за спинку, натянутый лук спускает и стрелу прямо себе в грудь получает. В таковые засеки заходят олени, лоси и медведи»⁷⁶.

Наряду с мясной охотой (преимущественно на крупных копытных), в зимнее время издревле практиковался, как и везде в Сибири, промысел пушного зверя, причем, судя по этнографическим данным, аборигены всячески стремились сохранять и поддерживать численность животных на необходимом уровне. «Осенью, когда белка и соболь делаются пушистыми и дают теплый мех, — пишет И. С. Поляков, — их промышляют, с тем однако условием, чтобы весной не ходить уже в эти места, так как тогда они уже бегают и щелятся, но зато весной можно идти в те вотчины, где осенью никто не был, и куда поэтому собрался на зимовку лось»⁷⁷.

Большое значение в обь-иртышской тайге имела охота на линную водоплавающую дичь. «Скудость в пищи, — замечал по этому поводу в начале XVIII в. Гр. Новицкий, — и недостаток способствует довольно мно-

жество птиц: лебедей, гусей, уток и разных родов птицы... Упражняют же ся ловлением оных птиц летняго времени, найпаче в последних числах июня. Зде бо в то время птица лишается перия, к летанию же немощна, в довольное Остяку попадает препитание»⁷⁸.

Кроме того, водоплавающую дичь добывали всякого рода птицеловческими сетями, в частности: «перевесом», «понжей» и «кысканом». Перевес — сеть, протянутая через просеку; перелетающие с озера на озеро птицы предпочитали лететь не над лесом, а вдоль искусственной просеки или над прорезающей лес заболоченной, лишенной деревьев полосы, где и натягивалась сеть. Понжа и кыскан были устроены по принципу затягивающихся сетевых ловушек. Сеть расстилалась на земле, а когда на ней собиралось несколько птиц, задерживалась при помощи длинной веревки, протянутой через кольца. Ловля птиц описанными птицеловческими сетями была весьма производительной: «В щастливый год, — сообщает В. Ф. Зуев, — хорошей промышленник одних уток тысяч до двух напромышляет, выключая гусей, лебедей и проч.»⁷⁹.

Описывая ловлю птиц сетями в районе с. Самарова в начале прошлого столетия, Ф. Белявский обратил внимание на безукоризненную отработанность приемов промысла. «Достоинно замечания, — говорит он, — до какого совершенства доведены здесь птицеловные снасти и уловки ловцов: во-первых, сеть подкрашивается под цвет песка, на котором должна быть раскинута, потому что птица, заметив малейшую разницу между сетью и песком, не садится. Во-вторых, люди, сидящие при сетях, должны подкликать гусей, подражая в совершенстве их крику. Заметим при сем, что из семи родов гусей, в Сибири известных, каждый род имеет свой собственный крик и полет, и мастера, различая их издали по полету и имея во рту свисток из бересты, прибирают на нем подражательные звуки с удивительною точностью и таким образом заманивают птицу к месту ловли»⁸⁰. Ф. Белявский, вслед за В. Ф. Зуевым и П. С. Палласом, пришел к выводу, что у обских остяков птицеловство занимает в питании второе место, вслед за рыболовством⁸¹.

Относительно времени появления описанных сетевых птицеловческих снастей можно предположительно судить лишь на основании косвенных данных. Если исходить из распространенного мнения, что звероловческие устройства генетически предшествуют рыболовческим⁸², то мы вправе допустить, что перевес, как и простейшая рыболовческая сеть, был известен в неолите, а изобретение его, возможно, относится к мезолитической эпохе. Усложненные сетные ловушки на птиц вроде понжи и кыскана (как и рыболовческие мешкообразные сетные снаряды типа вожана, калдана и сырпа, которые достаточно широко использовались уже в раннем железном веке⁸³) возникли, скорей всего, на позднем этапе эпохи бронзы.

Ненадежность охотничьего промысла, особенно охоты на лося и оленя, заставляла в благополучные дни создавать запасы на будущее. Это научило таежных аборигенов разным способам консервации животного продукта. Главными из них были вяление, сушка и копчение. Кроме того, народам Западной Сибири были известны способы консервации, позволявшие сохранять живой продукт в свежем или, во всяком случае, в «сыром» виде. Ханты и манси, например, хранили кровь оленей в оленьих желудках, где она долго не портилась. Таежные западносибирские абори-

гены не знали соли, и поэтому им пришлось изобретать свои приемы хранения продуктов. Кеты летом сохраняли уток и рыбу таким образом: рыли яму глубиной около 1 м, складывали туда очищенную от внутренностей рыбу или дичь слоями, отделяя их друг от друга настилами из травы; сверху яма покрывалась берестой или травой⁸⁴. Близкие соседи остяков и кетов енисейские тунгусы, по сообщению К. М. Рычкова, кроме копчения и вяления, хранили рыбу и мясо в ямах, выкопанных в расчете на консервирующую силу мерзлоты. «Ямы, — отмечает К. М. Рычков, — копают в августе месяце до мерзлоты, закрывая их сверху мхом. Рыбу сваливают в яму нечищенной, целиком. Гусей заготавливают впрок следующим образом: вшивают в гусиные шкурки мясо 4 гусей, без костей, плотно, чтобы не было доступа воздуха и тючки эти. . . сваливают в приготовленные ямы»⁸⁵. По этнографическим данным, енисейские тунгусы стремились обеспечить запас мясного продукта не только путем консервирования, но и принятием мер, способствующих сохранению живого мясного фонда. «Часто отдельные семьи, — писал И. М. Суслов о подкаменнотунгусских эвенках, — или группа семей (обычно из кровного рода) устраивают на своем угодье заказники для сохранения дикого оленя и сохатого, которые они берегут на случай голода»⁸⁶.

Сейчас трудно судить, насколько глубоко в древность уходят своим происхождением те или иные этнографически зафиксированные способы сохранения животного продукта. Наверное, некоторые из них были изобретены не ранее бронзового и железного веков, другие (например, сохранение мясной добычи в вечной мерзлоте, вяление на солнце) практиковались с каменного века. Несомненно одно: в условиях чередующихся охотничьих удач и неудач умение обеспечивать и сохранять запас мясной пищи на будущее было необходимо для выживания древнего населения в суровых природно-климатических условиях сибирской тайги.

В летнее время, благоприятное для рыболовства, таежное западносибирское население уходило из стационарных зимних землянок и полуземлянок в места рыболовческого промысла, где оно жило в наземных сооружениях или в легких жилищах типа чумов. По наблюдениям Ю. Ф. Кирюшина, на поселениях эпохи бронзы оз. Тух-Эмтор в Васюганье летние обиталища (Тух-Эмтор I, IV) располагались при устье либо у истоков мелких рек, впадающих в озера или вытекающих из них, на продуваемых ветром открытых полянах или гривах, где было меньше гнуса. Жилища представляли собой наземные сооружения, иногда с вынесенными наружу очагами. Почвы поселения Тух-Эмтор IV при их анализе показали чрезвычайную насыщенность валовым фосфором, превышающую его обычное содержание в почвах этого района в 5—10 раз, что является веским доказательством преимущественно рыболовческих занятий здесь в летнее время⁸⁷.

Характеризуемое комплексное охотничье-рыболовческое промысловое хозяйство таежного Обь-Иртышья по сравнению с другими типами хозяйства ареала присваивающей экономики отличается наиболее органичным и строгим динамическим равновесием охотничьего (преимущественно зимнего) и рыболовческого (преимущественно летнего) промыслов. Однако мы опять-таки подчас склонны переоценивать возможности рыболовства в западносибирской тайге. Дело в том, что здесь было мало

стабильных по производительности рыболовческих угодий. Реки таежного Обь-Иртышья подвержены периодическим зимним заморам, губительность которых усугублялась тем, что местные реки собирали так называемую «мертвую» воду из огромнейших западносибирских болот.

Поскольку сила и направление заморов могли меняться, то в одном и том же месте рыба в разные годы зачастую ловилась неодинаково. Так, на р. Салым замор начинался то с низовьев, то с верховьев, а иногда с обоих концов. В случае замора низового рыба лучше ловилась в верхней части, в случае верхового — на низу, а при двухстороннем — условия для рыболовства ухудшались по всей реке⁸⁸. Озера западносибирской тайги, несмотря на их многочисленность, неудобны для использования в рыболовческом отношении, так как в подавляющей своей массе являются заморными и затеряны чаще всего среди непроходимых болот. Для летних поселений выбирались обычно проточные озера, куда весной, в большую воду, заходило из рек много рыбы; после этого протока перекрывалась, т. е. озеро «запиралось». Летом вода спадала, рыба стремилась уйти из озера, а люди, пользуясь этим, ставили у запоров всякого рода ловушки и вылавливали рыбу в большом количестве. Запорное рыболовство было очень добычливым видом рыболовного промысла, оно позволяло добывать рыбу впрок на зиму.

Преимущественно рыболовческая ориентация хозяйства таежных западносибирских аборигенов в летнее время была рациональна и экологически обусловлена. Подсчитано, например, что в Васюганье выход биомассы в тайге равен 5—6 кг с га, тогда как в пойменных васюганских озерах выход биомассы составляет 50 кг на га, т. е. в 8—10 раз больше⁸⁹. А при запорном рыболовстве, когда рыба, сосредоточившись в озере весной, затем запиралась, выход озерной биомассы еще более повышался.

Не случайно Гр. Новицкий, хорошо знавший быт остяков первой четверти XVIII в., сравнивал рыболовство у них с земледелием южных народов: «И якоже нецыи в хлебородных местах собирают плоды земные, прыготовляя на зимнее время сими питатися, тако и бедствующий Остяк в пустых бесплодных сих местах рыбы на всю зиму собирает и своим обыкновением рыбу израдную муксун названную и прочая, без соли тако усушают, что через всю зиму содержатися может»⁹⁰. Интересно, что у остяков слово «тант», означающее сейчас хлеб, раньше употреблялось в основном для обозначения наиболее употребительной рыбной пищи⁹¹. Н. Спафарий, посетивший остяцкие земли в 1675 г., писал о них: «Се есть рыбаодцы, потому что все Остяки ловят рыбу всякую множество много. Иные и сырую рыбу едят, а иные сушат и варят; однакоже хлеба и соли они не знают. . . И не токмо для ради прокормления своего рыбу ловят, но и платья себе из рыбной кожи делают и сапоги и шапки»⁹².

Применяя запорный способ рыболовства, таежные западносибирские аборигены стремились не допустить бессмысленной гибели рыбы, не превысить необходимый минимум добычи. По свидетельству И. С. Полякова, «запирая реку, сор, остяки получали из них рыбы в течение года сколько кому нужно, но не больше»⁹³.

У хантов, манси, селькупов, кроме вяленой рыбы, заготавливалась на зиму порса — порошок из сушеной рыбы. Заготовка порсы происходила

обычно в июле и была своего рода страдой, в которой участвовали все — от стариков до детей. На Вахе в среднем на одну хантыйскую семью изготовлялось от 100 до 150 кг порсы⁹⁴. Она была очень удобна в хранении и транспортировке. Из нее варили уху, ели с ягодой, топленным жиром и т. д. Рыбьи головы, кости, внутренности использовались для производства рыбьего жира. Ваховские остяки заготавливали до 30—40 кг этого продукта на семью⁹⁵.

Помимо горячих способов консервации, применялась заготовка рыбы впрок в «сыром» виде. Селькупы, например, раньше не солили рыбу, а квасили. Для этого они копали яму и укладывали в нее рыбу пластинами попеременно с ягодой (клюквой, брусникой или морошкой); яму засыпали землей⁹⁶.

Однако мы хотим еще раз обратить внимание на то, что стационарные места, где бы удобно сочетались хорошие охотничьи и рыболовческие угодья, в западносибирской тайге очень редки. Этим объясняется крайняя бедность таежного Обь-Иртышья памятниками каменного и бронзового веков. Летом 1971 г. во время нашей разведки в верховьях Кети, конечный пункт которой был в с. Маковском, мы проплыли около 300 км. На этом промежутке в Кеть впадало не менее 15 речек, но почти все с левой стороны, сильно заболоченной и труднодоступной. С правого берега, отличавшегося меньшей заболоченностью, впадал лишь один более или менее значительный боровой приток — Шайтанка, где мы еще в 1965 г. открыли несколько разновременных поселений: одно относится к неолиту, другое — к эпохе раннего металла, третье — к бронзовому веку, четвертое — к переходному времени от бронзового века к железному⁹⁷. Создается впечатление, что в пределах обследованного маршрута в неолите и бронзовом веке в каждый данный момент могло существовать лишь одно поселение. Похожая картина выявлена нами на участке Кети ниже с. Маковского и в низовьях Чулыма, а томскими археологами — по Тыму и Ваху.

В XVII в. плотность таежных западносибирских аборигенов — хантов, манси, селькупов составляла примерно 1 человек на 30—40 км. В 1897 г., судя по данным переписи, она оставалась на столь же низком уровне. Так, в Сургутском округе (площадь 218 496 кв. км) проживало 5560 душ остяцкого населения, т. е. плотность была один человек на 39,3 кв. км⁹⁸. Такое положение объясняется периодическими наводнениями и заморами, ухудшавшими условия для рыболовства, а также сравнительно небольшим объемом биомассы в западносибирской тайге, что не давало возможности существенно увеличивать добычу мясного продукта. В этой связи весьма примечательно, что с эпохи бронзы и до этнографической современности охотничий инвентарь в тайге почти не совершенствовался, ибо такой путь уже не давал надежды на успех. Отсюда консервативность материальной культуры таежных западносибирских аборигенов, сказывающаяся прежде всего в тех ее сторонах, которые были связаны с охотничьими промыслами.

Эта консервативность была одним из условий существования первобытных людей в тайге; нарушение этого условия было чревато пагубными последствиями.

Есть основания предполагать, что в своем стремлении сделать хозяйство более надежным и производительным, древнее охотничье-рыболовецкое население предпринимало попытки ввести в него какие-то производящие элементы. Об этом можно судить по этнографическим и отчасти археологическим свидетельствам. Так, запорные сооружения на озерах издревле были призваны повышать производительность рыболовческих угодий. Той же цели служили проруби для снижения зимних заморов, проделываемые костяными пешнями и другими орудиями, которые встречаются на древних озерных поселениях Восточного Зауралья. Селькупы держали иногда в чуме диких утят и гусят; осенью, когда выпадал первый снег, их убивали на мясо⁹⁹. Иртышские ханты специально выжигали урманы, чтобы увеличить площади молодых осинников — излюбленные пастбища для лосей¹⁰⁰. Салымские остяки делали на обрубках деревьев искусственные дупла и развешивали их затем у воды на ветках деревьев и кустарников; в них устраивали гнезда некоторые породы диких уток, которые вместе с выводком становились потом добычей остяков¹⁰¹. Ханты, манси, селькупы брали лисят из нор и, выкормив их дома, убивали для получения меха¹⁰². Дореволюционные этнографы, касаясь производства крапивной ткани у остяков, сравнивали процесс собирания и обработки ими крапивы с некоторыми действиями, известными в льноводстве и коноплеводстве¹⁰³. Ежегодная «жатва» крапивы, обработка ее при помощи специальных орудий, стихийный посев около жилищ (в процессе осенней обработки) — все эти операции напоминают отчасти приемы примитивного земледелия.

Здесь мы, видимо, имеем дело с тем случаем, когда наличие потенциальной готовности к производящей экономике не может быть реализовано из-за слишком неблагоприятного природного окружения. Совершенно очевидно, что при изменении географической среды в сторону, благоприятствующую производящему хозяйству, и при достаточно благополучной исторической ситуации местное охотничье-рыболовецкое население могло бы сравнительно легко воспринять от южных соседей скотоводческие и земледельческие навыки.

Значительным подспорьем в хозяйстве таежного обь-иртышского населения в древности было собирательство, хотя прямых свидетельств в пользу этого занятия археологический материал почти не дает. Возможности для собирательства в западносибирской тайге поистине колоссальны. Ежегодный урожай кедровых орехов в Западной Сибири колеблется от 1 до 1,5 млн. тонн¹⁰⁴. Бескрайние западносибирские болота богаты различной ягодой. На торфяниковых ягодниках с одного га снимают до 200 кг клюквы и до 700—800 кг морошки¹⁰⁵. В поймах и на пониженных местах встречаются большие площади, занятые черемухой и смородиной. Черничники в боровых местах тянутся порой на десятки километров.

Трудно представить себе, что древние западносибирские жители могли проходить мимо этих богатств, не используя их. В культурном слое поселений бронзового века на оз. Тух-Эмтор в Васюганье встречены обожженные скорлупки кедровых орехов и семена малины.

У ваховских хантов, по наблюдениям М. Б. Шатилова, сбор кедровых орехов на семью составлял: в хороший урожай — 600—800 кг, в средний —

400 кг, в плохой — 200 кг и менее ¹⁰⁶. Собираение и заготовка на зиму ягод — голубики, брусники, морошки, смородины, черемухи и др. — в сухом и сыром (обычно мороженом) виде отмечено у всех таежных западносибирских народов. Собираательство у них играло подсобную роль, но, судя по уменью и навыкам, имело давнюю традицию.

Селькупские женщины собирали в поймах дикий лук, копали специально заостренной палкой сарану. Вместо чая обычно заваривали настой из можжевельника ¹⁰⁷. Ханты и манси, кроме ягод, собирали «медвежью дудку», дикий лук и различные клубни, добывали березовый сок, делали настой из чаги (обычно при внутренних болезнях), собирали и употребляли в пищу яйца диких птиц ¹⁰⁸. Кроме того, они заготавливали сладкий корень растения тысяма, встречающегося по борovým берегам, который был у них прежде единственным сладким лакомством ¹⁰⁹.

Оценивая экономику таежного Обь-Иртышья в целом, можно предполагать, что в древности охота здесь играла большую роль, чем в этнографически изученные времена. Путешественники и этнографы конца XIX в., касавшиеся вопросов хозяйства таежных западносибирских аборигенов (И. С. Поляков, Н. П. Григоровский, С. К. Патканов и др.), были единодушны во мнении, что еще в середине столетия звероловство в жизни аборигенного населения имело большее значение, чем полвека спустя. Истощение охотничьих угодий они связывали не только с наплывом русских охотников и распространением огнестрельного оружия, но и с участвовавшими лесными пожарами. «Пожары лесные последнего столетия, — писал И. С. Поляков, — ... окончательно истребили урманы (по берегам крупных рек. — М. К.), придав им вид печали и разрушения; во время пожаров дым так густо наполнял окрестности, что даже по Оби не было проезда по целым неделям ни в лодках, ни на каких других судах, как будто во время самого густого тумана... По отношению к инородцу такие пожары губительны потому, что они истребляют зверя или заставляют его переселяться в другие места» ¹¹⁰. Однако несмотря на колебания в прошлом значимости охоты в зависимости от локальных изменений природной среды, рыболовческий промысел в таежном Обь-Иртышье начиная, видимо, с энеолитической эпохи в целом всегда играл ведущую роль.

По этнографическим данным, особенно большой удельный вес рыболовства отмечен в низовьях Оби. «Остяков, — сообщает П. С. Паллас, имея в виду нижеобских остяков, — можно сравнить с рыбаками, так как номадский народ за пастухов почитают, потому что рыболовство у них на все лето, да и несколько зимою первейшее упражнение и пропитание» ¹¹¹. «Во всей России, — пишет он далее, — и в Сибири нет такой большой реки, которая бы множеством всяких рыб, из моря поднимающихся, так изобильна, как Обь» ¹¹². Здесь были особенно эффективны невода, изготовлявшиеся аборигенами из лыка, древесных корневых побегов и крапивных нитей. «Кроме неводов, — сообщает П. С. Паллас, пользуясь материалами В. Ф. Зуева, — от Июня до Октября употребляемых, имеют у себя Остяки и другие средства; особливо калыдан примечания достойный, который зделан наподобие мешка сажени на полторы шириною и с сажень длиною. Изпод у его надет на жердь, почти как у сетей, кои на восточном море употребляют, к коей посередь привязывают

камень, чтоб жердь равно на дне лежала, за камень привязана веревка, которая проходит после с затяжною веревкою сквозь кольцо, на верхнем борте сети зделанное и которою рыболов, пlying по реке, колыдан за собою тащит. Поболе пядени от борта сети привязывают к ней сверху несколько снурочков, кои концы рыбак держит у себя промеж пальцев, чтоб тотчас услышать, как рыба в калыдан взойдет и стукнется; тут тотчас выпускает он сии снурочки, а за веревку вытягивают сеть, которая подымая поперешную на дне жердь, сквозь кольцо стягивает сеть, запирает рыбе путь возвратиться и выйтить. Таким же мешком ловят и осетров, белу рыбицу, налимов, муксунов и шокуров от Июня даже до Сентября месяца»¹¹³.

Помимо столь сложных снастей, употреблялись многие примитивные способы «охоты» на рыбу. «В осеннее время по ночам выезжают Остяки и Самоеды на большие протоки на отмелые места, где по свету от зажженной бересты на долгих палках бьют рыбу острогами»¹¹⁴. Эпизодически охотились также на белуг, когда они заходили из моря вверх Оби и случайно выбрасывались на отмели¹¹⁵. Добыча рыбы не прекращалась и зимой. «Хороший промысел рыб бывает серед зимы, когда вся рыба, избегая мертвой воды к родникам и другим ручьям собирается: тут напротив ручья промеж двух стен из досок делают небольшую в реке плотинку, у коея по обе стороны прицепляют верши, так что естли рыба к свежей воде захочет то в она и попадает»¹¹⁶. Тем не менее зимой и нижеобские остяки предпочитали не рыбную ловлю (рыба обычно запасалась на всю зиму летом и осенью), а охоту на лося, оленя и пушного зверя. Но хотя взрослые проводили значительную часть зимы вне дома, в тайге, это не прерывало зимнего рыболовческого промысла, «поелику, — сообщает П. С. Паллас, — под льдом над вершами и ребята смотреть могут»¹¹⁷.

Среди таежных сибирских аборигенов низовые остяки были самыми умелыми мастерами консервации рыбы на зиму. По сведениям путешественников XVIII в., они запасали на зимний период, помимо рыбьего жира, четыре основных вида рыбного продукта: позым — ремни из рыбьих боков, обычно муксуна, которые вялят, а затем слегка поджаривают, после чего связывают в пучки; варку — «брюшка и спинки, кои весьма жирны, от костей отделяются, на ветру несколько провяливаются, потом в котлах мешая, на огне до тех пор жарятся, пока покраснеют, откуда все вместе кладут или в берестяные бураки или в сушеные из оленьих желудков зделанные мешки»; ютту — «приготавливается так, как и позым, из мелких рыб, которая по известном приговлении кладется в осетровые мешки»; порсу — «делается из мелкой белой рыбы надвое разрезанной, на ветру высушенной и после с костями мелко истолченной»¹¹⁸.

Однако даже столь изобильные рыбой места, как низовья Иртыша и Оби, не гарантировали аборигенам постоянной сытости. Дело в том, что наиболее эффективные способы рыболовства, позволяющие добывать рыбу впрок, могут осуществляться лишь при относительном мелководье.

В случае больших наводнений, повторявшихся в Нижнем Обь-Иртыше примерно один раз в 10 лет, основные рыболовческие угодья становились недоступными. «В самой Оби тогда, — пишет П. С. Паллас, — за ея

шириною и глубиною не ловят, а также и когда чрезвычайная вода бывает, как в 1770 и 1771 годах, то по обыкновению Остяки вместо многой надежды о запасе принуждены бывают терпеть наиужаснейшую нужду»¹¹⁹. «Рыболовство, — отмечал И. С. Поляков сто лет спустя, — становится по Иртышу возможным, как и по Оби, тогда, когда вода в реке начинает сбывать, рыба собирается по определенным местам, и тогда только находится возможным добывать ее»¹²⁰. Не исключено, что сдвиг таежного западносибирского населения на юг (в сторону лесостепи) и на север (к тундре) на рубеже бронзового и железного веков и в начале эпохи железа был вызван не только сокращением охотничьих угодий вследствие заболачивания значительных таежных пространств, но и ухудшением условий для рыболовства (из-за часто повторявшихся больших половодий), что было связано с увлажнением климата, о котором мы говорили достаточно подробно во второй главе настоящей работы.

Казымские остяки в своей челобитной московскому царю от 1642 г. жалуются: «От больших вод рыбного промысла... не стало; терпим нужду и голод по вся годы великий, и многие казымские остяки с женами и детьми с голоду померли»¹²¹. Плохие условия для рыболовства в летний период приводили к голодной зиме и ослабляли возможности зимнего охотничьего промысла, так как охотники, не имея заготовленного впрок рыбного продукта, не могли надолго отлучаться из своих постоянных жилищ. В том же 1642 г. сургутские князцы заявили властям, что «которые де ясачные люди рыбных запасов добыли мало, и те де в дальние места на зверовые промыслы не ходили, а промышляли де во близи по своим жилищам»¹²². Зависимость таежных западносибирских аборигенов от капризов вешних вод была столь велика, что это получило отражение в их верованиях. По представлениям хантов у верховного бога Торума была дочь Чарас-Най, ведавшая убылью и прибылью воды. В годы сильных наводнений ханты сооружали специальные жертвенные плоты, разжигали на них костры и пускали вниз по течению¹²³.

Следует иметь в виду, что освоение Оби и Иртыша, в отличие от малых рек и водоемов глубинных районов обь-иртышской тайги, началось сравнительно поздно — не ранее конца бронзового века и стало особенно интенсивным в эпоху железа и средневековья. Если на юге тайги это было обусловлено обживанием широкой поймы Иртыша пастушеско-земледельческим населением, то на севере — с освоением этих великих западносибирских рек в рыболовческом отношении вследствие изобретения сложных рыболовческих снастей типа крупноразмерных неводов, калданных сетей, а также возросшими возможностями зимнего рыболовства в связи с появлением железных орудий, позволивших возводить и круглогодично поддерживать в рабочем состоянии капитальные запорные сооружения, устраивать стационарные проруби для зимнего лова рыбы вентерями и другими ловушками и т. д. Путешественники прошлого столетия отмечали высокую производительность перечисленных снастей, особенно калданной сети. «Колыдан, — сообщает И. С. Поляков, — есть одна из любимейших рыболовческих снастей остяков; им ловится по преимуществу крупная рыба: осетр, нельма, муксун и др.» И далее: «В хороших случаях остяк добывает колыданом до 200—300 муксунов в лето, кроме того, добыча

может быть увеличена уловом осетров, нельм и пр.»¹²⁴. Главным достоинством калданной сети была ее эффективность в условиях промысла на ранее недоступных в рыболовческом отношении крупных реках.

Другим весьма добычливым видом сетной ловушки, использовавшейся для ловли рыбы в крупных реках, был так называемый чердак. Он, в отличие от калдана, закреплялся в стационарном положении. Промысел чердаком почти всегда проводился артельно. За сезон добывали до 2000 язей — основной «чердашной» рыбы.

Усовершенствование орудий рыболовства и выход около рубежа бронзового и железного веков таежного населения на большие реки способствовали повышению его численности, усилению связей со скотоводческим и земледельческим югом, существенным социальным сдвигам. По Иртышу, Оби и другим крупным рекам возникает множество поселений и городищ, концентрация которых порою столь велика, что ставит археологов в недоумение. Так, на Барсовой Горе в районе Сургута, на участке материкового берега Оби протяженностью всего 8—9 км, открыто сейчас 60 городищ и множество поселений примерно с 2000 жилищ¹²⁵, которые относятся почти исключительно к эпохам железа и средневековья. Конечно, не все они существовали одновременно, но даже с учетом всех возможных поправок плотность населения в отдельных местах Иртыша и Оби стала начиная с железного века необыкновенно высокой, что может быть объяснено лишь большой значимостью, развитостью и эффективностью рыболовческого промысла на крупных реках.

Видимо, необходимость сооружения сложных рыболовческих устройств, снастей и приспособлений привела к сложению здесь крупных производственных коллективов — скорее всего, на родовой основе. Ю. Б. Симченко считает, что рыболовство с применением сложных снастей и систем заграждений было возможно лишь при коллективном труде и во главе таких коллективов должен был стоять человек, облеченный большой властью¹²⁶.

Спутник П. С. Палласа В. Ф. Зуев застал у низовых остяков коллективных жилищ, где обитало одновременно по нескольку семей. «В таких юртах или зимовьях, — писал П. С. Паллас, опираясь на сведения, полученные от В. Ф. Зуева, — живут многие семьи вместе, и поэтому внутренность оных разделена по стене на несколько конурок, сколько семей находится; какова б узка ни была сия конурка, за множеством народу однако в ней должны уместиться мать с детьми и со всем домашним припасом и при своем собственном огне работать... Обыкновенно три, четыре и шесть семей живут в одном доме, но ниже Березова есть юрты, где до тридцати таких хозяев живут вместе»¹²⁷. Касаясь образа жизни березовских и обдорских остяков и его отличия от уклада более южных остяцких групп, где добыча рыбы сетными ловушками играла меньшую роль, И. И. Георги отмечает: «Березовские и Обдорские Остяки строят хижины свои просторнее, но и сии стоят до половины в земле. В каждой из оных бывает от четырех до десяти покоев, расположенных около общего очага, и во всяком покое живет целая семья»¹²⁸. Похожие «коллективные» дома пятьдесят лет спустя видел в низовьях Оби Ф. Бежавский, который описал их так: «Вся юрта внутри разгорожена на несколько отделений, похожих на стойла, длиною

около 3 и шириною 2,5 аршин; внутри оных настиляется толсто трава, что служит постелею для каждого семейства»¹²⁹. В каждом отделении имелся чувал для теплоты и приготовления пищи. Вполне возможно, что жилище 107 на Барсовой Горе в районе Сургута, относящееся к началу железного века и имеющее площадь около 300 кв. м¹³⁰, было построено для много-семейного коллектива, объединенного совместным производством снастей, их эксплуатацией, а также коллективной обработкой и потреблением добытого продукта.

Таким образом, несмотря на традиционность и известную консервативность охотничье-рыболовческого хозяйства таежных обь-иртышских аборигенов, оно не стояло на месте, а шло путем интенсификации старых и изобретения новых видов присваивающих промыслов. Эти изменения больше затрагивали рыболовство, чем охоту. В развитии таежного западносибирского рыболовства отмечается два наиболее значительных «скачка». Первый из них относится в основном к переходному времени от неолита к бронзовому веку; он был ознаменован распространением стационарного запорного рыболовства. Это позволило более эффективно использовать на проточных озерах и некрупных реках сети и рыболовческие ловушки типа вентерей. Улучшились возможности запастись рыбой впрок, что повысило степень оседлости таежного обь-иртышского населения и его численность. Второй крупный «скачок» в развитии рыболовства имел место около рубежа бронзового и железного веков; он, как уже говорилось выше, был вызван изобретением усложненных сетных ловушек¹³¹, в связи с чем появилась возможность освоения в рыболовческом отношении крупных сибирских рек.

Этнографические данные говорят о том, что численность и плотность населения в западносибирской аборигенной среде была выше там, где преобладал рыболовческий тип хозяйства. По свидетельству И. И. Георги, обские остяки «почитаются в Сибири многочисленнейшим народом, питаются наиболее рыбою, а поэтому и имеют сельбища свои в смежных с реками, озерами и морем местах, в коих бывает от пяти до двадцати хижин. Всякая такая деревня населена обыкновенно свойственниками»¹³². У зауральских вогулов, которые были преимущественно охотниками, селения были, если судить по сочинению П. Любарских, намного меньше по размерам — они имели одно, два, три, редко пять жилищ¹³³.

Примерно в одно время с вышеназванными «скачками» было сделано еще два важных открытия: изобретение лыж и нарты (поздний неолит или переходное время от неолита к бронзовому веку¹³⁴) и приручение оленя в транспортных целях (железный век)¹³⁵. Это дало толчок более рациональному использованию таежных богатств, привело к большей надежности присваивающего хозяйства в целом, способствовало интенсификации охотничьего и рыболовческого промыслов. Э. К. Пекарский и В. П. Цветков, изучавшие оленные и безоленные хозяйства приаянских тунгусов, отметили более высокую производительность охоты и рыболовства в семьях, имеющих домашних оленей. «Оленный тунгус, — пишут они, — мог быстро менять место промысла, гнаться за зверем по горам, по тайге, кочевать из тайги к рекам, когда в них появится рыба и по реке к морю во время морского промысла. Пеший тунгус поневоле был прикреплен

к одному месту, из которого он почти не мог выбраться. Невозможность быстрого передвижения лишала его лучших промысловых мест, обрекая на постоянную нужду: недаром алдомские тунгусы, почти безоленные лет 20 тому назад, считались беднейшими из приаянских тунгусов»¹³⁶.

С развитием оленеводства в пограничье тайги и тундры активизировался процесс расчленения подвижного и оседлого хозяйственно-бытовых укладов. В новое время результаты этого процесса выразились в разделении нижеобских угров на кочевых оленеводов и оседлых рыболовов, с транспортным собаководством у последних. На более ранних исторических этапах этот процесс шел по линии выделения в пределах ареала присваивающей экономики обществ подвижных охотников (представленных в наиболее чистом виде в каменном и бронзовом веках тундровой зоны) и оседло-рыболовческих обществ (представленных наиболее четко в энеолите озерного Притоболья), между которыми локализовались более динамичные по своей хозяйственной структуре охотничье-рыболовческие общества с перевесом в хозяйстве то охотничьего, то рыболовческого промысла.

Тенденция к расчленению подвижных и оседлых элементов хозяйства в пределах ареала присваивающей экономики выступает на уровне исторической закономерности, характеризуя одно из необходимых условий поступательного развития общества — общественное разделение труда. Однако у носителей присваивающего хозяйства таежной и тундровой зон по существу любое крупное разделение труда почти неизбежно приводило к распаду общества на два разных социально-хозяйственных организма — в данном случае на общество подвижных охотников и общество оседлых рыболовов. Это давало социально-экономическому развитию одностороннее направление, что нередко вынуждало рыболовческие и охотничьи общества возвращаться к комплексному охотничье-рыболовческому хозяйству, которое на определенных исторических этапах или в изменившихся экологических условиях вновь обнаруживало тенденцию к расчленению подвижного и оседлого укладов. Эти тенденции, мне кажется, особенно усиливались после очередных экономических открытий, которые позволяли интенсифицировать традиционные присваивающие промыслы. В рыболовстве к таким открытиям относится изобретение рыболовческих запоров (на поздних этапах каменного века) и калданной сети (на рубеже бронзового и железного веков), в области охоты, где производственные традиции были более консервативными, наиболее важными открытиями последних тысячелетий являются изобретение лыж и нарт (в конце каменного века) и приобщение к транспортному оленеводству (в эпоху железа).

Древний оседло-рыболовческий тип хозяйства в Нижнем Притоболье

Этот район расположен на юге таежной зоны. Он включает северные притоки Тобола — Туру, Иску, Тавду, отчасти Исеть. Здесь очень много боровых, хорошо доступных проточных и полупроточных озер, идеально приспособленных для сетевого и запорного рыболовства. Основные левобережные притоки Тобола, обеспечивающие проточность этих озер (Исеть, Тавда, Тура), берут свое начало в пределах Уральских гор. Воды этих рек круглый год богаты кислородом, что ослабляет губительность зимних заморов. Все это с древнейших времен привлекало сюда массы людей и способствовало густому заселению Нижнего Притоболья, особенно в период, предшествовавший переходу населения юга Западно-Сибирской равнины к пастушесству и земледелию. Так, на Андреевском озере близ Тюмени известно сейчас около 100 поселений позднего неолита и раннего металла. В 1971—1973 гг. Западно-Сибирская экспедиция Института археологии АН СССР вела работы на трех небольших расположенных рядом друг с другом озерах бассейна р. Иски (Ипкуль, Байрык, Шапкуль) — примерно в 50—60 км севернее Тюмени. Здесь было найдено и частично обследовано более полусотни поселений переходного времени от неолита к бронзовому веку — почти столько же, сколько известно сейчас на всей остальной территории таежного Обь-Иртышья, лежащей за пределами Нижнего Притоболья. А таких озер в Нижнем Притоболье сотни.

Поселения в большинстве своем имели достаточно мощный культурный слой — до 60—100 см, что свидетельствует об оседлом образе жизни. При раскопках этих озерных памятников найдено много разнотипных глиняных грузил для сетей, датируемых в основном энеолитической эпохой (рис. 18, I—II). На некоторых поселениях (Байрык VI, Шапкуль VI) обнаружены глубокие ямы, доверху заполненные плотным слоем рыбе́й чешуи, жаберных крышек и других ихтиологических остатков.

Видимо, оседлость и очень большая плотность населения в этих местах в то время были обусловлены высокой рыболовческой производительностью местных озер. По палеогеографическим данным, площадь нижнетобольских озер в конце неолита была больше, чем в бронзовом веке, протоки многочисленнее, а степень проточности выше, что говорит о хороших возможностях для рыболовства.

Древнее нижнетобольское население знало и активно использовало все известные в западносибирской этнографии способы ловли рыбы — охоту на рыбу при помощи костяных стрел, гарпунов и острог, ловлю крючковой снастью, добычу сетями и ловушками типа вентерей (рис. 16—18)¹³⁷. По-видимому, широко практиковалось запорное рыболовство. Правда, остатков запорных сооружений в Нижнем Притоболье пока не найдено, но само расположение поселений в местах, удобных для запорного рыболовства — у озерных заливов, на протоках, при устье впадающих в озеро рек, на истоках и т. д., — с несомненностью говорит об их существовании. В. Н. Чернецов считал возможным трактовать как изображения рыболовческих запоров некоторые древние наскальные рисунки Зауралья

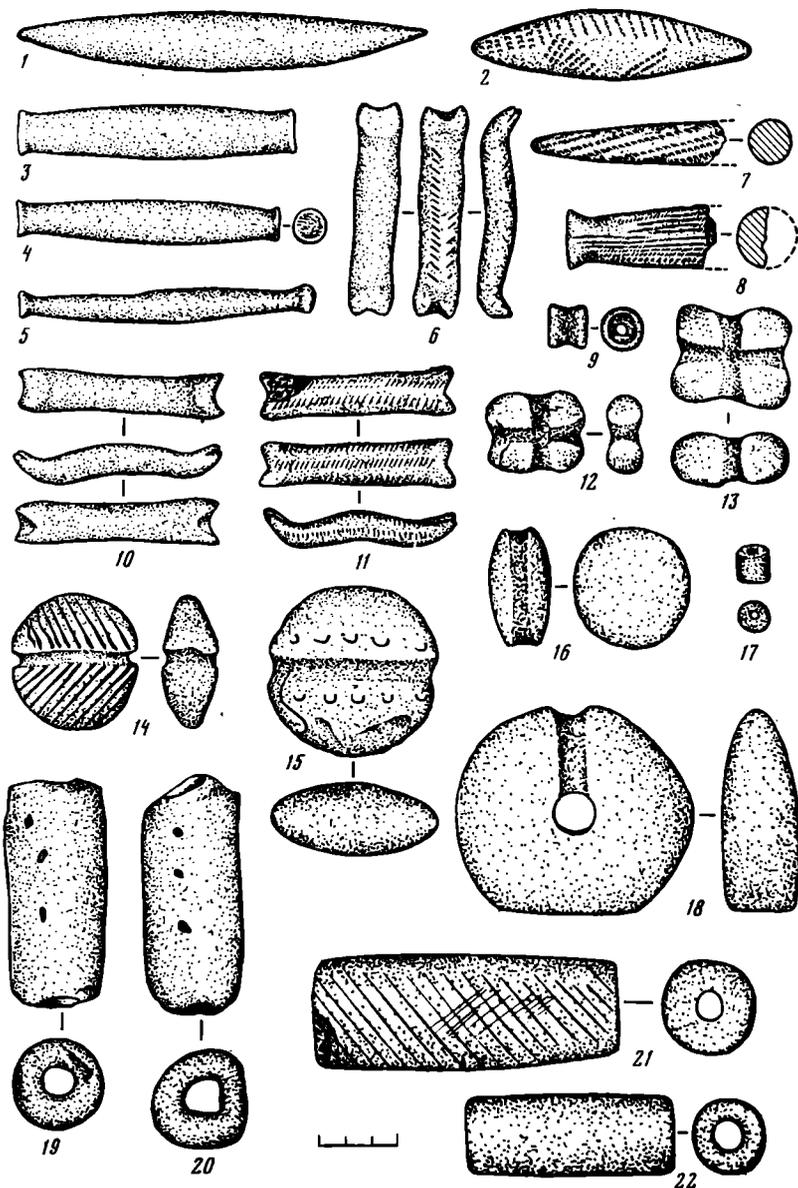


Рис. 18. Западносибирские глиняные грузила разных эпох

1—11 — переходное время от неолита к эпохе бронзы; 12—17 — бронзовый век; 18 — время существования не установлено; 19—21 — железный век; 22 — современное грузило чалдонов северной Кулунды

1 — Шигирский торфяник; 2 — южный берег Андреевского озера, участок VIII; 3, 5, 7—9 — Андреевская 2-я стоянка; 4, 19—21 — поселение Ипкуль VIII; 6, 10, 11, 13 — поселение Байрык IБ; 12, 14 — поселение Ипкуль I; 15, 18 — Тюменская обл. (Андреевское озеро?); 16, 17 — Десятовское поселение; 22 — с. Благодатное, Карасукский район Новосибирской обл.

и отдельные виды орнамента на энеолитической посуде Нижнего При-
тоболья ¹³⁸.

Среди других промыслов следует назвать (кроме собирательства, которым в той или иной мере занимались все сибирские народы — древние и современные) охоту на водоплавающую дичь (летом) и на лесных копытных, прежде всего косулю (весной и осенью). Особенно важное значение охота на косулю имела в западной части Нижнего Притоболья, примыкавшей к Уралу, где, как мы уже говорили выше, издревле пользовалась большой популярностью коллективная охота при помощи «огородов» и других заградительных устройств.

Однако специфика хозяйственно-бытового уклада нижнетобольского населения накануне бронзового века (приуроченность поселений к местам, удобным для запорного рыболовства, оседлость, большая плотность населения), в первую очередь групп, оставивших памятники липчинского, байрыкского и андреевского типов ¹³⁹, определялась не охотой, а рыболовством — наиболее постоянным и стабильным по добычливости видом промысла. В этом смысле нижнетобольское население переходного времени от неолита к бронзовому веку мы вправе квалифицировать как оседлых рыболовов.

Есть некоторые данные, позволяющие предполагать, что озерное население Нижнего Притоболья еще до начала бронзового века могло быть знакомо с земледелием. На торфяниковых стоянках свердловско-тагильской части этого региона найдено довольно много костяных и особенно деревянных мотыгообразных орудий (рис. 19), которые археологи относят в основном к позднему неолиту, энеолиту и эпохе ранней бронзы и склонны считать земледельческими ¹⁴⁰.

Можно допустить и столь же раннее появление здесь зачатков пастушества. Д. Н. Эдинг, характеризуя энеолитическую керамику стоянки Анин Остров в западной части Нижнего Притоболья, упоминает о находке вместе с ней костей лошади и коровы ¹⁴¹. В юго-восточной Башкирии — озерном районе, близком в гидрографическом и историко-культурном отношении Нижнему Притоболью, Г. Н. Матюшин открыл энеолитические поселения суртандинского типа, где были найдены кости домашних животных — лошади, коровы и мелкого рогатого скота ¹⁴².

Оценивая возможность столь раннего появления в Нижнем Притоболье элементов производящей экономики, еще раз сошлемся на доказательное высказывание Л. Р. Бинфорда, что поиски ранних форм производящего хозяйства должны быть направлены в те места, где археологически наблюдается крупный сдвиг в плотности населения и где имеются условия для оседлости, обеспеченные, как правило, наличием стабильного рыболовческого продукта ¹⁴³.

Вместе с тем нельзя считать, что рыболовство и связанная с ним оседлость были неременной гарантией более быстрого социально-экономического развития. Потенциальные возможности оседло-рыболовческого уклада были способны проявиться лишь при определенных исторических обстоятельствах и в определенных экологических условиях. На севере тайги и тем более в тундровой зоне, где географическая среда не благоприятствовала пастушеско-земледельческим занятиям, оседлое рыболовство само по себе не могло явиться предпосылкой перехода к более

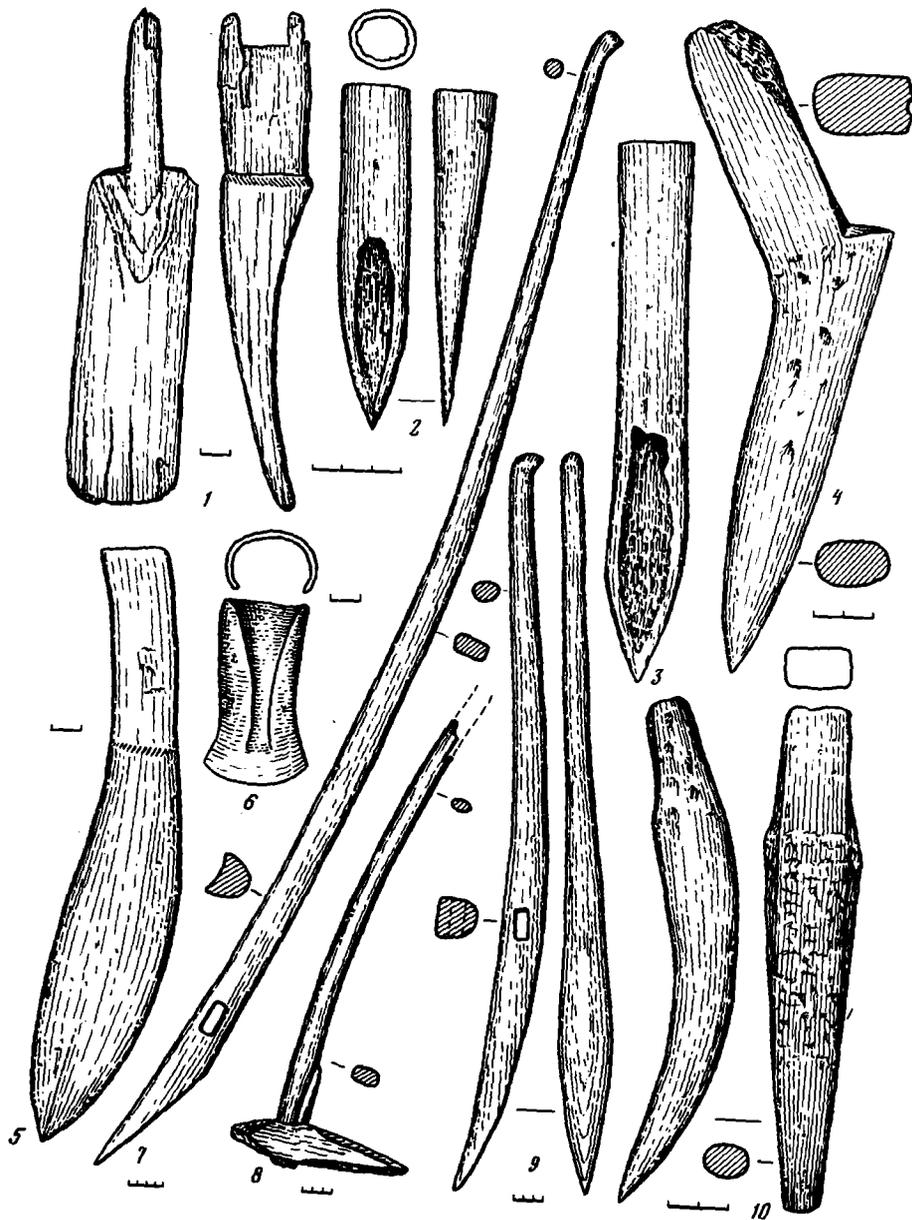


Рис. 19. Среднее Зауралье. Древние собирательские и земледельческие орудия
 1—3, 7—9 — Шигирский торфяник; 4, 5, 10 — Горбуновский торфяник; 6 — поселение
 Калмацкий Брод.
 1, 7—9 — дерево; 6 — бронза; остальное — кость

передовым формам хозяйства. Оседло-рыболовческий уклад был в состоянии сыграть свою положительную роль лишь в тех районах, где экологические (и исторические) условия не только заставляли искать новые возможности социально-экономического развития, но и способствовали успеху этих поисков.

Археологи, занимавшиеся исследованием памятников свердловско-тагильской части Нижнего Притоболья, пришли к заключению, что в бронзовом веке началось усыхание местных озер¹⁴⁴. В последние годы этот вывод подтвержден наблюдениями В. Ф. Генинга на оз. Мергенъ в лесостепном Зауралье, нашими на оз. Ипкуль в тюменской части Нижнего Притоболья и В. Ф. Старкова на Горбуновском торфянике под Нижним Тагилом. Засушливость климата в этот период привела к понижению уровня воды в озерах, сокращению их зеркала, заболачиванию проток и в конечном счете к обеднению ихтиофауны.

На озерных поселениях бассейна р. Иски с переходом к эпохе бронзы уменьшается количество глиняных грузил. Если грузила переходного времени от неолита к бронзовому веку (рис. 18, 1—11) встречены на поселениях десятками, иногда скоплениями по 25—30 штук, принадлежащими одной сети, то грузила андроновской эпохи (обычно округлые с желобками для привязывания: рис. 18, 12—17) мы находим, как правило, в единичных экземплярах. Это заставляет предполагать, что с уменьшением размеров озер и их обмелением сети стали более короткими. Любопытно, что в эпоху раннего железа, когда уровень воды в озерах Нижнего Притоболья вновь существенно повысился, длина сетей опять увеличивается. Так, на поселении Ипкуль VIII в районе Тюмени мы нашли в слое железного века скопление из более чем 40 одинаковых глиняных грузил — цилиндрических, с отверстием, от одной сети (рис. 18, 19—21).

В эпоху бронзы в связи с понижением уровня озер и заболачиванием проток строительство запорных сооружений стало, видимо, нерациональным. Интересно, что в сводке древних рыболовческих заграждений Европейской России, опубликованной Г. М. Буровым, найденные до сих пор запоры относятся к неолиту или железному веку; пока среди них нет ни одного, который датировался бы эпохой бронзы¹⁴⁵.

Сокращение естественного продукта, связанное с упадком рыболовства, заставило нижнетобольское население искать новые хозяйственные возможности. Эти поиски должны были идти по пути развития тех отраслей хозяйства, которые в условиях изменившейся географической среды являлись наиболее перспективными. В сложившейся обстановке население Нижнего Притоболья с готовностью воспринимает образ жизни начавших проникать сюда в это время с юга андроновцев и родственных им групп, которые вели оседлое пастушеско-земледельческое хозяйство и предпочитали селиться у широких речных пойм.

*

- ¹ Лебедев В. В., 1978, с. 24.
- ² Хомич Л. В., 1966, с. 51; Никкуль К., 1975; Крупник И. И., 1976.
- ³ Народы Сибири, 1956, с. 887; Долгих Б. О., 1963.
- ⁴ Симченко Ю. Б., 1976, с. 152.
- ⁵ Там же, с. 158.
- ⁶ Паллас П. С., 1788, с. 120—122.
- ⁷ Третьяков П., 1869, с. 491.
- ⁸ Там же, с. 491—492.
- ⁹ Гришин Ю. С., 1960, рис. 3.
- ¹⁰ Хомич Л. В., 1966, с. 64.
- ¹¹ Врангель Ф., 1841, ч. II, с. 86—87.
- ¹² Там же, с. 105—106.
- ¹³ Народы Сибири, 1956, с. 650.
- ¹⁴ Хлобыстин Л. П., 1972, с. 32.
- ¹⁵ Народы Сибири, 1956, с. 650.
- ¹⁶ Мошинская В. И., 1953а, табл. IV.
- ¹⁷ Хомич Л. В., 1966, с. 62.
- ¹⁸ Паллас П. С., 1788, с. 92—93.
- ¹⁹ Львов В., 1908, с. 29.
- ²⁰ Чернецов В. Н., 1971, с. 65—66.
- ²¹ Попов А. А., 1948, с. 45.
- ²² Юргенс Н. Д., 1885, с. 265.
- ²³ Паллас П. С., 1788, с. 93.
- ²⁴ Там же, с. 112.
- ²⁵ Хлобыстин Л. П., 1972.
- ²⁶ Зуев В. Ф., 1947, с. 35.
- ²⁷ Миддендорф А. Ф., 1878, с. 693.
- ²⁸ Богораз В. Г., 1901, с. 5.
- ²⁹ Рычков К. М., 1917, с. 61.
- ³⁰ Хомич Л. В., 1966, с. 75.
- ³¹ Белявский Ф., 1833, с. 258.
- ³² Крупник И. И., 1977, с. 20.
- ³³ Львов В., 1908, с. 19.
- ³⁴ Бытовые рассказы энцев. — ТИЭ, 1962, т. 75, с. 158—166.
- ³⁵ Камшилов М. М., 1978, с. 270.
- ³⁶ Паллас П. С., 1788, с. 93.
- ³⁷ Там же, с. 123.
- ³⁸ Хлобыстин Л. П., 1972, с. 32.
- ³⁹ Бытовые рассказы энцев, 1962, с. 119—120.
- ⁴⁰ Врангель Ф., 1841, ч. I, с. 251.
- ⁴¹ Там же, ч. II, с. 60.
- ⁴² Там же, с. 91.
- ⁴³ Богораз В. Г., 1901, с. 5.
- ⁴⁴ Попов А. А., 1948, с. 99.
- ⁴⁵ Там же, с. 53.
- ⁴⁶ Лебедев В. В., 1978, с. 25.
- ⁴⁷ Инфантьев П., 1909, с. 159.
- ⁴⁸ Зензинов В. В., 1914, с. 114.
- ⁴⁹ «Большую часть года и большую часть жизни, — писал в 70-х годах прошлого столетия известный врач-ветеринар Г. В. Кравцов, — киргизы (казахи. — М. К.) питаются молоком и многоразличными продуктами его» (Кравцов Г. В., 1877, с. 27). Из молока казахи изготовляли катык, кумыс, масло, сыр «курут» и «рымчик», а также другие консервированные продукты. «Всякий киргиз, — сообщает А. Левшин, — отправляясь в путь, привязывает к седлу своему мешок, наполненный курутом, и, разводя, где нужно, по несколько кусков оного в воде, утоляет вместе и голод и жажду» (Левшин А., 1832, с. 38).
- ⁵⁰ Хлобыстин Л. П., 1972, с. 32.
- ⁵¹ Этнографические замечания и наблюдения Кастрена о лопарях, карелах, самоедах и остяках, извлеченные из его путевых воспоминаний 1838—1844 гг. 1851, с. 316.
- ⁵² См., например: Шилов В. П., 1964, с. 87.
- ⁵³ Чернецов В. Н., 1971, с. 73.
- ⁵⁴ Теплоухов А. Ф., 1880, с. 26.
- ⁵⁵ Паллас П. С., 1786, с. 326.
- ⁵⁶ Глушков И. Н., 1900, с. 50.
- ⁵⁷ Чернецов В. Н., 1971, с. 73.
- ⁵⁸ Вербицкий В. И., 1893, с. 20.
- ⁵⁹ Глушков И. Н., 1900, с. 49.
- ⁶⁰ Там же, 1900, с. 50.
- ⁶¹ Лепехин И., 1822, с. 99—100.
- ⁶² Глушков И. Н., 1900, с. 49.
- ⁶³ Паллас П. С., 1786, с. 328.
- ⁶⁴ Там же, с. 293, 326; Лепехин И., 1822, с. 99—100.
- ⁶⁵ Любарских П., 1792, с. 69.
- ⁶⁶ Паллас П. С., 1786, с. 328.
- ⁶⁷ Паллас П. С., 1788, с. 108—109.
- ⁶⁸ Поляков И. С., 1877, с. 174.
- ⁶⁹ Чернецов В. Н., 1971.
- ⁷⁰ Раушенбах В. М., 1956, с. 112.
- ⁷¹ Там же, с. 121, 126.
- ⁷² Паллас П. С., 1786, с. 328.
- ⁷³ Шатилов М. Б., 1931, с. 150.
- ⁷⁴ Патканов С., 1894, с. 17.
- ⁷⁵ Паллас П. С., 1788, с. 120.
- ⁷⁶ Зуев В. Ф., 1947, с. 79.
- ⁷⁷ Поляков И. С., 1877, с. 66.
- ⁷⁸ Новицкий Г., 1884, с. 35.
- ⁷⁹ Зуев В. Ф., 1947, с. 79.
- ⁸⁰ Белявский Ф., 1833, с. 14.
- ⁸¹ Там же, с. 12.
- ⁸² См., например: Васильев В. И., 1962.
- ⁸³ Там же, с. 151.
- ⁸⁴ Народы Сибири, 1956, с. 672, 691.
- ⁸⁵ Рычков К. М., 1917, с. 41.
- ⁸⁶ Суслов И. М., 1928, с. 58.
- ⁸⁷ Кирюшин Ю. Ф., 1976, с. 12—13.
- ⁸⁸ Городков Б., 1913, с. 14.
- ⁸⁹ Кирюшин Ю. Ф., 1976, с. 14.
- ⁹⁰ Новицкий Г., 1884, с. 34.
- ⁹¹ Патканов С., 1891, с. 37.
- ⁹² Спафарий Н., 1882, с. 84.
- ⁹³ Поляков И. С., 1877, с. 65.
- ⁹⁴ Шатилов М. Б., 1931, с. 60.
- ⁹⁵ Там же, с. 60.
- ⁹⁶ Народы Сибири, 1956, с. 672.

- ⁹⁷ Косарев М. Ф., 1973.
⁹⁸ Патканов С., 1911, с. 119.
⁹⁹ Народы Сибири, 1956, с. 669.
¹⁰⁰ Шухов И., 1928, с. 102.
¹⁰¹ Шульц Л., 1913, с. 3.
¹⁰² Гондатти Н. Л., 1888а, с. 24—25; Дмитриев-Садовников Г., 1909, с. 8.
¹⁰³ Сирелшус У.-Т., 1906; 1907; Пигнатти В. Н., Ивановский В. А., Гладышев Т. П., Шульц Л. Р., Чукомин П. П., 1911.
¹⁰⁴ Абрамович Д. И., Крылов Г. В. и др., 1963, с. 194—195.
¹⁰⁵ Пьявченко Н. И., 1971, с. 67.
¹⁰⁶ Шатилов М. Б., 1931, с. 162.
¹⁰⁷ Народы Сибири, 1956, с. 673.
¹⁰⁸ Там же, с. 673.
¹⁰⁹ Гондатти Н. Л., 1888, с. 24—25.
¹¹⁰ Поляков И. С., 1877, с. 68—69.
¹¹¹ Паллас П. С., 1788, с. 54—55.
¹¹² Там же, с. 106.
¹¹³ Там же, с. 109—110.
¹¹⁴ Там же, с. 112.
¹¹⁵ Там же, с. 115—118.
¹¹⁶ Там же, с. 112.
¹¹⁷ Там же, с. 63—64.
¹¹⁸ Там же, с. 61—62.
¹¹⁹ Там же, с. 109.
¹²⁰ Поляков И. С., 1877, с. 25.
¹²¹ Бухрушин С. В., 1935, с. 10.
¹²² Там же, с. 9.
¹²³ Тарасов В., 1971, с. 48.
¹²⁴ Поляков И. С., 1877, с. 44.
¹²⁵ Елькина М. В., 1977, с. 104.
¹²⁶ Симченко Ю. Б., 1965, с. 33.
¹²⁷ Паллас П. С., 1788, с. 56.
¹²⁸ Георги И. И., 1795, с. 70.
¹²⁹ Белявский Ф., 1833, с. 67.
¹³⁰ Елькина М. В., 1977, с. 109.
¹³¹ Васильев В. И., 1962, с. 151.
¹³² Георги И. И., 1795, с. 69.
¹³³ Любарских П., 1792, с. 62.
¹³⁴ Известно, что на территории Зауралья и Западной Сибири в первой половине бронзового века уже существовали двухполозные сани (Раушенбах В. М., 1956, с. 119) и практиковалась ходьба на лыжах, в том числе езда на лыжах с буксировкой лыжника лошадью (Матющенко В. И., 1970).
¹³⁵ Вайнштейн С. И., 1971; Хлобыстин Л. П., Грачева Г. Н., 1974.
¹³⁶ Пекарский Э. К., Цветков В. П., 1913, с. 19.
¹³⁷ Раушенбах В. М., 1956, с. 115—118.
¹³⁸ Чернецов В. Н., 1971, рис. 50.
¹³⁹ Косарев М. Ф., 1981.
¹⁴⁰ Дмитриев П. А., 1951, с. 20—21; Раушенбах В. М., 1956, с. 125.
¹⁴¹ Эдинг Д. Н., 1940, с. 30.
¹⁴² Матюшин Г. Н., 1971, с. 118.
¹⁴³ Vinford L. R., 1970, p. 332.
¹⁴⁴ Раушенбах В. М., 1956, с. 121; Кипарисова Н. П., 1960, с. 23—24.
¹⁴⁵ Буров Г. М., 1974.

ОСОБЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВА В ЗОНЕ КОНТАКТОВ АРЕАЛОВ ПРОИЗВОДЯЩЕЙ И ПРИСВАИВАЮЩЕЙ ЭКОНОМИКИ. ПРЕДПОСЫЛКИ И ХАРАКТЕР ДРЕВНЕЙ ТОРГОВЛИ



*Многоотраслевое хозяйство предтаежной и южнотаежной полосы
Западной Сибири. Экологические факторы древней торговли.*

Многоотраслевое хозяйство предтаежной и южнотаежной полосы Западной Сибири

Историю многоотраслевой экономики на исследуемой территории принято начинать с поздних этапов бронзового века, когда на юге таежной зоны утвердились так называемые андронидные культуры — черкаскульская, сузгунская и еловская. Нам представляется, однако, что история характеризуемой формы хозяйства началась задолго до андроновского времени и, скорее всего, в степной зоне. Ведь переходная стадия от охотничье-рыболовческих занятий к пастушеско-земледельческим в степях явилась по существу стадией многоотраслевого хозяйства. На самом деле, в охотничье-рыболовческий быт древнего населения степей с переходом от неолита к бронзовому веку все более внедрялись пастушеские и земледельческие навыки; в какой-то момент присваивающие и производящие занятия здесь находились даже в состоянии равновесия, а затем, после того как окончательно выяснилось, что в условиях усыхания степной зоны многоотраслевое хозяйство нерационально, победили пастушество и земледелие. Это произошло, видимо, около первой трети II тысячелетия до н. э.

На севере лесостепной и на юге таежной зон многоотраслевое хозяйство, наоборот, оправдало себя, так как наиболее полно отвечало экологическим особенностям этой территории. Но и здесь оно начало складываться раньше начала андроновского времени. Во всяком случае, в самусько-сейминскую эпоху (примерно вторая треть II тысячелетия до н. э.) многоотраслевое хозяйство на юге таежной зоны уже существовало. В этом отношении интересна самусьская культура и прежде всего самый богатый из известных до сих пор памятников этой культуры Самусьское IV поселение в низовьях р. Томи. В свое время В. И. Матущенко и вслед за ним автор настоящей работы высказали мнение, что население самусьской культуры вело охотничье-рыболовческий образ жизни¹. Поскольку костные остатки на Самусе IV почти не сохранились, их заключение основывалось на находках здесь значительного числа каменных наконечников стрел, скребков и грузил для сетей.

Теперь этот вывод выглядит поспешным и односторонним. В этой связи обращает на себя внимание необыкновенно богатая и разнообразная солярная орнаментация на сосудах Самуся IV, не характерная, как правило, для «чистых» охотничье-рыболовческих культур². Интересны также находки на Самусьском IV поселении и в некоторых других пунктах самусьской культуры сапожковидных каменных терочников, рукоять которых

оформлена в виде головы человека или фаллоса. В. И. Матюшенко считает их свидетельством культа плодородия у самусьцев, что было, по его мнению, связано «с заботой охотника и рыбака о богатстве тайги и реки, об увеличении дичи и рыбы, а в конечном счете с промысловыми культурами»³. Между тем почти очевидно, что если считать фаллические скульптуры на рукоятях пестов и терочников свидетельством культа плодородия (ср. рис. 20, 9 с рис. 21, 3, 4), то речь, скорее всего, должна идти не о промысловом охотничье-рыболовческом культе, а о земледельческом.

Еще одним возможным показателем земледелия у самусьцев является, на наш взгляд, большое количество обнаруженных на Самусе IV литейных форм кельтов⁴. Относительно функционального назначения самусьско-сейминских кельтов у специалистов нет единого мнения. Большинство исследователей считает их орудиями, предназначенными для рубки и обработки дерева, т. е. выступающими в роли топора и тесла⁵. Некоторые полагают, что они являлись земледельческими орудиями⁶. Эта точка зрения кажется нам более убедительной. Самусьско-сейминские кельты были малоудобны для использования их в качестве топоров и тесел. Кроме того, топоры и тесла как специализированные, типологически оформившиеся орудия были хорошо известны в самусьско-сейминскую эпоху; они встречаются на многих памятниках этого времени, в том числе в Турбинском и Сейминском могильниках. На Самусьском IV поселении найдена форма для отливки вислобушного топора. Нам представляется, что самусьско-сейминские бронзовые кельты, отличавшиеся в большинстве своем асимметричностью сечения и поперечной, наподобие мотыги, насадкой на коленачатую рукоять, были, скорее всего, земледельческими или земледельческо-собираТЕЛЬскими орудиями⁷. Они были одинаково удобны для расчистки пашни от кустарника и мелких деревьев, рыхления почвы, разрубания и выкорчевывания древесных корней, выкапывания клубней и корней съедобных растений, разорения нор грызунов и т. д. Не исключено также, что они, помимо названных функций, могли в случае необходимости выполнять роль тесла и топора. Многофункциональные орудия употреблялись в урало-западносибирской тайге во все времена. Так, раннежелезные кельты ананьинского типа в зависимости от манеры насадки использовались как топоры, как мотыги и как тесла⁸. Остатки нередко делали сверло и струг на обухе топора⁹. У шорцев лыжная палка (курчек) имела вид ложкообразной лопатки и в зависимости от обстоятельств использовалась для разных целей. Охотник, двигаясь на лыжах, регулировал ею свое движение, особенно при спуске с гор; этой же «палкой» он выкапывал яму в снегу для ночлега и черпал в родниках воду для питья¹⁰.

Прямых данных в пользу скотоводства у жителей Самусьского IV поселения пока нет, поскольку костный материал почти не сохранился. Правда, В. И. Матюшенко сообщает о находке на Самусе IV нескольких бараньих альчи́ков, но их связь с комплексом самусьской культуры зафиксирована не вполне четко¹¹. Косвенным свидетельством в пользу возможности скотоводства у самусьцев являются находки костей лошади в слое самусьско-сейминской эпохи поселения Тух-Эмтор IV в Васюганье, расположенном намного севернее Самусьского IV поселения¹².

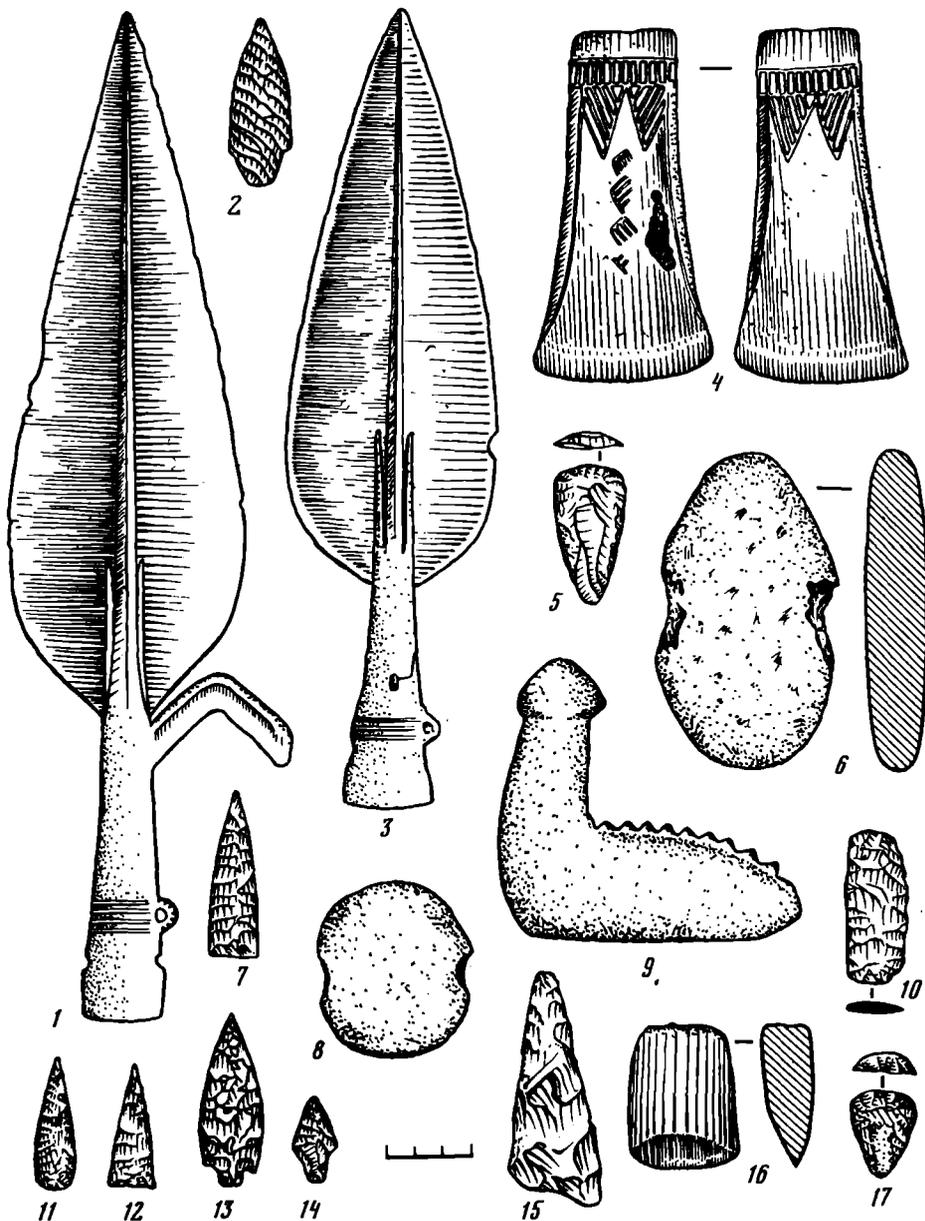


Рис. 20. Орудия самусьской культурной общности в лесостепном и южнотаежном Обь-Иртыше (XVI—XIII вв. до н. э.)

1, 2, 7 — Ростовкинский могильник; 3, 4 — Омский клад; 5, 8—12, 14, 15, 17 — Самусьское IV поселение; 6 — верховья Томи; 13 — поселение Черноозерье VI; 16 — Логиновское горбдиче
1, 3, 4 — бронза; остальное — камень

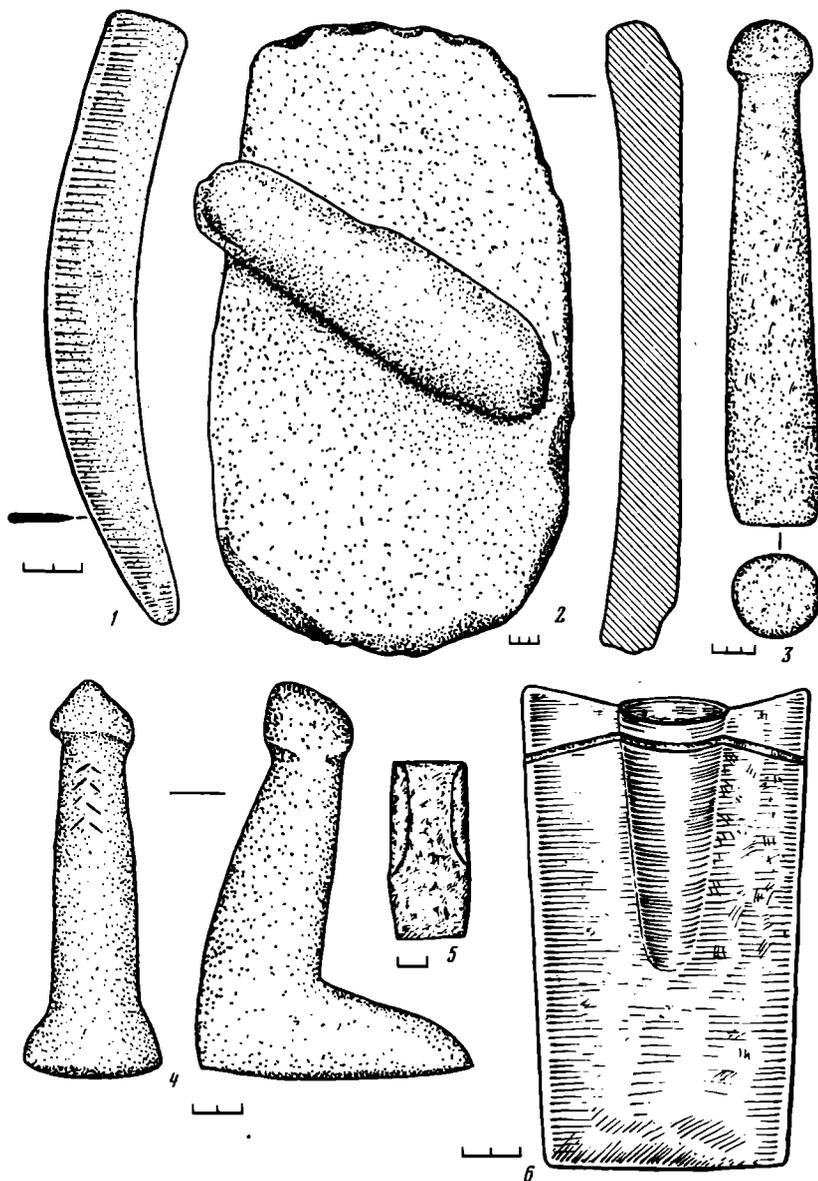


Рис. 21. Зауралье и Западно-Сибирская равнина. Древние орудия земледелия и собирательства

1, 2, 4, 6 — самусьско-сейминская эпоха; 3 — время не определено; 5 — раннее средневековье

1 — Верхне-Кизильский клад; 2 — стоянка Усть-Нарым (Восточный Казахстан); 3, 4 — Свердловская обл., 5 — могильник Релка; 6 — поселение Самусь IV (реконструкция по литейной форме).

1, 6 — бронза; 5 — железо; остальное — камень

Все вышеизложенное дает основание предполагать, что корни многоотраслевого хозяйства на юге Западно-Сибирской равнины уходят в глубокую древность. Что касается пограничья тайги и лесостепи, то мы считаем, что предпосылки перехода к многоотраслевому хозяйству сложились здесь уже на рубеже каменного и бронзового веков, о чем говорят данные, касающиеся развития производительных сил (появление первых металлических изделий, совершенствование приемов рыболовства), усиления южных связей (южные пути поступления металла, необычное развитие солярной орнаментации), возрастающей тенденции к оседлости, связанной с повышением роли рыболовства, увеличения плотности населения на юге таежной зоны и т. д.

Более определенно можно говорить о многоотраслевом хозяйстве поздних этапов бронзового века, когда север лесостепи и юг таежной зоны были заняты населением черкаскульской (Среднее Зауралье), сузгунской (таежное Прииртышье) и еловской (Среднее и отчасти Верхнее Приобье) культур. В целом, за исключением черкаскульской культуры, которая имеет глубокие местные (зауральские) корни, сложение андронидных культур, прежде всего сузгунской и еловской, представляет собой процесс смешения южнотаежного населения — носителей гребенчато-ямочной культурной традиции с пришлыми южными группами, родственными андроновцам, процесс постепенного слияния их в единый монолитный этнокультурный массив¹³.

В хозяйстве андронидного населения, жившего на севере лесостепной и на юге таежной зон, также наблюдается смешение двух традиций — северной (охотничье-рыболовческой) и южной (пастушеско-земледельческой), что, собственно, и отражает основное содержание многоотраслевого хозяйства, логично возникшего в зоне контактов ареалов производящей и присваивающей экономики. Особенно явно в культурном слое андронидных поселений прослеживаются следы охотничьего промысла (кости диких животных, наконечники стрел, детали луков), рыболовства (ихтиологические остатки, грузила для сетей, костяные гарпуны и пр.) и скотоводства (кости домашних копытных, костяные псалии — на Еловском поселении). Менее отчетливы данные по земледелию.

На поселении Черкаскуль II кости диких животных составили по числу особей более 46%, на поселении Березки V — 36%, на Еловском поселении — правда, в смешанном еловско-ирменском слое — 33%. На Чудской Горе это соотношение выглядит несколько иным, возможно, за счет того, что здесь определялся видовой состав лишь копытных животных и по несколько другой выборке (восемь случаев находок черепов и конечностей лося и 53 — домашних копытных). На Черкаскульском II поселении в составе охотничьей добычи первое место занимает косуля (13 особей), второе — лось (три особи), остальные виды диких животных представлены единичными костями; на Еловском поселении на первом месте стоит бобр (18 особей), на втором — лось (14 особей), на третьем — соболь (две особи). Преобладание косули в составе охотничьей добычи черкаскульцев, видимо, говорит о том, что здесь продолжает пользоваться популярностью издревле характерная для этих мест коллективная загонная охота на мигрирующие через Урал стада диких лесных копытных животных.

Удивляет большое число костей бобра в культурном слое Еловского поселения (44% от общего числа костей диких животных по количеству особей). Не исключено, что возрастание роли пушной охоты в конце бронзового века явилось следствием усиления спроса на пушнину со стороны более южных пастушеских и земледельческих групп. Может быть, на направление этих связей указывают находки в еловских комплексах нескольких сосудов, имеющих довольно близкие аналогии в Центральном и Южном Казахстане (могильники Дандыбай, Тау-Тары, Каратау) ¹⁴.

Долю рыболовства в хозяйстве андронидного населения Западной Сибири определить трудно; мы пока в состоянии констатировать лишь его наличие. О существовании рыболовческих промыслов, помимо вещевых находок (глиняных и каменных грузил для сетей, костяных гарпунов), говорят ихтиологические остатки. Л. П. Хлобыстин обнаружил в черкаскульском комплексе поселения Липовая Курья (север Челябинской обл.) кости щуки, плотвы и окуня. Кости рыб, в том числе крупные рыбы позвонки, встречены нами при раскопках городища Чудская Гора на севере Омской обл. в слое с керамикой сузгунского облика. А. Н. Гундризер, изучивший ихтиологические остатки со дна жилищ Еловского поселения, пришел к выводу, что они принадлежали стерляди, осетру, нельме, щуке, плотве; собрано также много чешуи язя, золотистого карася, окуня и др. ¹⁵

О скотоводстве в пределах андронидного ареала данных гораздо больше. Сравним состав костных остатков домашних копытных на трех наиболее изученных андронидных памятниках — Черкаскульском II поселении на севере Челябинской обл. (черкаскульская культура), городище Чудская Гора на севере Омской обл. (сузгунская культура) и Еловском поселении на юге Томской обл. (еловская культура) (табл. 5).

Т а б л и ц а 5. Соотношение разных видов домашнего скота у населения черкаскульской, сузгунской, еловской культуры эпохи бронзы

Виды домашних животных	Памятники					
	Черкаскуль II		Чудская гора *		Еловское поселение	
	число особей	%	число особей	%	число особей	%
Крупный рогатый скот	9	40,9	18	34,0	41	54,7
Лошадь	7	31,8	29	54,7	11	14,7
Мелкий рогатый скот	4	18,2	6	11,3	22	29,3
Свинья	2	9,1	—	—	1	1,3

* На Чудской Горе количество особей домашних копытных определено со значительной долей условности — по числу случаев находок черепов и конечностей в скоплениях костных остатков у очагов.

На поселении черкаскульской культуры Березки V (север Челябинской обл.) кости домашних копытных, по подсчетам П. А. Косинцева и А. Ф. Шорина, распределялись следующим образом: крупный рогатый скот — пять особей (31,25%), лошадь — пять (31,25%), свинья — четыре (25%), мелкий рогатый скот — две (12,5%).

Согласно вышеприведенным данным, состав стада и соотношение разных видов скота на территории андронидных культур заметно отличались от андроновского. Так, доля лошади в целом была более значительной, чем у степных андроновцев. Обращает на себя внимание также знакомство

андроноидного населения со свиноводством, которое пока не зафиксировано у федоровцев и алакульцев.

От южных границ андроноидного ареала к северным отмечается возрастание роли крупного скота (лошади и коровы), в основном за счет увеличения доли лошади. Если в Черкаскуле II, Березках V, Еловке, расположенных около 56 параллели, костные остатки крупного рогатого скота составляют от 62,5 до 72,7% от общего количества скота (при доле лошади от 14,7 до 31,8%), то на находящейся в 150 км севернее Чудской Горе этот процент увеличивается до 88,7% (при доле лошади 54,7%). Экологически оправданное в условиях многоснежных зим западносибирской тайги преобладание лошади в стаде северных андроноидных групп не противоречит материалам других памятников, как более ранних (поселение Тух-Эмтор IV в Васюганье)¹⁶, так и более поздних (памятники кулайского и релкинского времени в Нарымском Приобье и в районе Сургута)¹⁷. При раскопках Сузгунского II поселения близ Тобольска, давшего название сузгунской культуре (рубеж II и I тысячелетий до н. э.), где кости, к сожалению, не сохранились, найдена глиняная фигурка лошади¹⁸.

Данные о земледелии у андроноидных групп юга таежной зоны носят в основном косвенный характер. В отношении черкакульцев и еловцев предположение о знакомстве их с земледелием высказывались К. В. Сальниковым, В. И. Матюшенко и автором настоящей монографии. Для черкакульской культуры такие соображения основаны на находке крюкастых серпов срубного типа на оз. Песчаном близ Свердловска и на Чесноковской Пашне¹⁹; для еловской — исходили из находок обломков зернотерки на Десятковском поселении (низовья Чулыма) и фрагментов литевой формы серпа или секача на Еловском поселении²⁰. Однако даже эти скудные данные спорны: во-первых, потому, что, например, упомянутые бронзовые крюкастые серпы срубного типа с оз. Песчаного и Чесноковской Пашни не имеют четкой культурной привязки; во-вторых, из-за недифференцированности древних земледельческих и собирательных орудий.

Что касается сузгунской культуры в таежном Прииртышье, то здесь вообще нет никаких находок, которые давали хотя бы формальное основание для предположения о наличии земледелия. На сузгунских памятниках были найдены безусловные свидетельства охоты, рыболовства и скотоводства (главным образом в результате раскопок городища Чудская Гора на севере Омской области), но орудия, которые можно было бы попытаться причислить к земледельческим, там не встречены. Тем не менее мы позволим себе остановиться на земледелии андроноидного населения вообще и сузгунского в частности.

По данным конца XIX в., линия роста ячменя в Западной Сибири шла по 61-й параллели²¹. Ермак, организовавший около 1583 г. поход из Искера в земли вогулов (верховья Тавды), взял ясак у покоренных им князьцов Кашука и Тобара не мехами, а хлебом — в количестве, достаточном, чтобы обеспечить своих казаков на несколько месяцев²². Любопытна зафиксированная П. Инфантьевым черта погребального обряда у более северных вогульских групп: после похорон пол жилища посыпался ячменем — «в знак того, что здесь благоденствие и изобилие плодов земных и стало быть смерти здесь нечего делать»²³. Учитывая архаичность похоронных обычаев обских угров, можно допустить, что ритуал, характери-

зующий ячмень как жизненное благо, уходит в глубокую древность и отражает реальную значимость земледелия у таежного западносибирского населения в далеком прошлом. Правда, подобный обычай отмечен и у русских европейской части России, например в Орловской губ.²⁴, и это позволяет допустить, что у западносибирских аборигенов он возник поздно, под влиянием русских переселенцев. Однако вряд ли возможно, что столь чуждая хозяйственно-бытовому укладу вогулов черта могла внедриться в их похоронный ритуал, отличающийся к тому же большой консервативностью.

Это, так сказать, общие соображения. Если говорить о сузгунском ареале, то ландшафтно-климатические условия для земледелия здесь были лучше, чем в пределах других андронидных культур — черкаскульской и еловской. Не случайно в таежном Прииртышье находятся сейчас самые северные в Западной Сибири районы, специализирующиеся на производстве зерновых культур и продуктов животноводства (иртышская пойма в пределах Знаменского, Тевризского, Тобольского и отчасти Уватского районов). В. Ф. Зуев — один из спутников П. С. Палласа, побывавший на Иртыше в 70-х годах XVIII в., — отмечал, что «до Демьянского..., также отчасти и до Самаровского яму (т. е. до 61 параллели. — М. К.) хлебопашество у Татар и Русских имеется»; правда, В. Зуев оговаривает, что ниже Демьянского сеется только «овес, ячмень и немного ржи, иначе за морозами и мокротою не очень урожаются», а около Самарова «наиглавнейше примечено, что не все годы хлеб хорошо удаётся, а почти только в третий год»²⁵. В Прииртышье отмечен самый северный в Западной Сибири пункт дорусского земледелия: по сообщению атамана Богдана Брызги от 1583 г., татарские пашни были встречены в 50 верстах севернее устья Тобола, т. е. почти на уровне 59 параллели; он отослал из этих мест Ермаку, кроме «мягкой рухляди», значительный запас хлеба и рыбы²⁶. И, наконец, в Прииртышье найдены самые северные в Сибири археологические остатки культурных злаков: при раскопках Потчевашских курганов эпохи железа под Тобольском А. И. Дмитриев-Мамонов обнаружил большое число обугленных зерен, основная масса которых принадлежала ячменю²⁷. Таким образом, если согласиться с К. В. Сальниковым, В. И. Матющенко и др., что черкаскульцы лесного Зауралья и еловцы юго-восточной части Западной Сибири были знакомы с земледелием, то такое же предположение в отношении сузгунского населения таежного Прииртышья было бы не менее правомерным.

Думается, что в зависимости от экологических особенностей разных районов Западной Сибири манера подготовки участков под пашню в древности была не везде одинаковой. В южнотаежной части Обь-Иртышья, земледелие, видимо, было пойменным; во всяком случае, основные андронидные памятники этой территории (Сузгун II, городище Чудская Гора, Еловское и Десятовское поселения) расположены, как и южные андроновские, у широких плодородных пойм. Конечно, такая приуроченность может быть истолкована с точки зрения пастушеских, а не земледельческих удобств. Думается, однако, что здесь преследовались и та, и другая цели. В этом отношении примечательно, что русские крестьяне-переселенцы, придя в предтаежное и южнотаежное Тоболо-Иртышье, стали осваивать под пашни и пастбища в первую очередь пойменные участки²⁸.

В горнотаежных и некоторых глубинных таежных местах, где не было удобных пойма, должно было преобладать подсечное и подсечно-огневое земледелие. Эта система еще до прихода русских применялась у шорцев и северных алтайцев. Они использовали под пашни некрутые горные склоны, предварительно вырубали и выжигали лес или выбирали участки, выгоревшие от естественного пожара. Пашни были удалены от селений на значительное расстояние, иногда на десятки километров. Во время обработки земли и уборки урожая туда переселялась вся семья и там строилось временное жилище.

Первый год посев нередко проводился без рыхления земли. На обработку участка площадью 1 га мотыгой семья шорца из двух-трех человек затрачивала месяц²⁹. Даже в лучшие годы урожай обычно не превышал сам-10. На другой год урожайность снижалась и через два-три года пашня забрасывалась (если посевные культуры не чередовались, а сеялся только ячмень). Кроме хлеба, шорцы собирали на пашнях кендырь — дикую коноплю, которая предназначалась для прядения и ткачества и, видимо, использовалась в этих целях жителями Алтае-Саянского региона с древнейших времен.

Подсечно-огневая система оправдывала себя при небольшом размере пашни, т. е. преимущественно в тех случаях, когда земледелие не являлось основной формой хозяйства. Русские, практиковавшие земледелие в таежной зоне, тоже применяли подсечно-огневую систему, нередко используя под пашню выгоревшие участки тайги. В Енисейском округе пашни у русского старожильского крестьянства так и назывались — «гари» и были удалены от деревень на 15—20 и даже 40 верст³⁰.

Интересно, что все западносибирские группы, жившие ко времени прихода русских в пределах андронидного ареала (южные угры, тобольские, иртышские, томские татары, северные алтайцы), наряду с охотой и рыболовством знали скотоводство и земледелие. Такая многоотраслевая экономика должна была существовать именно в пограничье тайги и лесостепи, т. е. на территории, где, с одной стороны, имелись определенные возможности для скотоводства, земледелия, охоты, рыболовства и собирательства, а с другой стороны, отсутствие хотя бы одной из этих отраслей нарушило бы целостность хозяйственного организма, лишило бы его надежности и стабильности.

Известно, например, что в хозяйстве шорцев бассейна Томи собирательство играло такую же важную роль, как земледелие, охота и пр. Так, зиму переживали обычно те шорцы, которые заготавливали достаточное количество клубней кандыка. У северных алтайцев основной пищей бедноты в летнюю пору были, по В. И. Вербицкому, коренья и травы: кандык, сарана, колба и др.³¹ Любопытно, что собирательство имело особенное значение не в зоне присваивающей экономики, а в области многоотраслевого хозяйства южной тайги — у томских татар, шорцев, северных алтайцев, т. е. у групп, знакомых с примитивным земледелием. Собирательство здесь было связано не только со сбором ягод, кедровых орехов, стеблей съедобных растений (прежде всего колбы), но главным образом с корнекопанием. В хозяйственном календаре шорцев и северных алтайцев, наряду с месяцем «срубания» или «выдергивания» хлеба, был месяц «кандыка» — основного продукта собирательства. Возможно, все это

объясняется тем, что мотыжное земледелие у названных групп еще не отделилось полностью от генетически связанного с ним собирательства.

Возвращаясь к хозяйству населения андронидных культур эпохи бронзы, необходимо отметить, что удельный вес производящих занятий — скотоводства и земледелия был особенно высок на юге андронидного ареала³². Это объясняется тем, что чем дальше на север западносибирской тайги, тем более оправданным с экологической точки зрения были охота и рыболовство; условия же для скотоводства и земледелия прогрессирующе ухудшались. Вот что пишет П. С. Паллас о состоянии русского животноводства в 1771—1772 гг. в Самарове на Иртыше (у Ханты-Мансийска): «В Самарове очень жалуются на падеж лошадей, который особливо нынешнею зимой был силен, и сие приписывают недостатку корму, нежели чему другому: ибо прошлого года была безмерно великая водополь, каковую жители всякие десять лет примечают, которая обыкновенно на поймах траву повалая, совсем илом заваливает»³³. Еще хуже были условия для скотоводства севернее Самарова: «Из коров, кои в Обдорск для разводу привозимы бывали, не доживают... до пятого году, лошади ниже Березова нигде не держатся, и хотя старались завести в Обдорске, однако ни одного году таковые не проживали»³⁴.

Видимо, в бронзовом веке в связи с более теплым и засушливым климатом условия для многоотраслевого хозяйства на юге западносибирской тайги были лучше, чем в новое время. Нам представляется, что продвижение в глубь таежной зоны южных андроновских групп в последней четверти II тысячелетия до н. э. было облегчено «остепнением» (вследствие участвовавших лесных пожаров) значительных участков южной тайги. В целом же площадь таежных массивов вряд ли существенно уменьшилась, а может быть, даже наоборот, несколько увеличилась за счет частичного пересыхания огромнейших западносибирских болот. Поэтому условия для охотничье-рыболовческих промыслов на юге тайги во второй половине бронзового века ухудшились не слишком сильно; «остепенные» же участки благоприятствовали пастушесству и земледелию. Это и определило многоотраслевой характер хозяйства населения южнотаежной полосы Западной Сибири в андроновскую эпоху. Я не знаю, могла ли такая островная «остепенность» тайги отразиться на споро-пыльцевом спектре, но думаю, что при палеогеографической интерпретации споро-пыльцевых анализов вероятность подобной нестандартной ландшафтнoй картины должна учитываться.

Использование «остепенных» участков под пашни и пастбища препятствовало зарастанию их таежным лесом. Б. Городков, обследовавший в начале текущего столетия растительные богатства низовьев Конды, писал: «Благодаря близости селения и постоянному присутствию скота, объедающего молодые побеги деревьев, лес, будучи раз вырублен, уже не в состоянии снова завладеть отнятой у него территорией»³⁵. Засушливый климат способствовал пастушесству и земледелию в тайге еще и потому, что широчайшие поймы таежных западносибирских рек в такие годы не были подвержены сильным и длительным половодьям, что вело к увеличению пойменных угодий. Во время одного из своих путешествий по северу

Западной Сибири Б. Городков наблюдал на старицах р. Салым обширные пойменные луга, появившиеся в результате необычайно сухого лета³⁶.

В то же время повышение влажности климата в тайге губительно сказывалось на скотоводстве и земледелии. Если в степной зоне при больших половодьях скот можно было пасти в открытых степях, то в тайге, где летние пастбища и сенокосы находятся преимущественно в пойменных местах, чрезмерные разливы рек почти наверняка вели к гибели части домашнего стада. Так, в Самарове, по свидетельству Ф. Белявского, скот во время разлива отводил в кедровый лес, оставляя его там до возвращения рек в берега; в это время значительная его часть уничтожалась волками и медведями³⁷. М. А. Кастрен, побывавший в середине прошлого столетия в Сургутском Приобье, отметил следующее: «Вследствие необыкновенно сильного разлива многие остяцкие семейства должны были оставить свои жилища и бежать в леса, где приходилось питаться только тощими зайцами. Тем, у кого были лошади и коровы, стоило немало труда сохранить их. Весенняя рыбная ловля всюду была очень неудачна, а начать ловлю обыкновенным летним способом, то есть неводами, не было никакой возможности, потому что и к концу июля все берега, способные для этой ловли, находились еще под водою. Точно так же не сбыла она и с лугов, и это лишало надежды запастись на зиму сеном»³⁸.

При увлажнении климата в тайге страдало и земледелие. Если оно было пойменным, то пашни гибли от высоких и длительных половодий; если оно было подсечно-огневым, то обрабатываемые участки пашни быстро зарастали молодой древесной порослью или заболачивались. Эти неблагоприятные обстоятельства усугублялись тем, что периодические многовековые увлажнения климата на Западно-Сибирской равнине сопровождались, по мнению специалистов, общим похолоданием, и отсюда сокращением вегетационного периода и увеличением вероятности летних заморозков. Здесь обращает на себя внимание несходство экономического эффекта повышения увлажненности в таежной и степной зонах. Если в тайге большая вода ухудшала условия для рыболовства, охоты, скотоводства и земледелия, то в степной зоне повышенная увлажненность, не благоприятствуя пойменному земледелию (на севере аридного пояса), способствовала поливному земледелию (в сухих степях и полупустынях), улучшала возможности для рыболовства, охоты и кочевого скотоводства.

В пограничье тайги и лесостепи так же, как и в степной зоне, с приближением к эпохе железа наблюдается тенденция к увеличению доли лошади в стаде, причем на севере эта тенденция была выражена сильнее, чем на юге. Так, лошадь у населения саргатской культуры эпохи раннего железа в лесостепном Прииртышье составляла около 60% от всех видов домашнего скота³⁹, а количество лошадей, находившихся во владении нижнетомского населения VII—III вв. до н. э. (юг таежной зоны), по данным Л. М. Плетневой, в 6 раз превышало число крупного и мелкого рогатого скота, вместе взятого⁴⁰. Предпочтение, отдаваемое лошади в южной тайге, объясняется, видимо, не только ее способностью добывать корм из-под значительной толщи снега, но и другими качествами, отличающими ее от остальных домашних копытных. Известно, например, что лошади по сравнению с другими видами скота не так часто гибнут в болотных

топях и менее страдают от медведей, хотя предоставлены сами себе практически все лето ⁴¹. Н. П. Григоровский, обследовавший васюганских остяков в начале 80-х годов прошлого столетия, насчитал в 32 селениях (всего 136 жилищ) 208 лошадей и 14 коров, причем последние имелись лишь в двух селениях и в основном принадлежали священнику, псаломщику и вахтеру. Овец, свиней и коз на Васюгане вообще не было ⁴².

Видимо, для севера лесостепи и юга таежной зоны в связи с длинными многоснежными зимами и невозможностью круглогодичного содержания скота на подножном корму всегда остро стоял вопрос о продкормке скота, прежде всего коров и овец, зимой. Скудное зимнее питание вряд ли способствовало высокой мясной и молочной продуктивности скота. Известно, что алтайцы заготавливали от одной коровы 50 «сырчиков», что хватало на семью из трех-четырех человек не более чем на месяц ⁴³. Надо полагать, что молодняк в зиму оставлялся в небольшом количестве. Основная масса его забивалась с наступлением морозов. Л. М. Плетнева, основываясь на данных по этнографии западносибирских татар, считает, что на зиму оставляли лишь тот скот, который был необходим для воспроизводства стада; он в основном и обеспечивался зимним кормом ⁴⁴.

В эпоху железа в пределах бывшего андронидного ареала заметно возрастает роль охоты. Если в бронзовом веке кости диких животных в культурном слое лесостепных иртышских поселений составляли по числу особей около 10% ⁴⁵, то в эпоху раннего железа, судя по остеологическим материалам памятников саргатской культуры, их доля увеличилась до 21,1% ⁴⁶. Если на южной окраине восточноуральской тайги в культурном слое черкаскульских поселений эпохи бронзы преобладали кости домашних животных, то в начале железного века их доля уменьшилась здесь до 38,5% ⁴⁷. Основную массу охотничьей добычи населения саргатской культуры лесостепного Прииртышья составлял лось (41,3% от числа всех диких животных), второе место занимала косуля (23,9%), третье — кабан (8,7%) ⁴⁸. Пушной зверь представлен единичными экземплярами.

Известное значение имело рыболовство, причем в железном веке по сравнению с эпохой поздней бронзы роль его в лесостепном Прииртышье тоже несколько возросла. Кости рыб встречены на городищах Богдановское и Горский Лог, на Коконовском поселении и других памятниках. По определению Е. А. Цепкина, они принадлежали щуке, окуню и язю. Размеры щук на Коконовском поселении колебались от 42 до 115 см. Остатков каких-либо орудий лова не обнаружено. В. А. Могильников предполагает, что, возможно, «существовало запорное и сетевое рыболовство» ⁴⁹.

Роль охотничье-рыболовческих занятий в раннем железном веке особенно заметно повысилась в Новосибирском Приобье. Если в эпоху бронзы кости диких животных составляли в культурном слое местных (ирменских) поселений 1—2% от общего количества остеологического материала, то в конце I тысячелетия до н. э. число костей представителей дикой фауны возросло до 31—37% ⁵⁰. Резко увеличилось и значение рыболовства. На поселении Дубровинский Борок, относящемся к рубежу нашей эры, где было вскрыто всего лишь около 80 кв.м, найдено 78 каменных грузил для сетей ⁵¹.

Лесостепное западносибирское население эпохи железа было знакомо с земледелием, хотя вещественные свидетельства на этот счет весьма незначительны. В. А. Могильников считает, что наконечниками мотыг для обработки почвы могли служить железные тесловидные кельты-«копалки», найденные на Каргановском городище, а также в Андреевском, Фоминцевских и Абатских курганах⁵². Для переработки зерна использовались каменные зернотерки⁵³.

Основываясь на археологически выявленной тенденции к увеличению у населения саргатской культуры в Прииртышье доли лошади в стаде, В. А. Могильников полагает, что это свидетельствует о постепенном «нарастании элементов кочевого хозяйства». «Очевидно, — пишет он далее, — в I—II вв. здесь завершался процесс перехода от оседлости к кочеванию, аналогичный тому, что привел к появлению кочевников в степях Евразии в начале раннего железного века. Только в лесостепи это явление совершилось на тысячу лет позже, чем в степи»⁵⁴.

Хотя В. А. Могильников наверное правильно увидел тенденцию к нарастанию элементов кочевого быта в западносибирской лесостепи в эпоху раннего железа, его манера общей оценки хозяйства местного населения в это время представляется нам несколько односторонней. Он не вполне учел, что возрастание доли лошади в стаде само по себе, вне конкретной ландшафтно-климатической ситуации, не обязательно свидетельствует о переходе к кочевничеству. Для пограничья тайги и лесостепи, а также для юга таежной зоны тенденция к численному преобладанию лошади скорее объясняется тем, что конец бронзового века и начало эпохи железа сопровождалось повышением снежности зим. В этих условиях лошадь, учитывая ее способность добывать подножный корм из-под значительной толщи снега, стала здесь более рациональным животным, чем корова, овца и свинья.

Думается, что элементы кочевого быта получили значительное распространение лишь на южной окраине саргатского ареала. В целом же на севере лесостепной и на юге таежной зон преобладало в эпоху железа многоотраслевое хозяйство, сочетавшее в той или иной пропорции (в зависимости от конкретных ландшафтно-климатических обстоятельств) скотоводство, земледелие, охоту и рыболовство. Рациональность здесь многоотраслевой экономики проявилась, в частности, в том, что она обладала большими адаптивными возможностями, чем охотничье-рыболовческое хозяйство тайги и пастушеско-земледельческое и скотоводческое хозяйство степной зоны. В плохие для охотничье-рыболовческих занятий годы носители многоотраслевого хозяйства могли переключаться на преимущественно пастушеско-земледельческий образ жизни и наоборот; недостаток заготовленного на зиму рыбного продукта мог быть возмещен хлебным запасом; уменьшение количества домашнего скота можно было в какой-то мере компенсировать интенсификацией охоты.

Ведущиеся иногда среди археологов разговоры о необходимости определить чуть ли не точный удельный вес разных хозяйственных отраслей в пределах ареала многоотраслевой экономики отражают, нам кажется, недопонимание сути многоотраслевого хозяйства, которое потому и рационально, что способно постоянно менять количественное соотношение и производственную значимость разных своих сторон и звеньев.

Экологические факторы древней торговли

В предшествующих главах мы охарактеризовали три основных экономических области в пределах Западной Сибири, сложившихся в далекой древности: 1) ареал производящего хозяйства (степная полоса и юг лесостепи); 2) ареал традиционной присваивающей экономики (тайга и тундра); 3) ареал многоотраслевого хозяйства, сочетавшего производящие занятия и присваивающие промыслы (юг тайги и север лесостепи). Внутри этих трех огромнейших областей, в свою очередь, наблюдается локальная экономическая дифференциация, особенно четко выраженная в зоне присваивающей экономики севера Западной Сибири, внутри которой мы выделили четыре специфических типа присваивающего хозяйства.

Несходство природных условий привело к локальной специализации производства и, в частности, к тому, что при наличии или даже избытке в определенном месте одного вида продукта могла возникнуть нужда в продуктах, которыми были богаты другие районы. «Различные общины, — писал К. Маркс, — находят различные средства производства и различные жизненные средства среди окружающей их природы. Они различаются поэтому между собой по способу производства, образу жизни и производимым продуктам. Это — те естественно выросшие различия, которые при соприкосновении общин вызывают взаимный обмен продуктами, а следовательно, постепенное превращение этих продуктов в товары»⁵⁵. Здесь К. Маркс со всей определенностью подчеркивает, что несходство экологических условий разных районов (а отсюда и экономические различия между ними) явилось фактором, стимулировавшим древнюю меновую торговлю.

Можно говорить применительно к Западной Сибири о двух путях или двух уровнях древнего обмена: а) обмен внутри больших экономических ареалов между носителями разных хозяйственных типов; б) обмен между населением разных экономических областей.

Характер меновой торговли между носителями разных хозяйственных типов (внутри того или иного экономического ареала) археологически улавливается слабо. В тех случаях, когда мы выясняем, что древнее население какого-то таежного района изготовляло свои каменные орудия из сырья, месторождения которого находятся за сотни километров — в другом таежном районе, можно предполагать, что одним из объектов меновой торговли было каменное сырье. Так, сейчас установлено, что в первой половине бронзового века часть камня, использовавшегося населением Васюганья для изготовления каменных орудий, поступала с верховьев Кети и из Кузнецкого Алатау⁵⁶. Но это мало что вносит в понимание содержания древнего обмена. Во-первых, мы не знаем, на что обменивалось каменное сырье; во-вторых, возможно, что в данном случае обмена, как такового, не было: не исключено, что месторождения камня были, так сказать, «общей» территорией, куда могло приходить население всех окрестных районов, нуждавшееся в материале для изготовления каменных орудий.

Несколько определеннее можно говорить об обмене готовыми изделиями из камня и металла. В саянско-сейминскую эпоху наблюдается массовое распространение на восток, вплоть до Забайкалья, по югу таеж-

ной зоны и северу лесостепи бронзовых кельтов и копий турбинско-сейминских типов (рис. 20, 1, 3, 4) и встречное движение до Прикамья и бассейна Оки изделий из байкальского нефрита — прежде всего колец и просверленных дисков глазковского типа. Вполне вероятно, что турбинско-сейминские бронзовые изделия и упомянутые нефритовые вещи были эквивалентами меновой торговли. В этой связи любопытно, что в тех случаях, когда первобытные «деньги» были каменными, они, судя по этнографическим материалам, полученным, правда, для Южного полушария, обычно представляли собой каменные кольца и просверленные диски⁵⁷, в общем похожие на глазковские⁵⁸, что, может быть, нельзя считать простым совпадением.

Принципиальная возможность использования определенных категорий металлических предметов в качестве эквивалентов обмена засвидетельствована более поздними археологическими материалами. Так, Б. Н. Граков вслед за другими исследователями высказал весьма доказательное мнение, что в скифское время начиная с VI—V вв. до н. э. бронзовые наконечники стрел использовались в качестве монет. Этим он объясняет, в частности, необыкновенное обилие бронзовых наконечников в колчанах, найденных при некоторых скифских захоронениях (до 200—380 штук)⁵⁹.

Однако наиболее постоянным и непреходящим эквивалентом меновой торговли у кочевников степей были не предметы ремесла, а основной, наиболее значимый продукт их хозяйства — скот. «Форма денег, — отмечал К. Маркс, — срastaется или с наиболее важными из предметов, которые получают путем обмена извне и действительно представляют собой естественно выросшую форму проявления меновой стоимости местных продуктов, или же — с предметом потребления, который составляет главный элемент местного отчуждаемого имущества, как, например, скот. Кочевые народы первые развивают у себя форму денег, так как все их имущество находится в подвижной, следовательно непосредственно отчуждаемой, форме и так как образ их жизни постоянно приводит их в соприкосновение с чужими общинами и тем побуждает к обмену продуктов»⁶⁰.

Этнографические материалы говорят о том, что в кочевых обществах в каждый данный период существовал своего рода «прейскурант» стоимостного соотношения разных видов скота, причем это соотношение было не вполне однозначным не только в зависимости от времени и географических условий, но, видимо, и от назначения сделки. У казахов в 20—30-х годах XIX в. при уплате штрафа за оскорбление, увечье, воровство и другие преступления один верблюду приравнивался к трем лошадям и 10 баранам⁶¹. А. К. Гейнс, будучи в 1865 г. в Каркалинском округе Киргизского края, застал здесь следующее стоимостное соотношение разных видов скота: «Быки оцениваются на баранов по возрасту. Талача или двухлетний бык — два барана; трехлетний — четыре барана; четырехлетний — шесть баранов... Лошади оцениваются вообще по достоинству; но иногда и именно в валовых расчетах с киргизами принимаются среднюю цену за шесть баранов, но в этих случаях киргизы дают самых дурных лошадей»⁶². По наблюдениям Г. В. Кравцова, в 1870-х годах за единицу калыма казахи принимали одну лошадь, которую можно было заменить пятью овцами, двумя годовалыми телятами или одной коровой; за две единицы

принимались один верблюд и одна кобыла-матка⁶³. В конце XIX в. русская администрация, чтобы облегчить определение степени зажиточности казахов-кочевников, закрепила твердое стоимостное соотношение разных видов скота, которое считалось тогда наиболее соответствующим действительности. За основную единицу, согласно традиционному мерилу, была принята лошадь. Отсюда: двухлеток = 1/2 лошади, жеребенок = 1/6 лошади. Корова = 5/6 лошади, двухлеток = 1/2 коровы, теленок = 1/6 коровы. Верблюд = 2 лошадям, двухлеток = 1 лошади, годовалый = 1/2 лошади. Овца и коза = 1/6 лошади⁶⁴.

Лошадь была основным мерилем стоимости и у других скотоводческих народов Сибири. Иногда это отражалось в манере словообразования. У якутов, по сообщению Д. Кочнева, «слово ат — лошадь — служит корнем во всех словах, означающих мену (атастасабын), куплю-продажу (атыласабын) и торговлю (аты) и т. д.»⁶⁵.

У этнографически изученных аборигенов севера Сибири в их торговых отношениях между собой основным эквивалентом обмена были шкуры и изделия их них. Среди коренного населения Енисейского Севера издавна славились кетские луки, осетровый клей и инструменты для обработки шкур. В обмен на эти изделия кеты получали оленье шкуры, камусы, а также некоторые виды готовой продукции — ненецкую глухую одежду, камусную обувь и пр.⁶⁶ Тунгусский род Момоль на Енисее, славившийся искусными кузнецами, продавал другим тунгусским родам железные изделия в обмен на покрышки для чумов, лосиные шкуры, турсуки, коврики (оленье попоны) и др. Продажей железных вещей руководил военный вождь, причем они должны были продаваться родственным родам в справедливой пропорции. Остальные вещи менялись без ограничений⁶⁷.

По свидетельству Ф. Страленберга, у коряков прежде большим спросом пользовался применяемый ими в качестве наркотического опьяняющего средства гриб мухомор, в обмен на который они давали белок, лисиц, горностаев и соболей. В первой половине XVIII в. основными поставщиками мухомора корякам были русские купцы⁶⁸.

Согласно документам Сибирского приказа, казымские и обдорские остяки «которого лета больше рыбы добывали, и на сухую и на жир рыбеи покупали у тундряной самояди мягкую рухлядь и тем свои нужды исполняли»⁶⁹. В начале текущего столетия восточные самоеды приобретали у остяков юколу, свежую рыбу, меха лесных зверей почти исключительно в обмен на оленей. Нарту юколы выменивали на одного оленя-быка или важенку; взрослого оленя приравнивали к 60 белкам и 100 большим озерным чирам, за черную лисицу брали трех оленей⁷⁰. В данном случае характер обмена напоминает отчасти обменные операции между охотничье-рыболовческим населением тайги и степными скотоводами.

Предметами обмена между населением разных экономических ареалов были, видимо, более специализированные продукты, отражавшие принципиальное несходство экономического уклада обществ, осуществлявших обменные операции. Мы уже обращали внимание на большой процент костей бобра на Еловском поселении, где он составляет по числу особей почти половину всей охотничьей добычи. Возможно, этот факт отражает усиление уже на поздних этапах бронзового века спроса на пушнину со стороны

южных соседей. Экономические связи между северным охотничье-рыболовческим миром и торгово-ремесленными центрами Средней и Передней Азии особенно усиливаются в эпоху железа. В это время в обмен на пушнину из южных стран широким потоком идут на север Сибири предметы художественного ремесла, металлическая посуда, ткани, оружие и т. д. Находки в предтаежном Обь-Иртыше бактрийского и парфянского художественного серебра⁷¹, южных по происхождению шлемов⁷², согдийской и болгарской серебряной и позолоченной посуды⁷³, а также прекрасно выделанных кольчуг, лат и другого воинского снаряжения (рис. 22, 5, 8, 11, 12, 15 и др.) с несомненностью свидетельствуют о том, что таежные аборигены стремились в первую очередь приобретать дефицитные предметы высококачественного южного ремесла.

Подобный же характер носил обмен северных охотников с южными скотоводами и земледельцами в сравнительно недавние времена. Так, тунгусы получали от якутов в обмен на пушнину различные предметы роскоши: серебряные кольца, поясные наборы, женские нагрудные украшения. Ангарские тунгусы, судя по документам Сибирского приказа, покупали в XVII в. за соболей у даурских (конных) тунгусов «серебро и платье и дорогое камчатое лоскутье»⁷⁴. У скотоводов юга таежное западносибирское население покупало также лошадей, кости которых нередко встречаются на древних памятниках Нарымского и Сургутского Приобья⁷⁵, и, возможно, некоторые продукты скотоводческого хозяйства. Так, до недавнего времени у таежных и тундровых народов самым прочным и самым удобным материалом для вязания сетей считался конский волос. «Поэтому, — сообщает А. А. Попов, — конский волос и сети, плетеные из него, были предметом широкого обмена и торговли между южными скотоводами и охотниками и оленеводами севера»⁷⁶.

Пушнина ко времени прихода в Сибирь русских была основным показателем богатства; она занимала почетное место в сокровищницах остяцких князей и служила предметом специализированного промысла⁷⁷. Между Бухарой и Искером существовала регулярная караванная связь, проходившая в сибирской части маршрута вдоль р. Вагай, на которой, согласно некоторым сведениям, в надежде встретить и взять под защиту будто бы задерживаемый татарами бухарский караван был застигнут врасплох и погиб Ермак. Думается, что этот удобный путь связей Западной Сибири с югом был традиционным и им пользовались с глубокой древности.

Во второй половине прошлого столетия, когда западносибирский Север сильно оскудел пушным зверем, основным эквивалентом обмена у обдорских и березовских аборигенов (перешедших к преимущественно рыболовческому образу жизни) в их торговых операциях с русскими и зырянскими купцами стал муксун. За пуд муки остяки и самоеды платили в Обдорске четыре муксуна, ниже — 10 муксунов, в Надыме — 13—15 муксунов. Пуд соли стоил в Обдорске 10 муксунов, в Надыме — 25—30 муксунов. За пуд табака платили от 100 до 300 муксунов. Два медных кольца стоимостью 1/2 коп. шли в Надыме за 1 муксуна и т. д.⁷⁸ Приведенные сведения говорят о том, что меновая стоимость и эквиваленты обмена на территории Сибири могли быть достаточно динамичными категориями, изме-

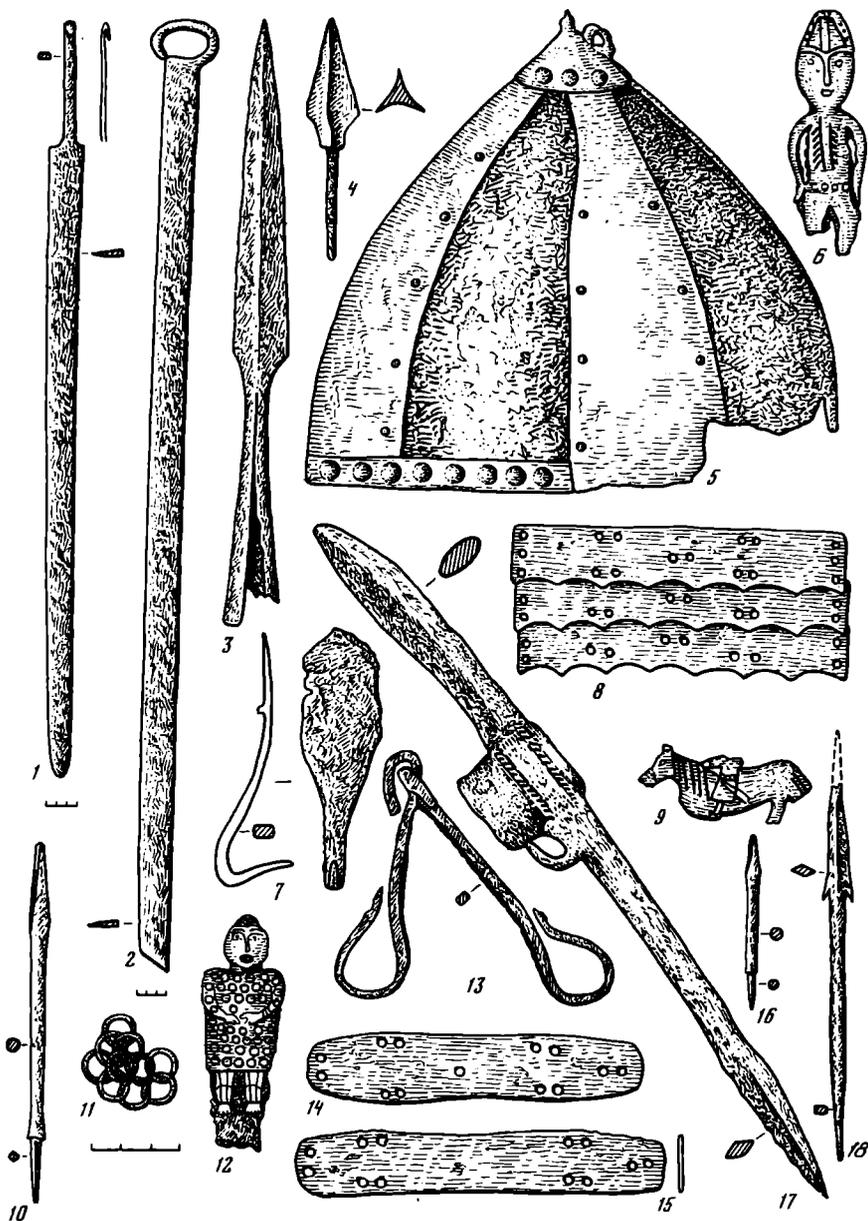


Рис. 22. Тажное Обь-Иртышье. Находки, связанные с жизнью и деятельностью древних «богатырей». Раннее средневековье (VI—VIII вв.)

1, 4, 5, 7—11, 13—18 — могильник Релка; 2, 3 — Ерыкаевский клад; 6 — Тюменская обл.; 12 — Парабельский клад.

4, 5 — бронза и железо; 6, 9, 12 — бронза; остальное — железо

няясь в зависимости от особенностей природной среды, от перемены экологических условий, «моды» и исторической обстановки.

Особенно неразрывными были торговые отношения между кочевниками степей, с одной стороны, и жителями земледельческих оазисов и торговоремесленных центров, с другой. Экономическая односторонность кочевого хозяйства вызывала постоянную нужду степняков в предметах ремесленного производства и в продуктах земледелия. Эта нужда и эта односторонность в полной мере проявлялись и в новое время, когда наладились регулярные торговые связи России с кочевниками казахстанских степей. Интересен приведенный П. С. Палласом перечень товаров, которыми в 1770 г. обменивались в Троицкой крепости на Южном Урале русские купцы и казахи Средней Орды. Казахи поставляли скот и отчасти выделанные шкуры домашних и диких животных. Что же они получали в обмен? П. С. Паллас сообщает на этот счет следующее: «Ордою сею за скот получаемые товары суть: красныя и малиновыя от самого лучшаго до наихудшаго разбора сукна, яйцкие камлоты лучшей доброты от киргизских, каламенки, белой и синей холст, на салфетки и на полотенцы полотно, китаяка, китайский и иностранной бархат, старые и новые шелковыми и полушелковыми материалами покрытые меха, беличьи, лапковые, лисьи и прочие хорошие лисьи, выдровые и бобровые мехи на опушку шапок, тонкие шелковые платки, пестрый холст для платков, бумажные и шелковые Астраханские поясы, юфти и сафьяны, различные женские приборы, косы, кисти, нагрудники, битые жестянки, стеклянные прониски, бисеры, жемчуг, улитки земайнными головками называемые, зеркала, гребешки, бритвы, иглы, булавки, шелк для шитья, белилы и румяны, также: различная литая и кованая железная рухлядь, котлы, треножники, таганы, цепи конские уборы, замки, капканы, топоры, ножи, ножницы, огнива, пряжки медныя, железные и оловянные пуговицы, ливеры, игольники, табакерки, трубки, табачные роги, медь в кусках и в досках и олово, железные проволоки, нечто из оловянной посуды, деревянные крашенные и простые стаканы, блюда, маленькие обитые сундуки, материалы к крашению надобные, квасцы, купорос, сера, красной воск, сургуч, смола, крупы, ржаной и пшеничный хлеб, простой чай, сено и пр.»⁷⁹.

Перечисленный набор, судя по статистике торговых операций в Оренбурге, оставался практически неизменным и 60 лет спустя: «В замен отдаваемого киргизами скота и других произведений своих, — писал А. Левшин о казахах 20—30-х годов прошлого столетия, — получают они из России разные железные, чугунные и медные вещи, например, иглы, ножницы, ножи, топоры, косы, замки и проч.; равным образом бархаты, сукна, парчи, шелковые ткани, позументы, платки, ленты, выбойки, тесемки, сундуки, квасцы, купорос, бисер, маленькие зеркала, холст, нюхательный табак, белилы, румяны, выделанные кожи или юфть, шкуры выдровые, муку и пр.»⁸⁰. И далее: «Китайцы наиболее снабжают киргиз-казаков шелковыми тканями, фарфором, парчами, лакированную посудой, иногда чаем, серебром и разными изделиями своих мануфактур. Бухарцы, хивинцы и ташкентцы также большею частью променивают им бумажные и шелковые ткани, стеганные халаты, ружья, сабли, порох и проч. Взамен же из орд киргизских, сверх произведений скотоводства, получают они неволь-

ников, увозимых с границ русских»⁸¹. В эпоху средневековья кочевники степного Казахстана, видимо, имели достаточно тесные экономические связи с Волжской Болгарией; во всяком случае, юфть (выделанная кожа), которую в XVIII—XIX вв. они получали от русских, называлась у них «болгара»⁸².

Любопытны сведения о торговле между кочевыми казахами северных степей и их полуседлыми единоплеменниками долины р. Чу, занимавшимися наряду со скотоводством земледелием. Здесь основными эквивалентами меновой торговли выступали в конце прошлого столетия овца и определенная мера зерна. В 1898 г. овца стоила 3,5 пуда пшеницы, а кусок кошмы в 7 аршин длины и 3 аршина ширины — до 7 пудов пшеницы, что было эквивалентно двум овцам⁸³.

Между оседлыми и кочевыми обществами мог вестись обмен и готовыми пищевыми продуктами, специфичными для того или иного типа хозяйства. Шорцы бассейна Томи иногда заготавливали на зиму так много клубней кандыка, что часть его поступала к соседним племенам бассейна р. Абакан — к качинцам и сагайцам — в обмен на консервированные молочные продукты (главным образом сыр курут)⁸⁴. Еще большую роль в обменных операциях шорцев играли предметы кузнечного ремесла, которые они обменивали у кочевников на скот. Этот факт чрезвычайно интересен. Он наводит на мысль, что предки шорцев в прошлом предпочитали не разводить скот, а выменивать его у соседей-скотоводов на металлические изделия уже во взрослом состоянии. Это избавляло их от забот, касающихся зимовки и ряда других неудобств, связанных с сохранением и выращиванием молодняка в суровых условиях бассейна Томи.

Покупка скота, видимо, не была особенно обременительной для шорцев, так как в основном сводилась к обмену на предметы из металла, а шорцы издавна славились на всю Сибирь как искуснейшие кузнецы (отсюда и русское название района их обитания «Земля Кузнецкая»). Здесь напрашивается весьма любопытная аналогия с населением древней самусьской культуры, жившем в бассейне Томи примерно в XVI—XIII вв. до н. э. и прославившем себя как замечательные бронзолитейщики⁸⁵. Не исключено, что значительная часть отливавшихся на Самусьском IV поселении металлических изделий (в основном кельтов и копий) предназначалась для обмена на скот у более южных пастушеско-земледельческих групп Алтае-Саянского региона. Если это так, то роль скотоводства у населения самусьской культуры во многом зависела от интенсивности их бронзовой металлургии, и тогда становится понятным необыкновенное обилие форм для отливки этих орудий на Самусьском IV поселении в низовьях Томи.

Судя по этнографическим материалам, предметами обмена могли быть и культовые вещи. Южные ненцы, например, покупали на Севере, у прибрежных ненцев, клыки белого медведя, которые те и другие носили на поясе, считая, что они оберегают от злых духов и приносят удачу в охоте. Но чаще всего покупались не культовые предметы как таковые, а изделия, воспринимаемые аборигенами как культовые. Так, остяки и вогулы до революции приобретали на Ирбитской ярмарке русских кукол и использовали их в качестве домашних идолов⁸⁶.

В западносибирской тайге найдено довольно много бактрийского и парфянского художественного серебра. Особенно интересны медальоны с изображением парфянских царей⁸⁷. Примечательно, что их находят обычно в местах древних западносибирских святилищ. Судя по боковым дырочкам, они прибивались к деревянной основе, скорее всего к лицевой части идолов, т. е. изображали уже местных богов.

Не менее любопытны находки в урало-западносибирской тайге серебряной посуды, прежде всего восточных среднеазиатских и переднеазиатских блюд — разных по месту и времени изготовления. Этнографически засвидетельствовано, что блюда из светлого металла пользовались у западносибирских аборигенов особым спросом. По наблюдениям Д. Н. Анучина, «вогулы и остяки добывают... требуемые для их святилищ серебряные тарелочки от русских, заказывая их даже нарочно, через посредство знакомых купцов»⁸⁸. Один из английских авторов начала XVII в., перечисляя русские товары, пользующиеся особым вниманием северных западносибирских народов, называет в первую очередь олово, оловянные блюда, тарелки, миски, чашки, солонки, листовую латунь и лишь затем ткани и другие товары⁸⁹. Дело в том, что жертвенную пищу во время ритуальных церемоний обские угры должны были приносить в серебряной или оловянной посуде. В других обрядах серебряные, оловянные, иногда медные тарелки символизировали у таежных западносибирских аборигенов Солнце и Луну. В свете этого становится понятным широкое распространение в урало-западносибирской тайге восточных серебряных блюд, находки которых нередки в древних святилищах. Видимо, их стоимость в древности была очень высокой. Об этом можно судить из того, что за металлические сосуды обские угры платили, не скупясь, и в сравнительно недавние времена. Известно, например, что в первой половине прошлого столетия группа березовских вогулов заплатила за обычную медную луженую чашу 100 белок; купленный сосуд использовался для собирания крови жертвенных животных⁹⁰.

И. Смирнов со ссылкой на С. Патканова сообщает о поляке из Тобольска, «который специально занимался изготовлением металлических шайтанов для остяков и за моделями — древними идолами совершал поездки по остяцкому краю»⁹¹. Сибирские аборигены испытывали интерес к чужим «шайтанам» и стремились приобрести их, если они казались более сильными. Даже шаманы иногда покупали друг у друга духов-помощников или обменивались ими. Такие случаи зафиксированы, например, у юраков (западносибирских ненцев) и енисейских остяков (кетов)⁹².

Нельзя считать правильным распространенное мнение, что культовые изделия в Сибири не могли быть предметами обмена и что их появление в других местах свидетельствует о перемещении этнических групп⁹³. Стремление абсолютизировать именно этот вариант распространения культовых вещей чревато односторонними выводами. Вопрос о причинах и путях «движения» культовых предметов так же сложен и неоднозначен, как и само понятие «культовый предмет».



- ¹ Матющенко В. И., 1960, с. 11; Косарев М. Ф., 1974, с. 78.
- ² Косарев М. Ф., 1966.
- ³ Матющенко В. И., 1973б, с. 67—68.
- ⁴ Косарев М. Ф., 1974, рис. 15.
- ⁵ Черников С. С., 1960, с. 31; Бадер О. Н., 1970, с. 106.
- ⁶ Раушенбах В. М., 1956, с. 125.
- ⁷ Косарев М. Ф., 1981.
- ⁸ Патрушев В. С., 1971, с. 38—40.
- ⁹ Пизнатти В. Н., Ивановский В. А., Гладышев Т. П. и др., 1911, с. 14.
- ¹⁰ Народы Сибири, 1956, с. 500.
- ¹¹ Матющенко В. И., 1973б, с. 68.
- ¹² Кирюшин Ю. Ф., 1976, с. 14.
- ¹³ Косарев М. Ф., 1981.
- ¹⁴ Матющенко В. И., 1974, рис. 54, 4; 87, 12. Ср.: Агеева Е. И., Пацевич Г. И., 1956, рис. 21; Максимова А. Г., 1962, рис. 14, 7.
- ¹⁵ Гундризер А. Н., 1966, с. 123.
- ¹⁶ Кирюшин Ю. Ф., 1976, с. 14.
- ¹⁷ Чиндина Л. А., 1976, с. 167; Елькина М. В., 1976, с. 241.
- ¹⁸ Мошинская В. И., 1957, с. 119.
- ¹⁹ Сальников К. В., 1967, с. 368—369.
- ²⁰ Косарев М. Ф., 1974, с. 113.
- ²¹ Крутковский В., 1898, с. 61.
- ²² Миллер Г. Ф., 1937, с. 251.
- ²³ Инфантьев П., 1909, с. 207.
- ²⁴ Волков И. В., 1905.
- ²⁵ Паллас П. С., 1788, с. 17.
- ²⁶ Миллер Г. Ф., 1937, с. 340, 492.
- ²⁷ Флоринский В. М., 1894.
- ²⁸ Щуцков В. И., 1956, с. 263, 270; Асалханов И. А., 1975, с. 208.
- ²⁹ Потапов Л. П., 1952, с. 176.
- ³⁰ Крутковский В., 1898, с. 62—63.
- ³¹ Вербицкий В. И., 1893, с. 15.
- ³² Косарев М. Ф., 1981.
- ³³ Паллас П. С., 1788, с. 19.
- ³⁴ Там же, с. 27—28.
- ³⁵ Городков Б., 1910, с. 25.
- ³⁶ Городков Б., 1913, с. 22.
- ³⁷ Белявский Ф., 1833, с. 11.
- ³⁸ Кастрен М. А., 1860, с. 239.
- ³⁹ Могильников В. А., 1976, с. 179.
- ⁴⁰ Плетнева Л. М., 1971, с. 47.
- ⁴¹ Городков Б., 1912, с. 194.
- ⁴² Григоровский Н. П., 1884, с. 59.
- ⁴³ Народы Сибири, 1956, с. 343.
- ⁴⁴ Плетнева Л. М., 1977, с. 47.
- ⁴⁵ Смирнов Н. Г., 1975.
- ⁴⁶ Могильников В. А., 1976, с. 180.
- ⁴⁷ Стоянов В. Е., 1977, с. 152—153.
- ⁴⁸ Могильников В. А., 1976, с. 180.
- ⁴⁹ Там же, с. 182.
- ⁵⁰ Троицкая Т. Н., 1976.
- ⁵¹ Там же, с. 165.
- ⁵² Могильников В. А., 1976, с. 176.
- ⁵³ Там же, с. 182.
- ⁵⁴ Там же.
- ⁵⁵ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 364.
- ⁵⁶ Кирюшин Ю. Ф., Малолетко А. М., 1976, с. 97—99.
- ⁵⁷ Массон В. М., 1976, рис. 9.
- ⁵⁸ Окладников А. П., 1955, табл. IV; VI; рис. 61—67; 74—79; Бадер О. Н., 1964, рис. 88; 89.
- ⁵⁹ Граков Б. Н., 1968.
- ⁶⁰ Маркс К., Энгельс Ф., Соч., т. 23, с. 98—99.
- ⁶¹ Левшин А., 1832, ч. 3, с. 174.
- ⁶² Гейнс А. К., 1897, с. 320.
- ⁶³ Кравцов Г. В., 1877, с. 25.
- ⁶⁴ Чермак Л., 1898, с. 20.
- ⁶⁵ Кочнев Д., 1899, с. 58.
- ⁶⁶ Народы Сибири, 1956, с. 689; Алексеенко Е. А., 1967, с. 77.
- ⁶⁷ Анисимов А. Ф., 1936, с. 131—132.
- ⁶⁸ Strahlenberg Ph., 1893, р. 247.
- ⁶⁹ Бахрушин С. В., 1935, с. 10.
- ⁷⁰ Бытовые рассказы энцев, 1962, с. 183.
- ⁷¹ Тревер К. В., 1940; Кинжалов Р. В., 1959; Косарев М. Ф., 1974.
- ⁷² Чернецов В. Н., 1953а, с. 164; Чиндина Л. А., 1977, рис. 10, в.
- ⁷³ См. например: Викторова В. Д., Елькина М. В., Федорова Н. В., Чемакин Ю. П., 1974, с. 187.
- ⁷⁴ Анисимов А. Ф., 1936, с. 135.
- ⁷⁵ См., например: Елькина М. В., Федорова Н. В., Чемакин Ю. П., 1975; Елькина М. В., 1976; Чиндина Л. А., 1976, с. 167.
- ⁷⁶ Попов А. А., 1955, с. 93—94.
- ⁷⁷ Бахрушин С. В., 1935.
- ⁷⁸ Воронов А. Г., 1900, с. 30—31.
- ⁷⁹ Паллас П. С., 1786, с. 383—384.
- ⁸⁰ Левшин А., 1832, ч. 3, с. 218—219. По данным А. К. Гейнса, казахи в 60-х годах XIX в. продавали в Россию от 500 тыс. до 800 тыс. овец и от 20 тыс. до 40 тыс. лошадей. Примерно столько же скота ежегодно отправлялось за пределы Российской империи.
- ⁸¹ Левшин А., 1832, ч. 3, с. 236.
- ⁸² Там же, с. 229.
- ⁸³ Чермак Л., 1898, с. 18.
- ⁸⁴ Народы Сибири, 1956, с. 504.
- ⁸⁵ Косарев М. Ф., 1974, с. 78—94.
- ⁸⁶ Гондатти Н. Л., 1888а, с. 111.
- ⁸⁷ Кинжалов Р. В., 1959; Косарев М. Ф., 1974.
- ⁸⁸ Анучин Д. Н., 1893.
- ⁸⁹ Алексеев М. П., 1941, с. 285.
- ⁹⁰ Мельников С., 1852, с. 29.
- ⁹¹ Смирнов И., 1904, с. 144.
- ⁹² Третьяков П., 1869, с. 437.
- ⁹³ Чернецов В. Н., 1953б, с. 236; Мошинская В. И., 1976, с. 110.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СРЕДА И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДРЕВНИХ ЗАПАДНОСИБИРСКИХ ОБЩЕСТВ



Юг Западно-Сибирской равнины — ареал производящей экономики. Северные районы Зауралья и Западной Сибири — ареал присваивающей экономики. Север лесостепной и юг таежной зон — ареал многоотраслевого хозяйства. К проблеме материнского рода.

• Юг Западно-Сибирской равнины — ареал производящей экономики

Различия в хозяйственном укладе, в значительной мере обусловленные несходством экологических условий разных районов Западной Сибири, не могли не отразиться на особенностях социальной жизни их населения, что определило неравномерность исторического развития разных областей этой территории. Наиболее важные открытия древности произошли не там, где природная среда слишком бедна и сурова, как, например, на Крайнем Севере, и не там, где она отличалась чрезмерным богатством и щедростью, как, например, в африканских тропиках. Экстремальные природные условия северной тайги и арктической тундры не давали возможности местному населению перейти к высокопродуктивным производящим занятиям; поиски более рациональных форм хозяйства могли идти здесь лишь в сторону некоторой рационализации традиционных присваивающих промыслов, однако эта рационализация не должна была превышать возможности местной природы иметь лишь определенный (причем весьма скудный) запас естественного пищевого продукта.

Что касается некоторых богатых флорой и фауной тропических областей, то там обилие и доступность естественного пищевого продукта не побуждало к сколько-нибудь серьезным и целеустремленным поискам новых форм экономики. «Слишком расточительная природа, — отмечал К. Маркс, — «ведет человека, как ребенка, на помочах». Она не делает его собственное развитие естественной необходимостью»¹. И далее: «Благоприятные естественные условия обеспечивают всегда лишь возможность прибавочного труда, но отнюдь не создают сами по себе действительного прибавочного труда, а следовательно, и прибавочной стоимости или прибавочного продукта»².

Наиболее важные социально-экономические открытия древности произошли в тех районах, где отрицательные и положительные проявления природной среды как бы уравновешивали друг друга. Отрицательные факторы стимулировали поиск новых социально-экономических возможностей, положительные — способствовали успеху этих поисков. Так, западносибирская степь с ее редкой и нестабильной гидрографической сетью, частыми засухами летом, буранами и гололедами зимой, приводившими к жестокому бескормицам, не благоприятствовала в целом охотничье-рыболовческим промыслам, и это заставило степное население искать более рациональные формы экономики. Степь в соответствии с ее

экологическими особенностями дала людям возможность перейти на определенном историческом этапе к пастушеско-земледельческому хозяйству со всеми вытекающими отсюда социальными последствиями.

Самым важным результатом перехода к пастушеско-земледельческому хозяйству на юге Западно-Сибирской равнины было увеличение численности населения. Возрастают концентрация поселений, их площадь и мощность культурного слоя³. К сожалению, у нас до сих пор нет сколь-нибудь объективных критериев для определения конкретного соотношения численности подвижных охотников каменного века и пастухов-земледельцев эпохи бронзы. Этнографические данные на этот счет мало сопоставимы с археологическими и относятся, как правило, к районам, расположенным севернее степной зоны — мы, в частности, имеем в виду сведения о сравнительной плотности населения у охотников-рыболовов хантов и манси, с одной стороны, и у скотоводов и скотоводов-земледельцев башкир, с другой, а также у охотников-тунгусов, с одной стороны, и у скотоводов-якутов, с другой⁴. Тем не менее все они достаточно красноречиво показывают, что с переходом к производящему хозяйству возможности для увеличения численности и плотности населения возрастают многократно.

Однако демографическая емкость западносибирских степей и в эпоху бронзы оставалась весьма ограниченной. Дело в том, что широкие речные поймы, удобные для пастушеско-земледельческого хозяйства, здесь редки. В одной из предшествующих глав мы приводили археологические данные о расселении андроновцев на р. Ишим, где на отрезке протяженностью почти в 1000 км есть лишь два места с большими и удобными проймами — в районах Петропавловска и Атбасара⁵; здесь обнаружены соответственно два скопления памятников бронзового века, отделенных друг от друга сотнями километров практически незаселенных пространств. Такая узкая локализация пастушеско-земледельческих коллективов должна была неизбежно и довольно быстро привести к усилению диспропорции между ограниченным объемом пищевых ресурсов степных «оазисов» и растущей численностью населения. Начинаются миграции степняков в другие районы — главным образом на север, юг и восток.

Во второй половине бронзового века значительные по численности андроновские (федоровские) пастушеско-земледельческие группы приходят в южную часть западносибирской тайги, в Восточный Казахстан, на Алтай, в Новосибирское Приобье и в Хакасско-Минусинскую котловину. В последней четверти II тысячелетия до н. э. под влиянием степных и лесостепных культур андроновского типа и в результате прямых проникновений с юга в южной части западносибирской тайги формируется круг так называемых андронидных культур, из которых в археологической литературе наиболее освещены сузгунская и еловская культуры.

Перенаселенность особенно обострилась около рубежа II и I тысячелетий до н. э., когда доступный резерв пойменных угодий Западной Сибири и Казахстана был исчерпан и мигрировать стало некуда. Выходом из сложившейся кризисной ситуации явился переход к кочевому скотоводству, совпавший, по мнению специалистов, с существенным увлажнением климата на юге Западно-Сибирской равнины. Тот факт, что в миграциях на север и восток Западной Сибири в последние века II тысячелетия до н. э. участвовали исключительно или почти исключительно федоровские

группы, возможно, свидетельствует о том, что они, в отличие от алакульцев, дольше держались за традиционное пастушеско-земледельческое хозяйство и были менее склонны решать проблему перенаселенности путем перехода к кочевничеству.

Вопрос об оценке социальной значимости перехода к кочевому скотоводству сложен и не однозначен. Если отвлечься от полезных демографических последствий этого явления, то придется признать, что в целом переход к кочевничеству вряд ли был шагом вперед по сравнению с пастушеско-земледельческим хозяйством, которое по своему содержанию было почти «оазисным» и потенциально могло нести в себе зародыши элементов культуры, характерных для среднеазиатских и переднеазиатских древне-земледельческих цивилизаций. Кочевое же скотоводство по ряду хозяйственно-бытовых и социальных особенностей (односторонность хозяйства, подвижный образ жизни, существование за счет стад копытных, консервативность культурных традиций и т. д.) как бы сближается с подвижной охотой каменного века.

Согласно исследованиям наиболее авторитетных специалистов по кочевничеству — С. Е. Толыбекова, Г. Е. Маркова, В. А. Пуляркина и других, кочевое скотоводство, приведя к освоению огромных прежде незаселенных пространств аридного пояса и временно решив проблему перенаселенности, в значительной мере исчерпало этим дальнейшие возможности своего социально-экономического развития. Сравнительно низкий лимит плотности населения, подвижный быт, разобщенность отдельных производственных коллективов мешали возникновению в кочевом мире стабильных социально-политических образований типа государств. Односторонность кочевой экономики не способствовала разделению труда, которое, как известно, является показателем новых ступеней экономического развития, стимулирует процесс классовобразования, усложняет социально-экономическую структуру общества в целом ⁶.

Таким образом, переход к кочевому скотоводству в западносибирских и казахстанских степях, являясь исторически и экологически обусловленным шагом, был в то же время весьма противоречивым по своей сущности явлением. Противоречивость социально-экономического содержания кочевничества проявляется, например, в том, что, с одной стороны, оно было логическим следствием развития пастушеско-земледельческого хозяйства, а с другой стороны, прогрессивное развитие кочевого скотоводства, по справедливому замечанию С. Е. Толыбекова, всегда и везде приводило к оседлости ⁷, т. е. к тому же земледельческому или пастушеско-земледельческому хозяйству.

Видимо, к социальной оценке кочевничества нельзя подходить односторонне. В сложившейся ландшафтно-климатической и исторической ситуациях переход к кочевому скотоводству был самым рациональным путем к выживанию, наиболее логичным вариантом решения проблемы перенаселенности, обострившейся к концу бронзового века. При социально-экономических трансформациях древности всегда что-то приобреталось и что-то терялось, но вряд ли правильно подходить к оценке сущности проблемы только с точки зрения «потерь». Выступая против одностороннего понимания развития, Ф. Энгельс писал: «Точное представление

о вселенной, о ее развитии и о развитии человечества, равно как и об отражении этого развития в головах людей, может быть получено только диалектическим путем, при постоянном внимании к общему взаимодействию между возникновением и исчезновением, между прогрессивными изменениями и изменениями регрессивными»⁸.

При решении давнего спора о том, какие все-таки кочевники — «хорошие» или «плохие», необходимо иметь в виду, что консервативность кочевого скотоводства заключается не в том, что оно было консервативным в своей изначальной сути, а в том, что, закономерно закрепившись в аридной зоне, оно в последующей своей истории оказалось мало способным на переход к более высокой социально-экономической структуре.

Специалисты подсчитали, что для существования семьи казаха-кочевника из четырех человек достаточно 24 голов скота (в переводе на лошадь) и соответственно от 2 до 3 кв. км пастбищ⁹, т. е. плотность населения при кочевом скотоводстве в западносибирских и казахстанских степях могла достигать двух человек на 1 кв. км. Уменьшим ее для страховки вдвое: один человек на 1 кв. км. Даже при таком соотношении юг Западно-Сибирской равнины в более или менее благополучные периоды мог прокормить около миллиона людей. Переход к кочевому скотоводству был величайшим открытием своего времени: он не только во много раз увеличил жизненные пространства, но и привел к появлению огромного фонда свободных земель, который в течение нескольких сотен лет (во всяком случае, на протяжении почти всего скифского времени) обеспечивал возможности для роста численности степного населения.

Однако возрастание численности кочевников, шедшее очень быстро в скифское время, когда еще имелись свободные пастбищные угодья, в дальнейшем, после освоения всей аридной зоны, должно было резко снизиться или прекратиться вообще, ибо была достигнута грань, нарушение которой неизбежно привело бы к перенаселенности со всеми ее негативными проявлениями. Часто повторявшиеся в степях бескормилцы приводили к периодическим обострениям проблемы перенаселенности, следствием чего были жестокие голодовки и вымирание значительной части кочевников. В хорошие годы численность степняков и принадлежавших им стад опять начинала увеличиваться, пока вновь не достигала рокового предела, который мог наступить раньше «положенного» срока в результате новой засухи или джута. В течение двух последних тысячелетий стабильное возрастание численности степных кочевников шло в основном за счет расширения общей площади пастбищ путем освоения предтаежной зоны, уничтожения южных лесов, захвата и превращения в пастбища земледельческих стран и т. д. Агрессивность кочевников, их опустошительные завоевательные походы, в том числе так называемые великие переселения, были вызваны во многих случаях кризисными ситуациями, связанными с перенаселенностью и истощением пастбищ¹⁰.

Выходом из сложившегося «тупикового» состояния могло явиться возвращение — на новом уровне — к пастушеско-земледельческому или земледельческому хозяйству, но ландшафтно-климатические и исторические условия в аридном поясе не благоприятствовали этому шагу. Тем не менее тяга к оседлости проходит красной нитью через всю историю кочевничества. Специалисты по истории кочевничества европейских

степей, основываясь на археологических и исторических данных, считают, что в Причерноморье сильная тенденция к оседлости явственно проявилась в конце скифской эпохи, но была подавлена сначала приходом сарматов, а затем, едва возобновившись в отдельных местах, прервана нашествием гуннов. В VIII—X вв. в пределах Хазарского каганата кочевники опять оседают на землю, однако в X в. этот процесс был прекращен вторжением печенегов. В XIII в. в хозяйстве половцев начинают проявляться признаки полuosедлости, которые были полностью утрачены после нашествия монголов. Затем тяга к оседлости вновь набирает силу в Золотой Орде.

Попытки отдельных кочевых групп перейти к оседлому пастушеско-земледельческому хозяйству неоднократно предпринимались и в последующие времена. Так, на рубеже XVIII и XIX столетий умный и энергичный казах Сеит-Кул из бассейна Тургая, стремясь облегчить жизнь своего разросшегося и обедневшего рода, начал готовить переселение его в более благодатные места. Однако, скитаясь в поисках таких свободных территорий, он побывал в глубинных районах Азии и был поражен благосостоянием жителей этих южных стран, которого они достигли, занимаясь земледелием. Вернувшись, он решил избежать миграции и положить начало прочной оседлости в родных местах путем введения земледелия, которое он считал залогом благополучия своих соплеменников. Возникла значительная земледельческая колония, причем осевшие здесь казахи-земледельцы успешно защищали ее от постоянных набегов кочевников. Число последователей Сеит-Кула все более увеличивалось, и, спустя некоторое время, он задумал устроить специальное поселение в виде торгового рынка для сбыта кочевникам продуктов земледелия. Но Сеит-Кул не успел довести до конца задуманное. Около 1830 г. он был убит кочевниками, и созданная им колония распалась¹¹.

Приведенный пример чрезвычайно интересен. Во-первых, он подтверждает вывод о трех основных факторах перехода от одной формы хозяйства к другой: 1) развитие производительных сил (в данном случае прямое и сознательное приобщение кочевников к производственному опыту южных земледельцев); 2) подходящие экологические условия района (в данном случае бассейна Тургая) для земледелия; 3) кризисная ситуация, вызванная истощением пастбищных угодий и обострением проблемы перенаселенности.

Во-вторых, этот пример показывает, что, помимо названных основных факторов, следует учитывать еще один — благоприятную историческую обстановку. Отсутствие таковой даже при наличии трех перечисленных нами основных факторов не гарантирует успеха перехода от одной формы хозяйства к другой.

В-третьих, из приведенного примера явствует, что причины, вызывавшие в прошлом миграцию населения в другие районы, могли при определенных условиях привести не к миграции, а к замене одного типа хозяйства другим или даже к коренной перестройке экономики.

И, наконец, в-четвертых, этот пример является еще одним подтверждением консервативности кочевого уклада. Несмотря на односторонность кочевнической экономики и невозможность ее существования вне тесных экономических контактов с оседлыми земледельцами, тяга к новому, в том числе разумное стремление к оседлости, вступала в кочевом обществе

в острый конфликт с традиционным недоверием и даже презрением кочевников к земледельческим занятиям.

В кочевой среде, в степях, к северу от районов сплошного традиционного земледелия, было чрезвычайно сложно утвердиться в роли земледельцев — не только из-за не вполне подходящих экологических условий, но и в силу того, что оседлое население здесь имело очень низкий социальный статус, было совершенно беспомощным перед лицом необузданной кочевой стихии.

Говоря о трудностях, которые испытывали казахи северной части Тургайской обл., переходившие в 60-х годах прошлого столетия к земледельческим занятиям, А. К. Гейнс писал: «Можно думать, что переходная эпоха, в которой теперь живет часть илецких и николаевских киргизов, кончилась бы скорым и решительным торжеством оседлости, если бы промежутки между их зимовками не наполнялись летом прикочевывающими с юга киргизами. Кочуя со своими стадами около зимовок илецких и николаевских киргизов, пришельцы с юга травят луга и пашни, истребляют накошенное сено и лесные заросли»¹².

Поскольку процесс перехода от кочевничества к оседлости сопровождался закономерным усилением борьбы между старым и новым, периоду становления нового хозяйственного уклада почти неизбежно сопутствовали временное ослабление социальной сплоченности общества, снижение его способности противостоять внешней опасности. Вряд ли случаен тот факт, что неоднократно возобновлявшийся в древности переход причерноморских степных кочевников к оседлости всякий раз прерывался вторжением чужеродных кочевых племен. Показательно, что успешный переход ряда сибирских кочевых групп к оседлости совершился лишь в XVIII—XIX столетиях, когда русская военно-гражданская администрация сумела нормализовать и стабилизировать социально-политическую обстановку на юге Сибири¹³.

При поиске «модели» больших волн оседлости, приуроченных обычно к переломным моментам в истории отдельных кочевых этносов, нельзя не вспомнить о малых волнах оседлости в западносибирских и казахстанских степях, повторявшихся с периодичностью в 10—12 лет и совпадавших с так называемыми куянжилами (заячьими годами); последние характеризовались жестокими бескормицами и массовым падежом скота. Куянжилы обостряли проблему перенаселенности. Сокращение стад приводило к укорачиванию маршрутов кочевков. Семьи, потерявшие весь скот или большую часть стада, вообще переставали кочевать и переходили к оседлости, пробавляясь рыболовством и земледельческими занятиями до тех пор, пока им не удавалось вновь обзавестись скотом или на худой конец уйти в пастухи к богатым скотоводам, если до этого их не успевали окончательно разорить, истребить либо превратить в бесправных невольников враждебные кочевые группы. Хотя эти малые локальные волны оседлости не приводили к оседанию общества в целом, они раскрывают причины и механизм больших волн седентеризации. Здесь следует подчеркнуть один важный момент: приобщение к оседлости, а затем к земледелию у казахов-кочевников начиналось, как правило, с рыболовческих занятий, что лишний раз подтверждает тезис Бинфорда о рыболовстве как условии перехода к земледельческому и пастушеско-земледельческому хозяйству.

Одним из наиболее важных социальных последствий перехода в новое время ряда южносибирских кочевых групп к земледелию и оседлости был быстрый рост народонаселения. Если северные таежные народы Сибири, продолжавшие вести традиционное охотничье и охотничье-рыболовецкое хозяйство, к началу текущего столетия не увеличились или почти не увеличились в количественном отношении по сравнению с XVII в., то численность алтае-саянских тюрков возросла за это время, т. е. за 200—250 лет, более чем в 6 раз (с 16,7 тыс. в XVII в. до 108,8 тыс. в 1897 г.), якутов — примерно в 8 раз (с 28,5 тыс. до 226 тыс.), бурят — в 10 с лишним раз (с 27,3 тыс. до 289 тыс.) и т. д.¹⁴

Нельзя считать, однако, что переход к земледелию и оседлости в описываемое время был единственным путем увеличения численности степного населения. В сибирской этнографии известны случаи интенсификации скотоводства за счет введения в него ряда достижений земледельческой культуры. Так, у некоторых групп бурят издревле практиковались удобрения и ирригация сенокосов. Система их орошения была в общем идентична оросительной системе земледельческих оазисов на юге аридной зоны: речка или ручей перегораживалась плотиной, вода отводилась по магистральному каналу, идущему краем гольца, который замыкал долину реки, от него проводили каналы, подающие воду на отдельные сенокосные участки¹⁵. Это позволяло содержать на сравнительно малой площади большое количество скота. Опрос бурят Еланцинского и Кутульского ведомств в конце прошлого столетия показал, что 28 семей, имевших меньше десятины таких покосов (утугов), держали в среднем по 16 лошадей и коров, а 26 домохозяев, владевших более чем десятиной поливных и удобряемых сенокосов, имели в среднем по 32 головы крупного скота¹⁶.

Описанный путь интенсификации скотоводства отмечен в других местах Южной Сибири. «Чтобы увеличить урожайность трав на зимниках, — писал в 1880-х годах И. И. Каратанов о скотоводах Хакасско-Минусинской котловины, — инородцы искусственно орошают поля посредством канав, выведенных из речек; эти каналы называются мочагами»¹⁷.

Возможно, упоминаемые нами в одной из предшествующих глав «чудские борозды» в Хакассии, традиционно трактуемые как свидетельство древнего поливного земледелия, в значительной своей части были предназначены для орошения пастбищ и сенокосных угодий. Подобным же образом могли использоваться некоторые древние оросительные системы Центрального Казахстана, относящиеся в основном к поздним этапам бронзового века¹⁸. Вообще мы проявляем на наш взгляд неоправданную односторонность, когда следы древней ирригации в степях во всех случаях воспринимаем как безусловное доказательство наличия здесь в прошлом орошаемого земледелия. Присутствие таких следов в степной зоне может являться свидетельством не только земледельческих занятий, но и эпизодических опытов интенсификации скотоводства, практикуемых с поздних этапов бронзового века. Однако эти скотоводческие «оазисы» были, видимо, небольшими островками в необъятном море экстенсивного кочевничества и легко сметались частыми переселениями и экспансиями, столь характерными для кочевого мира прошлых эпох.

Тундровая зона. Тундра в прошлом ставила строгий экологический предел путям и темпам развития местной экономики. Поэтому способы достичь устойчивого экономического состояния, помимо малоудачных попыток рационализации хозяйственных занятий, имели некоторые другие специфические проявления. Одним из них было стремление к насильственному изъятию продуктов, принадлежащих чужеродцам. Судя по фольклорным данным, обские угры, жившие южнее тундровой зоны, часто страдали от набегов северных соседей — главным образом воинственных самоедских групп¹⁸. Как свидетельствуют письменные источники, набеги самоедов на остяцкие земли были весьма часты даже в XVIII столетии. Так, в 1722 г. большая группа самоедов, которой руководили Терева и Кельта Сынгуруевы, Кельта Пунзумин и Гайча Хапуев, разорила ряд остяцких селений и истребила многих жителей. В том же году 120 самоедов под водительством Ванюты (Вануйты?) Молдева разграбили Куноватскую волость и угнали 700 оленей. Тогда же самоеды Нарта и Питича со 130 товарищами опустошили Ляпинскую волость и угнали 500 оленей. Березовскому воеводе сибирскими властями 19 июня 1725 г. было строго предписано охранять остяцкие волости от самоедов, и туда были посланы отряды казаков¹⁹.

Другим способом обеспечить соответствие численности населения объему пищевых ресурсов были уходящие в глубокую древность и дожившие в ряде мест до этнографической современности обычаи, имевшие целью регулировать количество сородичей и создавать условия для воспитания здоровых и полезных членов общества. Ф. Врангель в 20-х годах прошлого столетия наблюдал у чукчей «обыкновение убивать детей, рожденных с физическими недостатками или слишком слабыми, и стариков, которые не в состоянии переносить трудов кочевой жизни»²⁰. Вообще убийство калек, больных и стариков было более характерно для групп, живших кочевым или подвижным бытом, в условиях которого слабые были особенно тяжелой обузой и имели мало шансов выжить. Не случайно этот обычай неизвестен у хантов, манси, селькупов, но зафиксирован у тунгусов, якутов и некоторых тундровых групп. Описывая образ жизни енисейских тунгусов в начале текущего столетия, К. М. Рычков сообщает, что «престарелых, больных и неспособных к труду они до сего времени покидают на произвол судьбы»²¹. По рассказам якутов, они прежде «неспособных к труду или больных убивали или оставляли на произвол судьбы в лесу, привязанными к лесине»²².

У нас нет прямых данных о социальном строе западносибирского тундрового населения в древности. Л. П. Хлобыстин предполагает, что уже в неолите основной социальной ячейкой тундровых аборигенов был отцовский род. Здесь жили, считает он, основываясь на археологических данных, «рассеянные на больших пространствах маленькие, но экономически самостоятельные семейно-хозяйственные коллективы. Забота о добыче и пропитании падала на одного-двух мужчин, а обработка добычи, забота о детях лежала на женской части коллектива. Эти коллективы, судя по наличию жилищ, устраиваемых на местах переправ диких оленей через реки, и хрупкой глиняной посуды, вели полуоседлый сезонный образ

жизни... Возможно, что охота на переправляющихся оленей имела массовый характер и для участия в ней объединялось несколько семейно-хозяйственных коллективов, образующих на время производственную общину»²³.

Экологически обусловленная традиционность хозяйства населения западносибирской тундры предполагает традиционность социального уклада, поэтому для понимания характера социальной структуры здесь в древности особенно важны этнографические свидетельства. Русские застали у тундровых западносибирских самоедов отцовский род, патрилокальный брак и патриархальную семью, причем правовой статус мужчины был даже более высок, чем у остяков и вогулов. П. С. Паллас приводит много примеров того, что у самоедов «женский пол еще несчастливее и в большем презрении, чем у остяков»: женщина — существо нечистое, и все, к чему она прикасается, тоже становится нечистым; «бабы с мужиками есть не могут, а довольствуются остатками» и т. д.²⁴ Думается, что отцовский род как основной социальный организм и патриархальная семья как основная производственная ячейка были присущи тундровому населению с глубокой древности; во всяком случае, мужчина в тундре — был ли он пешим охотником, оленным охотником или владельцем оленьего стада — всегда оставался защитником рода, главой производственного коллектива, основным кормильцем.

В периоды, когда приходила пора коллективной охоты на большие олени стада, самоеды собирались «на одном месте во множестве»²⁵, т. е. в этих случаях в единый производственный коллектив объединялось несколько семей. У нганасан, по Ю. Б. Симченко, при поколках производственный коллектив включал 25—30 человек (т. е. шесть-семь семей), в числе которых было пять-семь мужчин. Коллектив возглавлял «барба» (руководитель, вождь) — наиболее опытный охотник; он определял маршрут следования, место постановки чумов, распорядок охоты и быта, но не имел никаких преимуществ при дележе добычи. Мужчины-охотники составляли почетную группу — «анитя» (большие, главные). У «анитя» выделялась особая категория мужчин «танкага» (богатырь, воин) — молодые сильные люди, обязанностью которых было в случае опасности защищать сородичей; они также не имели никаких правовых преимуществ²⁶.

Мы, вслед за другими исследователями, считаем, что численность и структура социальной организации сибирских тундровых аборигенов издревле определялись условиями и нуждами коллективной охоты — прежде всего сезонных промыслов оленей на переправах через реки²⁷. По Б. О. Долгих, охотничий коллектив у тундровых народов соответствовал родовому коллективу: не случайно у нганасан одним словом «фонка» обозначались и род, и копые, употреблявшееся на поколке²⁸. Однако Ю. Б. Симченко (1976) полагает, что при подвижном образе жизни охотников на оленей, крайне малой плотности населения, мобильности состава производственных ячеек (в зависимости от характера и значимости промыслов) трудно ожидать сколько-нибудь строгого совмещения родовых, как и вообще экзогамных, подразделений с производственными коллективами.

У древнего населения тундры вряд ли существовала когда-либо четкая и стабильная племенная организация. Разбросанность производственных групп по бескрайним тундровым просторам не способствовала крепости социальных уз. По статистическим данным конца прошлого столетия, плотность тундровых юкагиров и тунгусо-юкагиров, кочевавших между р. Индигиркой и р. Колымой, составляла около одного человека на 80 кв. км²⁹. Учитывая колебания численности оленей в тундре в связи с меняющейся продуктивностью ягельных пастбищ, эпизоотиями и т. д., трудно предполагать, что когда-либо в прошлом плотность охотников на оленей и оленеводов здесь могла быть выше, во всяком случае в течение сколько-нибудь продолжительного периода.

Но в условиях обострения социально-политической обстановки роды и семьи разных территорий могли объединяться в некое подобие единого политического союза. Один документ Сибирского приказа рассказывает о нападении в 1678—1679 гг. на ясачных остяков «воровских самоедов больше 400 человек»³⁰. Общество, способное выставить такое войско, должно было объединять не менее 1600 человек, что во много раз превышает обычную численность рода на Крайнем Севере.

Многочисленные путешественники XVIII—XIX столетий отмечали парадоксальный факт: крупнотабунное оленеводство, приведя к росту запаса доступных пищевых ресурсов, не сделало этот запас реальным стимулом роста народонаселения, а, наоборот, заставило оленеводов все более обращаться к рыболовству. Дело в том, что прежде, при преимущественно охотничьем образе жизни в дооленеводческий и раннеоленеводческий периоды, охотник стремился убивать столько диких оленей, сколько ему было необходимо, а превратившись в собственника стада, он стал ставить первостепенной задачей увеличивать число своих оленей (или на худой конец сохранять их численность), чтобы повышать (или, во всяком случае, не утрачивать) статус богатого хозяина, сильного и уважаемого в обществе человека. «Оленные мужики, — писал по этому поводу В. Ф. Зуев, — которые стадам своим не знают счету, равным образом жалуются на голод во время недостатку рыбы, как и бедные, кои и рады бы убить оленя, да нету. А богатый сносит тот же голод, претерпевает нужду, жалуется на недостаток, а оленей своих убить жалеет. Богатые там те и называются, у коих оленей множество. Они совершенно особого рода, потому что в их обитает особый род скупости. И так экономию их можно разделить так, что рыболовство их пропитание, а олени богатство заключают»³¹.

Представление о скоте как об олицетворении собственности, основном показателе богатства, престижный характер увеличения поголовья домашнего стада в равной мере отмечены и у кочевников степей, особенно в периоды преобладания в экономике элементов натурального хозяйства.

В прекрасном историко-этнографическом исследовании о казахах начала прошлого столетия А. Левшин писал: «Однажды спросил я одного владельца 8000 лошадей, почему он не продает ежегодно по некоторой части табунов своих. Он отвечал мне: „Для чего стану я продавать мое удовольствие? Деньги мне не нужны, я должен запереть их в сундук, где никто не увидит их. Но теперь, когда табуны мои ходят по степям, всякий

посмотрит на них, всякий знает, что они мои, и всякий говорит, что я богат“»³².

Безудержное увеличение оленьих стад в тундре приводило к жестоким бескормицам и массовому падежу оленей. Недавний оленевод, владелец многотысячных стад, мог за несколько дней превратиться в нищего. В. Львов в одной из своих работ рассказал о встрече с самоедом, который во время бескормицы 1887 г. потерял сразу все свое стадо — около 4 тыс. оленей и вынужден был затем служить батраком у русского³³. Аналогичные случаи были обычны у кочевников степной зоны. Авторы дореволюционного многотомника «Россия» писали следующее: «Гололедица в течение нескольких дней может превратить богача в бедняка, так как животные не в состоянии пробить толстого слоя ледяной коры и гибнут массами от истощения»³⁴.

Лесное Зауралье и таежное Обь-Иртышье. При преимущественно охотничьем образе жизни экономическая основа для сложения относительно крупных производственных и социальных организмов могла иметь место лишь в районах, где были условия для коллективной охоты на лесных копытных. В этом отношении заслуживает внимания таежная часть Урала. Описывая образ жизни лозьвинских манси, В. Н. Чернецов отмечает, что возводить загонные сооружения типа «огородов» и поддерживать их в рабочем состоянии было не под силу мелким коллективам, и поэтому «несмотря на небольшой размер и разбросанность отдельных поселков, то есть локальных групп, население всей такой территории было в достаточной степени единым, и в пределах его существовали не только коллективные виды промысла, но и коллективное потребление»³⁵. Поскольку, судя по сюжетам древних наскальных изображений Урала, коллективные способы охоты практиковались здесь с каменного века (во всяком случае, с неолита), можно допустить, что на этой территории в первобытную эпоху могли возникать достаточно крупные производственные сообщества, способствовавшие социальной консолидации населения довольно обширных районов. Однако по этнографическим данным, относящимся к XVIII в., население здесь было весьма редким и малочисленным. Характеризуя быт чердынских вогулов, архимандрит Свяжского монастыря Платон Любарских говорит: «В одном кочевье или деревне одна, две или три юрты, а весьма редко по пяти юрт бывает, да и те свои жилища делают по большей части в лесах, при выгодных только речных местах весьма в не близком между собою расстоянии, полагая от кочевья до кочевья верст по 15, по 20, по 30, по 40, по 60 и более. Причину малого и в далеком между собой расстоянии находящегося жительства представляют сию: „дабы пронаходящим от многолюдства криком и от огня дымом не отогнать далеко зверя“»³⁶.

Оценивая возможности социального развития таежного западносибирского населения в целом, мы обязаны учитывать сильную его распыленность в пределах ареала присваивающей экономики. Средняя плотность охотничьих и охотничье-рыболовческих групп в Западной Сибири составляла по документам XVII в. около 1 человека на 30—40 кв. км, т. е. была в десятки раз ниже, чем у скотоводов более южных областей. Исторические и этнографические сведения XVII—XVIII вв. о сравнительной численности скотоводов и охотников предтаежной и южнотаежной полосы

Урала и Сибири показывают, например, что плотность скотоводов-якутов была в 15—25 раз выше, чем охотников-тунгусов, а плотность скотоводческо-земледельческого башкирского населения была в 35—70 раз выше, чем у остяков и вогулов таежного Обь-Иртышья³⁷.

Еще более контрастны данные, касающиеся сравнительной численности охотничьего (охотничье-рыболовческого) и земледельческого населения. Поскольку древние земледельческие общества лучше всего изучены на юге нашей страны, обратимся к данным среднеазиатской археологии. По подсчетам Г. Н. Лисицыной, плотность древних земледельцев Южной Туркмении изменялась примерно следующим образом: в неолите и раннем энеолите (VI—середина IV тысячелетия до н. э.), когда еще не было искусственного орошения, она составляла 10 человек на 1 кв. км; в развита и позднем энеолите и в эпоху ранней бронзы (середина IV—начало II тысячелетия до н. э.) — 25 человек на 1 кв. км; в периоды развитой, поздней бронзы и раннего железа (II—начало I тысячелетия до н. э.) — 80—90 человек на 1 кв. км³⁸. Эти данные показывают, что земледельческие общества по сравнению с охотничьими и охотничье-рыболовческими имели почти необъятный резерв увеличения численности населения. Отсюда неодинаковые возможности социального развития.

На первый взгляд кажется странным — как в тайге при столь низкой плотности населения и разбросанности производственных коллективов могла длительно сохраняться относительная этническая стабильность, например, огромного обско-угорского мира. Видимо, эта стабильность поддерживалась в основном частыми передвижениями и взаимопроникновениями родовых групп в пределах этнических границ и достаточно строгой эндогамностью. Могли существовать и другие способы социальных связей. Так, у ряда таежных этнических групп Сибири была известна в прошлом своеобразная система пиктографического письма, при помощи которого сородичи и вообще таежные люди извещали друг друга о своих делах, нуждах и планах. «Если вы идете по лесу, — писал около ста лет назад о Восточном Зауралье Н. И. Кузнецов, — то иногда можете заметить на каком-нибудь дереве вырезанный знак. Вглядевшись хорошенько, вы увидите, что знак этот грубо изображает ногу лося: ступня, два больших копыта и два маленьких зачаточных; под ногой вы заметите две-три горизонтальных черточки, а сбоку тоже несколько косых. Если с вами находится какой-нибудь вогул, то он сейчас же объяснит, что это значит, что на этом месте столько-то вогул со столькоими-то собаками напали на лося и убили его»³⁹. Описывая вогульские «затесы», К. Д. Носилов сообщает, что подобных знаков он видел «много по пути на Урале и в горах, и по рекам, и замечательно, что дикари, присматриваясь, безошибочно определяли, не только кто когда бежал тут за зверем, убил его или нет, но даже время начертания и события и настроение души человека, которого преследовало счастье или неудача»⁴⁰. К сожалению, нет ни одной сводной работы по ханты-мансийским затесам, и мы сейчас не в состоянии судить с достаточной определенностью ни о системе пиктографического знака, ни об основных сюжетах письма. Большой материал, собранный И. С. Гудковым по затесам казымских хантов, частью утерян, частью департизован⁴¹.

Характеризуя пиктографическое письмо юкагиров на бересте, М. И. Уг-

рин сообщает: «Если в бассейне Колымы у слияния двух речек или у устья речки и ручья на тальнике вы найдете кусочек скрученной бересты и, развернув его, увидите прерывистые вялые линии, это значит, что человек много дней ничего не ел, охота была неудачной, нужна помощь. Но если на письме вы обнаружите круг, исчерченный по краям палочками, это значит, что встретились охотники, их количество равно числу палочек, у них радость и веселье, никто не болеет»⁴². «У мужчин-юкагиrow, — писал в конце прошлого столетия С. Шаргородский, — есть обыкновение чертить маршруты, по которым они следуют, отправляясь на различного рода промыслы»⁴³. «Такие маршруты, — продолжает он, — оставляются каждой группой в каком-либо известном месте по пути, на случай, если кто бы вздумал отыскать ее, чтобы к ней присоединиться. Такие чертежи и оставление их в известных заранее местах имеют громадное значение в тех случаях, когда одной из ушедших групп не посчастливилось на охоте». «В период такого ужасного голода. . . она хватается за последнюю соломинку — идет отыскивать другую группу, которой, быть может, больше повезло в оленьем промысле. Добравшись до места, где оставлен маршрут отыскиваемой группы, она по верным следам гонится за нею, находит, а часто вместе с этим находит и свое избавление от неминуемой голодной смерти»⁴⁴.

Такой способ общения приобретал особую важность в периоды миграций и длительных перекочевок, когда шедшие впереди группы должны были извещать сородичей о направлении своего передвижения и предупреждать об опасности. У негидальцев есть легенда, в которой рассказывается, что их предки переселялись в Амурский бассейн двумя частями: одна шла первой, другая следовала за ней, руководствуясь оставленными маршрутными знаками. Идущие впереди поставили однажды нечеткий знак, и вторая группа последовала не в том направлении. Первые поселились на Амгуни, вторые на Амуре. Вот почему и на Амгуни есть Аюмканы и на Амуре⁴⁵.

Тем не менее разбросанность и изолированность мелких производственных коллективов в тайге способствовала атомизации общества и не могла в обычных условиях привести к сложению устойчивых социальных организмов на уровне племени или союза племен. Говоря об особенностях социальной жизни остяков, В. Н. Пигнатти и другие тобольские этнографы писали в одной коллективной статье: «На борьбу с природой суровой родины, на труд добывания от нее себе средств для существования тратили прежде, тратят и доселе остяки свои силы, физические и духовные. К успеху этого дела и свелась главным образом остяцкая культура. Та угрюмая страна, которая породила остяка, завладела им, покорила его своей природе. Против последней оказалась бессильной даже сила общестственности. Тундра и лес раздробили остяков на сравнительно небольшие, разбросанные по стране, по берегам местных вод общества. Не нашлось в этой стране удобного места, которое могло бы стать центром политической жизни остяков, положив начало крепкому политическому союзу. Разъединенные огромными пространствами и, отчасти условиями местной жизни, остяцкие общества, удаленные от культурных соседей, жили обособленно и выработали такие формы быта, которые были удобны для жизни в данной местности, но которые сделали остяка непригодным для жизни

в иных условиях. Он покорился лесу и тундре и не мог стать выше этих форм, создать что-либо большее»⁴⁶. В этом высказывании, если не обращать внимания на проскальзывающие в конце фатальный настрой и неверие автора в способность таежного обско-угорского населения подняться до высоких ступеней социального развития в других условиях, правильно подмечено огромное влияние природного окружения на исторические судьбы таежных западносибирских обществ. Примечательно, что этнографы не зафиксировали для аборигенного населения сибирской тайги сколько-нибудь выраженных признаков, которые можно было бы считать социальными атрибутами племени, за исключением, пожалуй, запретов брака внутри определенных групп родственных родовых коллективов, каковые группы условно приравниваются исследователями к фратриальным образованиям.

Однако приведенные соображения (весьма логичные с экологической точки зрения и подтвержденные этнографическими свидетельствами), находятся в известном противоречии с археологическими данными. Археологические материалы говорят о периодах, когда в некоторых районах Западной Сибири вдруг резко, во много раз возрастала численность населения. Так было, например, в районе Сургута, где на участке протяженностью около 8—9 км открыто к настоящему времени 60 городищ и сотни поселений с более чем 2 тыс. жилищ (считая лишь видимые на поверхности) финальной бронзы, раннего железа и средневековья⁴⁷. Отмечены периоды особенно бурного строительства городищ (например, в переходное время от бронзового века к железному, в кулайскую эпоху, на начальных этапах тюркского проникновения на север и т. д.); известны случаи многократного расширения — буквально в десятки раз — площади культур, занимавших первоначально сравнительно небольшую территорию (например, возрастание ареала гребенчато-ямочной керамики в конце самусьско-сейминской эпохи, кулайского ареала в III—II вв. до н. э.).

Нам представляется, что такие бурные исторические события не могли происходить в условиях распыленности и социальной разобщенности мелких производственных коллективов, как это имело место в этнографической современности. Для разрешения противоречия между этнографическими и археологическими данными очень интересны остяцкие героические сказания, повествующие о жизни и подвигах древних богатырей. Они подробно и обстоятельно проанализированы в работах С. К. Патканова.

Согласно сведениям, содержащимся в этих устных произведениях, обско-угорский мир делился в прошлом на ряд враждовавших между собой политических образований, во главе которых стояли военные вожди или, по первым русским письменным источникам, князья. Князь (остяцк. — ур, урт; вогульск. — атер, отер) обязательно был богатырем; на языке остяцких былин слова «князь» и «богатырь» — по существу синонимы⁴⁸. Обязанностью князей было защищать население от врагов и руководить походами на земли других князей и богатырей.

Ближайшие родственники князя — братья, дяди, сыновья (тоже богатыри) составляли своеобразную привилегированную военную касту. Их особое социальное положение отражалось даже в именах и прозвищах. Так, братья-богатыри из городка Эмдер именовались так: «Кольчугу

с сотней торчащих рожков носящий богатырь»; «Звенящую кольчугу из блестящих колец носящий богатырь»; «Богатырь с остроконечным мечом»⁴⁹.

Князья и богатыри жили в городках, укрепленных рвом, валом и деревянным частоколом. Иногда они охотились на лося (это считалось благородным занятием) или ловили осетров, но скорей ради забавы, а не пропитания. Основную часть своего досуга они проводили в пирах и состязаниях. Около каждого городка была особая площадка, где богатыри соревновались в стрельбе из лука, беге, метании тяжестей, прыжках через натянутые между столбами ремни и т. д.⁵⁰ Князья выделялись не только физической силой, но также красотой, мудростью и другими качествами, не присущими простым смертным. Женились они только на дочерях князей и богатырей.

Простые общинники («земляные люди») жили за пределами городков в обычных поселениях. Их главной обязанностью было поставлять в случае необходимости воинов в княжеское войско⁵¹. Они, в отличие от богатырей, не имели кольчуг и мечей, а были вооружены лишь луками и листовенными или еловыми дубинами. По рассказам среднеобских хантов, их предки побеждали самоедов потому, что грудь воинов была защищена панцырем из сухого рыбьего клея, от которого отскакивали стрелы врагов⁵².

Богатырей в городках обслуживала, судя по сказаниям, какая-то домашняя челядь, мужская часть которой называлась «теу», «орт», женская — «теу-нен», «орт-нен». Прекрасный знаток остяцкого языка С. К. Патканов переводит эти термины как «раб» и «рабыня»⁵³. В перечне ценностей, которые князь или богатырь платил в качестве выкупа за невесту, упоминаются в первую очередь «рабы», «рабыни», затем идут кольчуги, мечи, топоры, котлы и пр.⁵⁴

Князь и богатыри, прежде чем окончательно решиться на военный поход, созывали Народное Собрание. Оно проходило в специальном помещении, которое было намного крупнее обычных жилищ. В одном сказании упоминается о таком общественном строении, состоявшем из «800 жердей»⁵⁵. Сначала совершались жертвоприношения, затем устраивался пир. Насытившись, старики открывали собрание традиционным вопросом к князю и богатырям — в чем причина сборища и пира. Узнав, с кем предполагается война, старейшие рассуждали о том, насколько это предприятие может быть успешным и стоит ли вообще начинать его. Князь и богатыри, выслушав советы стариков, все-таки обычно решали дело по-своему. Собрание, как правило, заканчивалось отбором воинов для предстоящего похода.

Накануне войны или другого крупного предприятия остяки и вогулы приносили человеческие жертвы. «А в прошлых де годах, — сообщает Пермская летопись, — бывало у их братьи иноземцев, что похотят де великим государем изменить и заведетца какая шатость в них, что похотят де на город притти и людей государевых побить, и они де побивали по своей вере шайтану свою братью остяков; а как де после того у их братьи у иноземцев измены и шатости не бывало, и они де людей шайтану не побивали, а побивали де шайтану по своей вере оленей и лошадей»⁵⁶. Согласно Пермской летописи, о готовящемся в 1662 г. остяцком восстании

местные власти узнали следующим образом: поступило сообщение о покупке чердынскими остяками, специально для жертвенного заклания, раба-чужеродца. Этот факт был верным признаком предстоящей военной смуты, что заставило «государевых людей» своевременно принять защитные меры⁵⁷.

Несмотря на то, что князья обладали большой политической властью, передававшейся по наследству, известны случаи, когда народ смещал неугодного князя или когда недовольные уходили к другому князю. Так, по преданию, некогда в Чиликтинских юртах возникли разногласия между князем и народом, и часть населения покинула пределы княжества. Однако через некоторое время местный князь восполнил потерю за счет людей, пришедших из княжества Эмдер⁵⁸.

Одним из самых крупных владений было упоминаемое во многих остяцких сказаниях княжество во главе с городком Тапар-вош. Оно выставляло в поход 300 воинов, что соответствовало населению примерно в 1200 душ обоего пола. Но С. К. Патканов считает, что численность может быть завышена. В другом сказании говорится о небольшом княжестве где-то на Оби, которое могло выставлять лишь 50 воинов⁵⁹.

При особой опасности, грозившей со стороны общего врага, остяцкие князья заключали между собой военные союзы. Согласно сказаниям, таким традиционным врагом остяков были самоеды. Нам показалась любопытной мысль С. К. Патканова, что самоеды — во всяком случае, с тех пор, как они приобщились к оленеводству, — по отношению к остякам выступали в роли, напоминающей отчасти роль кочевников-скотоводов степей и полупустынь по отношению к оседлым земледельцам оазисов⁶⁰. Сходной была даже манера их нападения. Самоеды появлялись внезапно, так как обычно транспортировались на оленях и не теряли время на добычу пищи (они специально для пропитания гнали с собой стадо оленей). Окружив городок, они через некоторое время вынуждали осажденных остяков, не имевших значительных пищевых запасов, сдаваться на милость победителя, если во время не приходила подмога. Осажденные подавали своим союзникам знак о помощи, выставляя длинные шесты с красными лоскутами на вершине. В случае взятия городка самоеды грабили имущество, забирали женщин и быстро исчезали. Нередко причиной нападения самоедов было стремление наказать остяков за прежние обиды. Набег в 1678—1679 гг. «воровских самоедов» на обдорских остяков был вызван тем, что обдорский князец Гында держал у себя «в работе» 13 самоедов и всех их «приморил с голоду». Судя по документам Сибирского приказа, остяки торговали между собой рабами-самоедами, а когда прибегали к человеческим жертвоприношениям, жертвой нередко являлся специально выделенный или купленный для этого случая «самоедский малый»⁶¹.

В предвидении вражеских нападений под единой верховной властью нередко объединялось по нескольку городков. Так, остяцкий князь Лугуй в начале освоения Сибири русскими правил шестью городками, объединяя под своей властью, кроме ляпинских, также казымских и куноватских остяков⁶². Во время похода на север вниз по Иртышу ближайшего сподвижника Ермака атамана Богдана Брызги демьянский князь Нимнян собрал в своем городке до 2 тыс. воинов, причем в его союзниках были не только остяки, но, видимо, и кондинские вогулы⁶³. По остяцким преда-

ниями, их предки перед началом войны укрепляли свои городки: исправляли валы, углубляли рвы и возводили новые частоколы. В ожидании прибытия врагов по реке в речное дно забивали наклонно колья, остриями в ту сторону, откуда ожидался враг (лодки у самоедов были раньше кожаными), и принимали другие защитные меры⁶⁴.

Рассматривая содержание остяцких героических сказаний, С. К. Патканов недоумевает по поводу размеров остяцких княжеств. «При предстоящих Народных Собраниях, — пишет он, — глашатай обходил каждый дом и созывал хозяев, что не могло бы иметь места, если бы они жили рассеянно и на большом пространстве». «Возможно, — предполагает С. К. Патканов, — что небольшая часть жителей обитала вдали по речкам и озерам. Ввиду своей удаленности от центра они, вероятно, принимали менее участия как в общественных делах, так и во всех предприятиях князей»⁶⁵.

В действительности общественная структура остяцких княжеств была, видимо, несколько сложнее, чем предполагал С. К. Патканов. Скорее всего, социальная иерархия здесь была не трехступенчатой (княжеская семья — вземляные люди — княжеская челядь или рабы), а четырехступенчатой: 1) князья и богатыри; 2) свободные общинники, жившие на поселениях в сравнительной близости от городка; они представляли собой нечто вроде «служилых людей», участвовали в Народном Собрании и поставляли воинов в княжеское войско; 3) роды-данники или ясашные люди, обитавшие в стороне от больших рек и не принимавшие активного участия в общественной жизни княжества; 4) домашняя челядь или рабы, обслуживавшие богатырей в городках.

Во всяком случае, примерно такая социальная градация вырисовывается по документам Сибирского приказа для населения Кодского княжества в низовьях Оби, которое просуществовало до XVII в. Кодский князь с семейством (братья, дяди, жены, дети) жили в городке; их обслуживала домашняя челядь или «холопы», по русским источникам (рабы — по С. К. Патканову). Главным источником рабства была война. Кондинские вогулы, постоянно страдавшие от набегов кодских остяков, жаловались в 1600 г., что последние «жены их и дети, и людей емлют к себе в юрты... в холопы». Далее русские письменные источники констатируют: «Ныне де жены их, и дети, и сестры, и братья и племянники у князя Ичигея и у его людей в волостях служат в холопах шесть лет, и живучи де у него и у людей его с работы и с нужи, и с голоду, и с наготы и босоты в конец погибли и помирают нужною смертью»⁶⁶.

Свободные общинники (служилые остяки — по русским письменным источникам) жили в селении неподалеку от городка, в радиусе, видимо, не более нескольких километров; поэтому глашатай в остяцких былинах и успевал быстро известить всех о предстоящем Народном Собрании. Г. Ф. Миллер, основываясь на материалах сибирских архивов, а также на преданиях нижнеиртышских остяков, сообщает, что Цингалинский городок, где укрывалось во время войны остяцкое окрестное остяцкое население, находился «немного выше остяцкого селения Цингалинских юрт»⁶⁷. В мирное время, когда угроза военной опасности ослабевала, бывшие воины вновь обращались к рыболовческо-охотничьим занятиям и их хозяйственно-бытовой уклад не отличался существенно от образа жизни зави-

симых родов-данников. В такие периоды они, судя по документам Сибирского приказа, платили князю так называемые поминки — своеобразный вид полудобровольных приношений⁶⁸. Известно, что один из кодских князей начала XVII в. посылал своих служилых остяков, человек по 30—40, «в Ваховскую волость по реке Ваху и в иные урочища для звериного промыслу», снабжая их для этого необходимым инвентарем, в частности «собаками добрыми звериными», а также топорами, котлами и пр.⁶⁹ Возвращаясь с промысла, они приносили кодскому князю до 2 тыс. и более соболей, которых тот использовал обычно для организации походов, львиная доля добычи от которых опять же поступала в княжеский фонд.

Эта социальная категория с приходом русских в значительной своей части влилась в разряд служилых людей на службе русских властей. Так, кодские княжества не платили ясак русскому царю, но зато кодские остяки обязаны были участвовать в походах, предпринимаемых русскими, в строительстве острогов и т. д.⁷⁰

Роды-данники (ясашные люди), обитавшие в основном вдали от больших рек, по речкам и озерам, не принимали активного участия в общественной жизни княжества. Они должны были отдавать часть своей промысловой добычи на содержание княжеской семьи и его челяди. Князья, имея большой запас материальных ценностей и значительный пищевой фонд, были в состоянии надолго выключать часть народа из сферы производительного труда, отправляясь с мужчинами-воинами в длительные завоевательные походы. Зависимые роды, жившие в стороне от социальных бурь, будораживших центры княжеств, продолжали жить на первобытно-родовом уровне и, будучи распылены по глухим таежно-болотным местам, не могли создать каких-либо четких и устойчивых социальных организаций, которые можно было бы квалифицировать как племя. Вот почему, когда с приходом русских остяцкие княжества распались, эти многочисленные группы, рассеянные по зауральской и западносибирской тайге, в значительной мере определили общий социальный колорит обско-угорского мира, представшего позднее глазам этнографов.

Видимо, в смутный период конца XVI—XVII в. часть таежного западносибирского населения, значительно поредевшего в результате войн, участвовавших голодовок и эпидемий, покинула большие реки и переселилась в более труднодоступные места — на малые речки и проточные озера глубинных районов Обь-Иртышья, вернувшись к архаичным способам рыболовства и охоты, что не могло не привести к известной архаизации социального устройства. Мне кажется поэтому, что зафиксированный этнографически социально-экономический уклад обских угров, равно как и численность и плотность их населения по документам XVII в., более сопоставимы с эпохами неолита и бронзы, чем с периодами железа и средневековья — героическими временами богатырей, Народных Собраний и завоевательных походов.

Мы допускаем, что отмеченная этнографами нечеткость шаманских верований у обских угров (отсутствие специального шаманского костюма, невыраженность института ученичества, характерность «домашнего» или «семейного» шаманства и т. д.) может объясняться тем, что городки в период их расцвета были центрами не только политической, но и рели-

гиозной жизни древнего обско-угорского населения. Вряд ли случаен тот факт, что особенно часто священными местами у кондинских остяков являлись так называемые чудские городки⁷¹. Поэтому упадок городков мог привести к архаизации не только социальной, но и религиозной жизни общества. Это тем более вероятно, что, по некоторым сведениям, в дорусский период служители культа или, во всяком случае, наиболее авторитетные шаманы были одновременно «богатырями», родовыми вождями и военачальниками (князьями)⁷².

М. А. Кастрен и Ф. Белявский описали интересную ритуальную церемонию у остяков, совершаемую периодически один раз в несколько лет и заключающуюся в ночных военных плясках, которыми руководил вооруженный шаман. Собирали их на ритуальное действие дети нарочито испуганными криками, как бы под впечатлением возникшей опасности. «Когда все соберутся, — сообщает Ф. Белявский, — тогда шаман гремит железными саблями и копьями, заблаговременно приготовленными перед кумиром на шестах. Каждому из предстоящих (исключая женщин, закрытых занавескою) дает саблю или копье, а сам берет по сабле в обе руки, становясь к кумиру спиною; по получении обнаженных сабель, остяки становятся вдоль юрты рядами и вертятся вокруг по три раза, держа перед собою сабли и копья. Шаман ударяет саблями одна о другую, тогда остяки как бы по команде вдруг поднимают на разных голосах крик и, качаясь с одной стороны на другую, кричат то редко, то часто, отставая один от другого, и при каждом повторении «гай» переваливаются на сторону, осаживают свои орудия то книзу, то кверху. Крик сей и движение продолжают около часу. Чем более остяки в это время кричат и качаются, тем более приходят в исступление так, что наконец нельзя смотреть на них без сожаления. После сего, умолкнув, вертятся по-прежнему, отдают свои орудия, которые шаман кладет на прежнее их место. Тогда остяки садятся на нары и по полу; занавес открывается, остячки выходят и начинается пляска и музыка. Через несколько времени потом шаман снова раздает сабли и копия и начинается «гай». В заключение стучат своими оружиями по три раза в пол, отдают их шаману и расходятся по домам»⁷³. Согласно запискам М. А. Кастрена, эту церемонию организовывали разные роды, жившие в низовьях Оби, но участвовали в ней все низовые остяки; празднество продолжалось несколько ночей подряд, причем в первую ночь пляску с оружием перед идолом совершал один шаман⁷⁴.

Совершенно очевидно, что в вышеописанных действиях шаман выступает прежде всего как военный вождь — военачальник и распорядитель военного арсенала. Видимо, ритуальная пляска воинов с боевым оружием у обских угров родилась в весьма древние времена — в условиях разложения родового строя и перехода к обществу типа «военной демократии», когда война становится важным и почетным занятием. Изображения сцен таких военных плясок известны на костяных и бронзовых предметах, относящихся к началу средневековья⁷⁵ и даже к ранним этапам железного века⁷⁶. Однако чаще всего они процарапаны на древних серебряных блюдах среднеазиатского происхождения. Среди фигурок пляшущих воинов, как правило, выделяется крупная фигура богатыря⁷⁷. Характерная поза пляшущего воина — развернутые в стороны полусогнутые ноги, приподнятые руки, в обеих по «сабле», клинки которых направлены

острием вверх у правой и левой сторон лица. Голову венчает трехзубый головной убор, четко выделен мужской признак.

Н. Харузин в одной из своих работ дал богатую подборку этнографических и исторических примеров, из которых следует, что с переходом от родового строя к раннегосударственным образованиям нередко возникала тенденция к монополизации вождем не только верховной военной и гражданской, но и высшей религиозной власти. Затем, когда власть правителя стабилизировалась на уровне царской, необходимость такого совмещения отпадала, светская и духовная власть вновь разделялись. Разделение происходило и в том случае, когда раннегосударственное образование по тем или иным причинам вновь уступало место более архаичному родоплеменному обществу⁷⁸.

Охарактеризованная тенденция помогает понять особенности социальной и политической истории обско-угорского общества. Проявление этой тенденции мы видим и в истории ряда других этнических групп Сибири. По материалам, собранным М. Н. Хангаловым и Д. А. Клеменцом, у северных бурят с разложением родового строя возникло в прошлом своеобразное раннегосударственное образование, основным проявлением которого была организованная на военный лад облавная охота на диких животных, сочетавшаяся с грабительскими набегами на соседей. Высшая каста состояла из шаманов-начальников. Во главе общества стоял главный шаман-галши. Во время религиозных обрядов он был верховным жрецом, в военных действиях — главным полководцем, на облавной охоте — главным руководителем, во время тяжб, споров и пр. — верховным судьей. Кроме того, он был главным распорядителем общественной казны, владельцем больших богатств и многих рабов. Затем, в изменившейся исторической обстановке, власть шаманов пала; вслед за этим у северных бурят вновь возобладали родовые начала, основными распорядителями общественной и экономической жизни опять стали родоначальники и выборные старейшины, а на смену шаманам-начальникам пришли обычные шаманы, которые, по словам Д. А. Клеменца и М. Н. Хангалова, «вполне подчинились условиям новой жизни наравне с простыми бурятами периода массового общинного скотоводства»⁷⁹.

Остяцкие богатыри, по сказаниям, были великими людьми и обладали чародейским даром: чуяли приближение врага, умели превращаться в зверей, гадов, птиц и рыб, могли исцелять раны и даже воскрешать мертвых. Как и шаманы, они были способны не только посещать «семь концов земли», но также достигать Верхнего Мира, спускаться в подземное царство, где они даже вступали в сражения с обитателями Преисподней⁸⁰. Обращаясь к высшим божествам, былинные остяцкие князья-богатыри не прибегали к посредничеству шаманов, а осуществляли этот контакт сами, совершая моления и жертвоприношения не только от себя, но и от своих подданных⁸¹. Примечательно, что в остяцких былинах и героических сказаниях в переложении их С. Паткановым шаманы, как таковые, вообще не упоминаются.

После исчезновения богатырей как реальной социальной силы сохранилась вера в их сверхъестественную, религиозную значимость. «Души их, — писал С. Патканов, — и поныне витают над страной остяков, посылают им удачу в рыбной ловле и на охоте и, будучи любимцами бога, устраняют

от них многие бедствия, за что благодарные потомки молятся им, как добрым духам, и приносят им кровавые жертвы и дары»⁸². «Многие из родовых и семейных богов, — отмечает Н. Л. Гондатти, — ничто иное как именно богатыри, признаваемые почему-либо покровителями».⁸³ Еще в текущем столетии путешественники и этнографы встречали на Вахе среди остяцких «прикладов» в жертвенных местах огромные кафтаны и халаты, предназначенные для обожествленных предков-богатырей (матур)⁸⁴. У салымских остяков также был распространен культ предков-богатырей (тонхов). Тонхи изображались в виде деревянных идолов с жестяным лицом; при них имелось богатырское вооружение. Л. Шульц, посетивший на р. Салым несколько священных амбарчиков — обителищ тонхов, перечисляет оружие одного из них: железный меч с раздвоенной рукоятью, боевой топор, нож для скальпирования врагов и бердыш⁸⁵. В XVIII в. культ богатырей у остяков был еще более выражен. Г. Новицкий, побывавший у обских остяков в начале XVIII столетия, писал: «Обаче знамения воинских дел: шабель, панцеров множество обретаются, но вся сия ветхая, а наипаче при кумирах, и отгуду являється, что древних лет народ сей упражняшесья воинскими делы»⁸⁶.

Можно предположить, что почитание богатырей нашло свое обобщенное выражение в культе Орт-ики (Ортика) у остяков и Мир-суснэ-хума у вогулов — светлых солнечных божеств, ведающих всеми делами на земле, посредников между Верхним и Средним Мирами⁸⁷. Они, как и богатыри, представлялись нередко в виде всадников, а их деревянные изображения в кумирнях сопровождалось боевым оружием и имели (как и предки-богатыри: тонхи, матур) серебряное, медное или вообще блестящее металлическое лицо⁸⁸.

Посмертная привилегия богатырей превращаться в родовых божеств, духов-покровителей в равной мере распространялась и на шаманов, что лишний раз говорит об их одинаково высоком социальном положении и подтверждает возможность совмещения их в прошлом в едином лице. Когда умирал простой остяк, изготовленный женщинами «двойник» покойного находился в доме от одного до трех лет, после чего его предавали погребению (иногда сжигали в специальном шалаше). «Ежели же умирал шаман, — сообщает Ф. Белявский, — то в честь памяти его также делают болвана, но уже не одне женщины его рода, а также и мущины, знакомые им, из рода в род поклоняются как божеству»⁸⁹.

Что касается простых общинников, то они имели самое смутное представление о своей посмертной судьбе и, судя по всему, им зачастую отказывалось в праве на бессмертную душу. Основная масса самоедов, по наблюдениям М. А. Кастрена, была уверена, что их посмертный удел — гнить в земле⁹⁰. «Среди остяков, — писал В. Бартнев, — есть много таких, которые отрицают загробный мир, а также вмешательство богов в земные дела. — «Когда я умру, — говорил один остяк, — то больше уже ничего не будет, умру и все тут»⁹¹.

С архаизацией социального устройства обских угров после упадка городков и социальной гибели богатырей место княжеских сокровищниц заняли родовые сокровищницы, однако хозяином и распорядителем их по-прежнему считался князь или богатырь, но уже в виде обожествленного родового предка. По свидетельству П. Инфантьева, в священные амбар-

чки, где находилось родовое божество и хранились сокровища, «каждый нуждающийся вогул мог во всякое время приходиться и брать из них столько, сколько ему было нужно с тем, разумеется, условием, чтобы впоследствии, после первой же удачной охоты возвратить взятое обратно»⁹². По данным, собранным Н. Л. Гондатти, еще в 50—60-х годах прошлого столетия в некоторых из вогульских священных амбарчиков русские и зыряне «находили по сотням разных шкур и по десяткам пудов серебра; подобные запасы имели большое значение в жизни инородцев в случае несчастных происшествий как у отдельных лиц, так и целых родов, так как из них можно было брать взаимобразно какое угодно количество вещей с тем, понятно, чтобы потом, при улучшении условий, все возвращалось обратно с известным увеличением»⁹³.

Социальная структура, описанная в остяцких героических сказаниях, начала складываться, на наш взгляд, с рубежа бронзового и железного веков, когда в связи с освоением в рыболовческом отношении больших рек увеличивается общая экономическая стабильность хозяйства в таежной зоне и часть населения из глубинных районов переселяется на большие реки и прочно оседает здесь. Раскрывая содержание остяцких былин и героических сказаний, С. К. Патканов приходит к выводу, что в те времена «остяки умели добывать рыбу не только в озерах и речках, но и морскую рыбу в крупных реках Иртыша и Оби, где лов требует большого искусства и более крупных снастей»⁹⁴. Былинными богатыри, например, ловили крупных осетров, мясо и жир которых составляли их любимое лакомство⁹⁵.

Уже в конце бронзового века на крупных западносибирских реках таежной зоны — Оби, Иртыше, Томи и др. — повсеместно возникают мощные земляные укрепления со рвом, валом и деревянным частоколом — так называемые городища (Малый Атлым, Чудская Гора, Шайтанка и др.). Ф. Белявский приводит очень интересный факт: по словам остяков, «места, где жили прежде их князцы и владельцы, назывались городами и отличаются... изобилием рыболовства»⁹⁶. Таким образом, городища строились, видимо, лишь там, где их стратегическая необходимость сочеталась с экономическими выгодами.

Выход на большие реки, т. е. по западносибирским понятиям на «большие дороги», способствовал усилению связей с югом, где в это время возрастает спрос на сибирскую пушнину. В обмен на «мягкое золото» в Западную Сибирь поступают высококачественные товары, изготовленные в торгово-ремесленных центрах Средней Азии и других южных стран: предметы роскоши в виде разнообразных серебряных изделий, художественно оформленные зеркала, металлическая посуда, дорогое оружие и т. д. В руках родовой верхушки и военных вождей скапливаются большие материальные ценности, усиливается их политическая власть, возрастает алчное внимание к богатствам соседей. На смену относительно мирной жизни приходит эпоха захватнических войн и грабительских походов. Вся Западная Сибирь покрывается городками-крепостями, являвшимися центрами социально-политических единств, убежищами в дни опасности, местами хранения накопленных богатств.

В 1978 г. во время разведки в Нижнем Прииртышье мы нашли три исторически известных остяцких городка, которые весной 1583 г. (?) брал

сподвижник Ермака атаман Богдан Брязга: Кошелевский, Нимнянский и Цингалинский городки. Внешне они выглядят так же, как городища конца бронзового века и начала железного века. Это дает известное основание предполагать, что таежные западносибирские городища с момента своего появления играли ту же или похожую социально-политическую роль, что и былинные, а также исторически известные остяцкие городки.

Нам представляется, что характеризуемые общества отражают третью, последнюю стадию развития родового строя, когда, по К. Марксу, управление сосредоточивается в руках совета вождей, народного собрания и высшего военачальника⁹⁷. К. Маркс назвал эту стадию «переходным периодом» от родового строя к государству⁹⁸. Ф. Энгельс применительно главным образом к обществам с производящей экономикой употреблял для подобных социально-политических организмов термин «военная демократия»⁹⁹. Общество, построенное на военный лад, было, как правило, более организованным в социально-экономическом и более сильным в военно-политическом отношении. «Война, — писал К. Маркс, — раньше достигла развитых форм, чем мир; способ, каким на войне и в армиях и т. д. такие экономические отношения, как наемный труд, применение машин и т. д., развились раньше, чем внутри гражданского общества»¹⁰⁰.

Таким образом, этнографически засвидетельствованный (и экологически объяснимый) факт, что таежные сибирские аборигены по своей социальной организации во многом оставались на уровне первобытности, не может быть формально спроецирован на древние эпохи; археологические материалы, данные фольклора и отчасти письменные источники говорят о существовании здесь в прошлом достаточно развитых социально-политических организмов — почти на уровне государственных образований.

Вместе с тем, если учитывать весь комплекс накопленных данных, напрашивается вывод о неровной, «волнообразной», если можно так выразиться, социальной истории таежных западносибирских обществ в древности. Скорее всего, здесь в течение нескольких последних тысячелетий, начиная, видимо, с эпохи раннего железа, а возможно, с поздних этапов бронзового века, периоды социальной консолидации — до уровня «военной демократии» чередовались с периодами, когда вновь возвращались к жизни и приобретали силу находившиеся временно в угнетенном состоянии многие элементы древних родовых традиций (во времена сравнительно мирной жизни, ослабления или прекращения южных экономических связей и т. д.). Конечно, волны этих социальных подъемов и спадов имели в разные эпохи и в разных районах разную выраженность, но то, что в целом социальная история здесь шла «неровным» путем, представляется нам почти очевидным. Подобная «волнообразность» социального развития не является беспрецедентной. Нечто похожее мы видим в истории кочевых обществ аридного пояса, где, согласно концепции Г. Е. Маркова, неоднократно совершались переходы от «общинно-кочевого» состояния к «военно-кочевому» и наоборот¹⁰¹. Это, видимо, является особенностью обществ с консервативным укладом, которые при данной форме хозяйства, в данных экологических условиях и на определенном эпохальном фоне уже в значительной мере исчерпали возможности своего социально-экономического развития.

«Военная демократия» (или какой-то ее аналог) у древнего охотничьего и охотничье-рыболовческого населения Западной Сибири была высшей формой социально-политической консолидации, которая могла быть тогда достигнута. В условиях традиционного присваивающего хозяйства рассмотренный уровень социального сплочения таежных западносибирских аборигенов не был следствием достаточно высокого уровня производительных сил. Здесь, в отличие от более южных областей Евразии, не могли утвердиться производящие формы экономики, не мог появиться постоянный прибавочный продукт, не могли возникнуть города как центры ремесла и торговли.

Поэтому главной и по существу единственной причиной возникновения здесь политических образований типа «военной демократии» была милитаризация общества перед лицом длительно существующей военной опасности, необходимость вести частые оборонительные и наступательные войны. Когда эта опасность проходила, должен был исчезать или, во всяком случае, затухать стимул, поддерживающий жизнь таких объединений. Именно в силу этих обстоятельств процесс перехода от родового строя к государству в течение последних тысячелетий возобновлялся здесь неоднократно, но в условиях присваивающей экономики и крайне низкой плотности населения не шел (и не мог идти) дальше этой переходной стадии.

Нижнее Притоболье в переходное время от неолита к бронзовому веку. Мы уже говорили ранее, что проточные и полупроточные озера Нижнего Притоболья на рубеже каменного и бронзового веков были заселены многочисленными группами оседлых рыболовов. К сожалению, на сегодняшний день мы не располагаем объективными критериями, которые позволили бы вычислить хотя бы примерную плотность населения в этом озерном крае в рассматриваемый период. Тем не менее необыкновенная густота поселений (на одном Андреевском озере близ Тюмени открыто к настоящему моменту около ста поселений переходного времени от неолита к бронзовому веку) позволяет с достаточной уверенностью предполагать, что на озерах, подобных Андреевскому, в каждый данный момент того периода могло существовать одновременно по несколько рыболовческих поселков.

Если это так, то в разных местах Нижнего Притоболья должны были возникнуть авторитетные общественные органы, обязанностью которых было регулировать отношения между жителями соседних поселков, наблюдать за правилами пользования рыболовческими угодьями, устанавливать места и сроки функционирования запоров (тем более что от этого нередко зависела рыболовческая производительность соседних проточных озер) и т. д. Одной из важных функций местной общественной власти было руководство работами по расчистке проток. Любопытно, что тобольские татары, в хозяйстве которых рыболовство играло немаловажную роль, до недавнего времени проводили в этом отношении титаническую работу. Они не только регулярно расчищали озерные протоки, но и с целью повышения продуктивности местных рыболовческих угодий копали иногда специальные каналы, соединявшие непроточные озера с проточными или с реками бассейна Тобола, т. е. создавали искусственные протоки. Остатки таких старых «перекопов» встречались нам, например, в бассейне р. Иски

Нижне-Тавдинского района Тюменской обл. При обзоре сверху вид такой системы озер с естественными протоками и искусственными «перекопами» вызывает ассоциацию с древними ирригационными системами аридного пояса.

Мы не случайно упомянули о земледелии в связи с оседлым рыболовством. Несмотря на казалось бы абсолютное несходство оседло-рыболовецкого и примитивно-земледельческого укладов, между ними наблюдается ряд сопоставимых признаков: 1) если у населения с производящей экономикой оседлость обеспечивается земледелием, то у групп с присваивающим хозяйством оседлость всегда связана с рыболовством; 2) и земледелие, и оседлое рыболовство требуют большой затраты труда на малую площадь угодий; 3) и земледелие, и оседлое рыболовство позволяют получать довольно обильный пищевой продукт со сравнительно небольшой площади угодий; 4) и земледелие, и рыболовство (земледелие, конечно, в большей степени) способны обеспечить высокую плотность населения; 5) материнский род, по наблюдениям Д. П. Мэрдока, Д. Ф. Аберле и других, характерен, в первую очередь, для обществ, занимающихся примитивным земледелием и оседлым рыболовством¹⁰².

Исследователи считают, что оседлый рыболовецкий быт позволяет достигать высокого уровня культуры. Так, оседло-рыболовецкое население низовьев Амура еще в неолите освоило земледелие со скотоводством и очень рано овладело тайнами железодельного производства¹⁰³. По этнографическим данным, приведенным в зарубежной этнографической литературе, оседлые рыболовы Южной Флориды сумели разработать политическую систему типа государства, а культура оседлых рыболовов Нигера и Конго «не уступала по сложности культурам соседей-земледельцев»¹⁰⁴. Все это дает основание предполагать, что у оседло-рыболовецких групп Нижнего Притоболья в переходное время от неолита к бронзовому веку могла сложиться достаточно развитая социальная структура — возможно, на уровне южных обществ, существовавших за счет примитивного мотыжного земледелия.

Север лесостепной и юг тасжной зон — ареал многоотраслевого хозяйства

Насколько позволяют судить археологические материалы, андронидное население Зауралья и Западной Сибири — черкаскульцы, сузгунцы, еловцы — в культурном отношении стояли не ниже своих степных соседей, живших в пределах ареала андроновской историко-культурной области. Думается, что то же самое можно допустить в отношении уровня общественного развития. Это предположение высказывал, например, К. В. Сальников, касаясь социальной организации черкаскульского населения¹⁰⁵. К такой же точке зрения склоняется В. И. Матюшенко, анализируя общественное устройство еловцев¹⁰⁶. Эти высказывания правомерны, во всяком случае, по отношению к южным андронидным группам, образ жизни которых особенно близок андроновскому: у тех и других мы видим большую или значительную роль пастушеско-земледельческих занятий, тяготение поселений к широким речным поймам, сходство ряда элементов материальной культуры. Видимо, в северной части андронидного массива, где

основную роль в хозяйстве играли охотничье-рыболовческие промыслы, следует ожидать понижения плотности населения и приближения характера социальной организации к общественному устройству северных таежных аборигенов.

Для более поздних эпох данные о социальной жизни населения рассматриваемого ареала почти так же скудны. Те же суждения на этот счет, которые были высказаны в одной из статей В. Е. Стоянова о культурах раннежелезного века лесостепной зоны, мало что добавляют к общей социологической схеме, одинаково приложимой ко всем обществам Евразии всех времен. «Можно думать, — пишет он, — что общество первой половины I тысячелетия до н. э. (по сравнению со второй половиной I тысячелетия до н. э. — М. К.) характеризовалось более прочными традициями архаического коллективизма, менее выраженным обособлением частей общин... Можно предполагать и некую неравномерность социального развития по ареалам»¹⁰⁷.

Нам представляется, что север лесостепи и юг таежной зоны, которые, как справедливо считает В. А. Могильников, обеспечивали «необходимый прожиточный минимум для значительного более многочисленного оседлого обществ, чем степь»¹⁰⁸, были более удобны и для сложения относительно прочных социальных и политических образований. Вряд ли случаен тот факт, что столица Сибирского ханства Искер находилась не в степи и даже не в лесостепи, а на юге таежной зоны, где, видимо, существовала более подходящая социальная среда для возникновения центра политического объединения.

В этой связи интересно, что наиболее развитые в культурном отношении группы бронзового века Зауралья и Западной Сибири — носители абашевской (баланбашской), самусьской, еловской и других культур, с высоким уровнем бронзолитейного производства, колоритной керамикой, богатым изобразительным искусством и т. д., — жили на севере лесостепной и на юге таежной зон. То же самое мы наблюдаем и в период освоения Сибири русскими. В пограничье тайги и лесостепи в то время жили тобольские, иртышские, томские тюрки, знавшие скотоводство и земледелие, хорошо владевшие кузнечным ремеслом, активно участвовавшие в экономической и политической жизни Западной Сибири той эпохи.

Локализация на стыке двух основных ландшафтно-растительных зон — леса и степи — давала более разносторонние возможности адаптации к природной среде. Кроме того, эта территория, являясь зоной контактов ареалов производящей и присваивающей экономики, была местом, где издревле концентрировался культурный, производственный и социальный опыт населения разных культур — охотников, рыболовов, земледельцев и скотоводов. К. Маркс подчеркивал, что области, сочетавшие разные природные условия, дают лучшие возможности для экономического, а следовательно, и социального развития. Он, в частности, замечает: «Не абсолютное плодородие почвы, а ее дифференцированность, разнообразие ее естественных продуктов составляют естественную основу общественного разделения труда; благодаря смене тех естественных условий, в которых приходится жить человеку, происходит умножение его собственных потребностей, способностей, средств и способов труда»¹⁰⁹.

Нам представляется, что со времени сложения в пограничье тайги

и лесостепи многоотраслевого хозяйства, сочетавшего присваивающие промыслы и производящие отрасли, т. е., видимо, еще с энеолита, население этой территории по потенциальным возможностям своего социального и экономического развития находилось в более выгодном положении, чем население степей и более северных таежных районов. Как эти возможности реализовались в древности, реализовались ли вообще, а если не реализовались, то почему, должно явиться в будущем особой темой исследования.

К проблеме материнского рода

В последние годы специалисты по истории первобытного общества все чаще высказывают мнение, что проблема первичности материнского рода может иметь альтернативное толкование¹¹⁰. В среде зарубежных и отечественных исследователей сейчас почти не осталось таких, кто бы безоговорочно считал, что материнский род является универсальной исторической стадией, пройденной всеми народами и приуроченной к началу родового строя. С. А. Маретина, анализируя нынешнее состояние наших знаний о матрилинейном обществе, указывает, что «матрилинейность не вытекает непосредственно из уровня развития: ее можно встретить как у народов, находящихся на раннеродовом уровне, так и у достаточно высокоразвитых (южноиндийские наяры) Правда, есть определенный предел, когда с увеличением производительности хозяйства и политической централизации матрилинейные коллективы уступают место патрилинейным (но уже не на родовом уровне) или билатеральным»¹¹¹. Касаясь вопроса о мнимой архаичности материнского рода, С. А. Маретина обращает внимание на то, что «матрилинейная структура отличается большей сложностью, чем патрилинейная на соответствующем уровне, и дает значительно большее разнообразие форм (например, матриликальность при патрилинейности; матрилинейность при аванкулолокальности и патрилинейном наследовании должностей и т. д.)»¹¹². Сибирские археологи отмечают, что для таежной и тундровой зон Западной Сибири мы пока не располагаем данными для заключения о существовании здесь когда-либо материнского рода. Л. П. Хлобыстин в одной из своих работ привел примеры, свидетельствующие о том, что у неолитических охотников северной Евразии нередки насильственные захоронения женщины в одной могиле с мужчиной¹¹³. По его наблюдениям, неолитические антропоморфные скульптуры севера Евразии изображают почти исключительно мужчин¹¹⁴. Заметим в этой связи, что за редким исключением (см., например, рис. 23, 11) по существу все определимые человеческие фигурки на древних наскальных изображениях Урала и подавляющее большинство известных бронзовых антропоморфных идолов Восточного Зауралья и Западной Сибири также изображают мужчин. То же самое отмечается для древней деревянной и каменной скульптуры. Так, верхняя часть каменных пестов и рукоятей терочников из памятников самусьско-сейминской эпохи оформлялись обычно в виде фаллоса или головы мужчины¹¹⁵. В. И. Матюшенко, касаясь общественного строя западносибирского населения эпохи бронзы в таежном Приобье, в частности социальной организации носителей самусьской культуры, высказался в пользу существования у них «устойчивых патриархальных норм»¹¹⁶.

Ко времени прихода в Сибирь русских у всех сибирских народов несмотря на то, что многие из них оставались на уровне первобытности, род был патрилинейным, брак патрилокальным, а основной хозяйственной единицей была патриархальная семья, хотя у некоторых этнических групп в семейно-родовых обычаях встречались отдельные проявления, которые при желании можно было принять за реликты материнского рода. Так, например, у нганасан, энцев, селькупов, кетов прослеживаются пережитки матрилокального брака и матрилинейного счета родства¹¹⁷. Кроме того, этнографы зафиксировали у ряда аборигенных групп Сибири достаточно хорошо выраженный культ матери-родоначальницы. У селькупов почитается Небесная Мать, Жизнедательница-Старуха¹¹⁸, у ваховских остяков — Пугос-лунг (Мать-дух) или Торум-анка (Мать бога)¹¹⁹, у северных угров — Великая Проматерь фратрии Мош (Калташ-эква)¹²⁰, у нганасан хорошо изучен этнографически культ Матерей Природы¹²¹.

Этнографы считают, что почитание матери-родоначальницы, элементы матрилокального брака и матрилинейного счета родства являются свидетельством существования у этих народов в прошлом материнского рода. Авторы коллективной монографии «Общественный строй народов Сибири» высказали мысль, что для значительной части народов Крайнего Севера возникновение и развитие оленеводства «является тем рубежом, после которого начинает возрастать правовое преимущество мужчин»¹²². Однако при этом авторы упомянутой монографии ничего не говорят о том, в чем, собственно, может выражаться отличие правового статуса пешего охотника от охотника, использующего оленя в транспортных целях.

Другие этнографы, например Е. Д. Прокофьева, считают, что разложение материнского рода у западносибирских аборигенов, в частности у селькупов, произошло всего лишь 300—350 лет назад, в XVII в., и было связано с «переселением с древних территорий родов, с возрастающей ролью мужчин-воинов, защитников рода»¹²³. Нам представляется, что ставить процесс смены материнского рода отцовским в прямую связь с миграциями, отвлекаясь от производственного и экологического факторов, нет оснований. История Западной Сибири в течение всего археологически обозримого периода была богата миграциями, и совершенно непонятно, почему лишь одна из недавних миграций, случившаяся у селькупов три века назад, привела к разложению материнского рода и становлению отцовского.

Легко заметить, сколь несходны точки зрения западносибирских археологов и этнографов: если первые склонны считать, что патрилинейные традиции в развитии рода господствовали с каменного века, то вторые полагают, что материнский род сменился отцовским лишь накануне этнографической современности. Эти точки зрения противостоят друг другу как взаимоисключающие, хотя и у нас, и за рубежом этнография накопила много данных, которые говорят о том, что к рассматриваемой проблеме нельзя подходить однозначно. Д. Ф. Аберле, рассмотревший вслед за Д. П. Мэрдоком 565 родовых обществ Америки, Африки, Южной Азии и Океании, обратил внимание на то, что матрилинейные общества (84 из 565, т. е. 15%) характерны для тех районов, где основная роль в хозяйстве принадлежит примитивному земледелию, не знающему плуга и ирригации, или оседлому рыболовству¹²⁴. В обществах, связанных со ското-

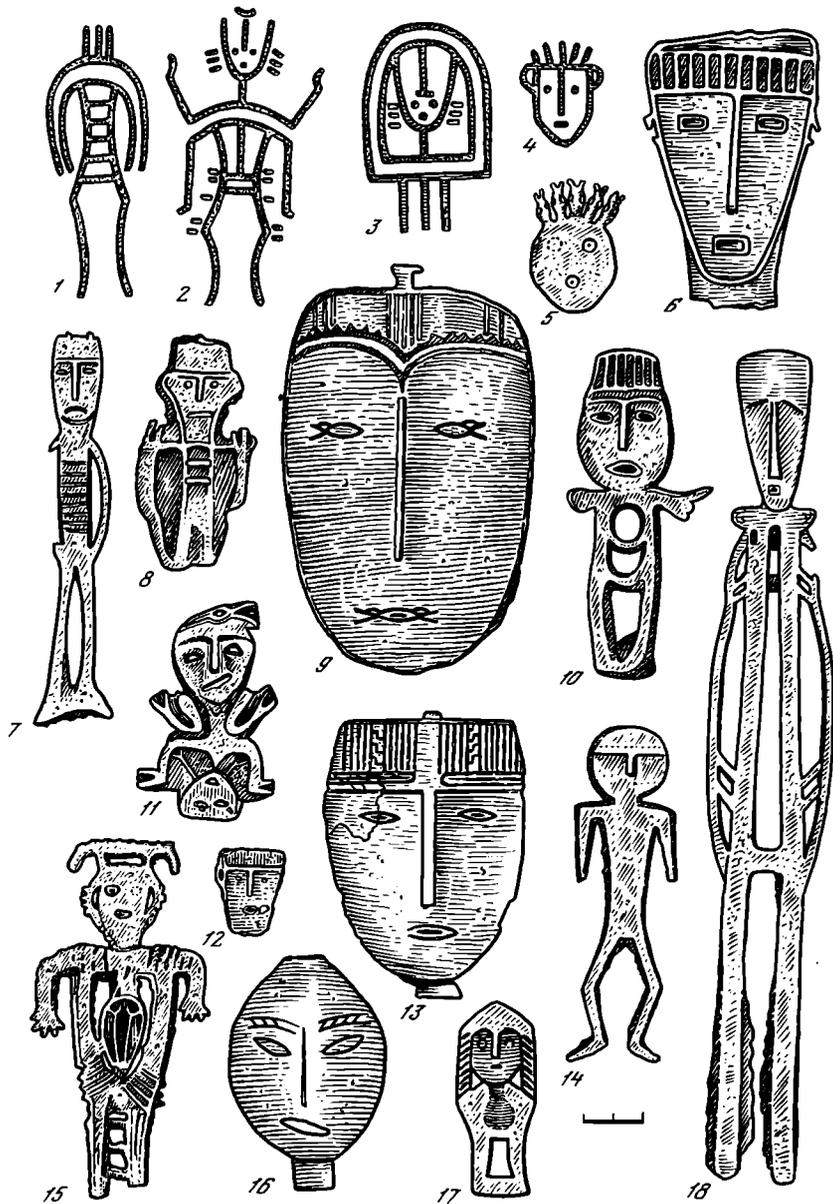


Рис. 23. Древние западносибирские антропоморфные изображения

1—3 — самусьско-сейминская эпоха; 4—8, 10, 14—16 — железный век; 9, 12, 13, 17, 18 — средневековье; 11 — дата неизвестна
 1—3 — Самусьское IV поселение; 4 — Кижировское городище; 5, 15 — Шайтанская II стоянка;
 6 — Мало-Юксинское культовое место; 7, 11 — Тюменская обл., 8, 14 — Степановский клад;
 9, 12, 13 — верховья Томи; 10 — Мурлинский клад; 16 — Парабельский клад; 17 — городище Шаманский Мыс на р. Васюган; 18 — поселение Напас на р. Тым.
 1—4 — рисунки на глиняной посуде; остальное — бронзовое и медное литье

водством, охотой и собирательством, матрилинейность встречается как исключение.

Из 84 матрилинейных обществ лишь 13 имели присваивающую экономику, но семь из этих 13 (северо-запад Северной Америки) были оседлыми рыболовами, а четыре (Южная Америка), хотя являлись бродячими охотниками и собирателями, судя по ряду данных, некогда знали земледелие, но утратили его в послеколумбовый период, когда были вытеснены в непригодные для земледелия районы ¹²⁵, т. е. матрилинейность у них является как бы социальным реликтом.

Матрилинейность оседло-рыболовческих обществ, видимо, объясняется тем, что роль женщины была там особенно велика. Рыболовческие занятия были более свойственны женщине, чем охотничий промысел: они не требовали длительных отлучек и поэтому не слишком мешали исполнению повседневных домашних обязанностей — приготовлению пищи, шитью одежды, воспитанию детей и т. д. Ф. Белявский, перечисляя основные занятия остячки (разбивка чума, приготовление пищи, шитье, заготовка дров и т. д.), называет также рыбную ловлю, консервирование рыбы на зиму и вязание сетей ¹²⁶. По его наблюдениям, у самоедов рыболовством тоже занимались обычно женщины ¹²⁷. Интересно, что безоленные хозяйства тазовских селькупов, перешедшие в начале XX в. к рыболовческому типу хозяйства, обычно не имели мужчин ¹²⁸. Похожую картину сибирские этнографы наблюдали в конце прошлого столетия у тундровых юкагиров и тунгусо-юкагиров: оседлым рыболовческим хозяйством у них жили, как правило, безоленные семьи и семьи, потерявшие мужчин-кормильцев ¹²⁹.

А. Ф. Анисимов, доказывая безусловную, на его взгляд, первичность материнского рода, писал: «Можно указать на народы, перешедшие от матрилинейности к патрилинейности, но нельзя указать на такие, которые проделали бы обратную эволюцию» ¹³⁰. Однако если иметь в виду наличие определенного предела увеличения «производительности хозяйства и политической централизации», при котором, по С. А. Маретиной, матрилинейные коллективы могли уступать место патрилинейным, то следует признать, что современные этнографы наблюдали преимущественно те социальные трансформации, которые совершались на том самом «пределе», а не до него. Думается все-таки, что за рамками этого «предела» обратные трансформации могли иметь место. Выше мы уже говорили о случаях, когда женщины в силу конкретных исторических обстоятельств приобретали первенствующую роль в хозяйстве (например, при переходе от охоты к оседло-рыболовческим занятиям в результате гибели мужчин-кормильцев на войне или охотничьих промыслах). В принципе такие ситуации могли дать начало формированию новой социальной традиции (наследование по материнской линии, принятие в свой род мужчин-чужеродцев и т. д.).

Исходя из вышеизложенного, можно предполагать, что в первобытную эпоху матрилинейные элементы в условиях присваивающего хозяйства были более свойственны оседлому рыболовческому населению, в условиях производящей экономики — группам с примитивным мотыжным земледелием. В свете этого существование материнского рода или наличие ряда матрилинейных черт достаточно вероятно у древнего населения Нижнего Притоболья, где в переходное время от неолита к бронзовому веку обитали

многочисленные группы оседлых рыболовов. Возможно, матрилинейные элементы были присущи родовой организации пастушеско-земледельческого населения андроновской эпохи, в том числе и южных андронидных групп. В последние годы к мысли о возможности материнского рода у пастушеско-земледельческого и земледельческого населения степей и полупустынь в эпоху бронзы (у андроновцев и тазабагыябцев) склоняется М. А. Итина¹³¹.

Что касается носителей других хозяйственных типов Западной Сибири — охотничьего, охотничье-рыболовческого, кочевого скотоводческого, то здесь матрилинейные тенденции в развитии рода, видимо, никогда не были преобладающими. Однако в этом отношении вряд ли применимы какие-либо абсолютные формулы и схемы. Надо учитывать, что в некоторых случаях, например при смене одного экономического уклада другим, социальная традиция могла переживать хозяйственную, а при смешении этносов с разными социальными традициями социальный синкретизм мог иметь множество вариантов — в зависимости от экологических, экономических, исторических и других условий.



¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 522.

² Там же, с. 523.

³ Зданович Г. Б., 1975.

⁴ Косарев М. Ф. 1976, с. 15.

⁵ Зданович Г. Б., 1975, с. 4.

⁶ Толыбеков С. Е., 1971; Хазанов А. М., 1975; Марков Г. Е., 1976; Пуляркин В. А., 1976.

⁷ Толыбеков С. Е., 1971, с. 600.

⁸ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 22.

⁹ Головачев П. М., 1905, с. 242.

¹⁰ Тутковский П. А., 1915; Гумилев Л. Н., 1967.

¹¹ Рыбаков С. Г., 1897, с. 173.

¹² Гейнс А. К., 1898, с. 581.

¹³ Рыбаков С. Г., 1897; Головачев П. М., 1902.

¹⁴ Долгих Б. О., 1960, с. 615.

¹⁵ Кулаков П. Е., 1898, с. 98—100.

¹⁶ Там же, с. 97.

¹⁷ Каратанов И., 1886, с. 619.

¹⁸ Маргулан А. Х., 1979, с. 263—272. Не исключено, что факт полного отсутствия на поселениях тазабагыябской культуры в Приаралье зерен культурных злаков (Итина М. А., 1977, с. 178) отчасти объясняется тем, что выявленные археологически тазабагыябские орошаемые участки были не земледельческими, а пастбищными или сенокосными угодьями.

¹⁹ Абрамов Н. А., 1886, с. 351—352.

²⁰ Врангель Ф., 1841, с. 345.

²¹ Рычков К. М., 1917, с. 14.

²² Овчинников М., 1898, с. 102.

²³ Хлобыстин Л. П., 1972, с. 32.

²⁴ Паллас П. С., 1788, с. 94—98.

²⁵ Там же, с. 120.

²⁶ Симченко Ю. Б., 1976, с. 185—189.

²⁷ Долгих Б. О., 1960, с. 169; Хлобыстин Л. П., 1972, с. 32; Симченко Ю. Б., 1976, с. 185—189.

²⁸ Долгих Б. О., 1960, с. 619.

²⁹ Йохельсон В., 1900.

³⁰ Бахрушин С. В., 1935, с. 14.

³¹ Зуев В. Ф., 1947, с. 68.

³² Левшин А., 1832, ч. 3, с. 83.

³³ Львов В., 1908, с. 27.

³⁴ Россия. Полное географическое описание нашего отечества. СПб., 1903, т. XVIII, с. 240.

³⁵ Чернецов В. Н., 1971, с. 75.

³⁶ Любарских П., 1792, с. 62.

³⁷ Долгих Б. О., 1960; Генинг В. Ф., 1970, с. 100.

³⁸ Лисицына Г. Н., 1972, с. 11—16.

³⁹ Кузнецов Н. И., 1887, с. 745—746.

⁴⁰ Носилов К. Д., 1904.

⁴¹ Сенкевич-Гудкова В. В., 1949.

⁴² Угрин М. И., 1971, с. 132.

⁴³ Шаргородский С., 1895, с. 136.

⁴⁴ Там же, с. 147.

⁴⁵ Таксами Ч. М., 1972, с. 197.

⁴⁶ Пигнатти В. Н., Ивановский В. А., Гладышев Т. П. и др., 1911, с. 9—11.

⁴⁷ Елькина М. В., 1977, с. 104.

⁴⁸ Патканов С., 1891, с. 45.

⁴⁹ Патканов С. К., 1892, с. 92.

⁵⁰ Патканов С., 1891, с. 43.

⁵¹ Там же, с. 48.

⁵² Материалы по фольклору хантов, 1978, с. 31.

⁵³ Патканов С., 1891, с. 49.

⁵⁴ Патканов С. К., 1892, с. 94.

⁵⁵ Патканов С., 1891, с. 32.

- 56 Шишонко В., 1884, с. 714.
 57 Там же, с. 713.
 58 Патканов С., 1891, с. 20—21.
 59 Там же, с. 22.
 60 Там же, с. 71.
 61 Шишонко В., 1884, с. 714; Бахрушин С. В., 1935, с. 14.
 62 Бахрушин С. В., 1935, с. 37, 67.
 63 Миллер Г. Ф., 1937, с. 242.
 64 Патканов С., 1891, с. 68.
 65 Там же, с. 102.
 66 Бахрушин С. В., 1935, с. 24.
 67 Миллер Г. Ф., 1937, с. 244.
 68 Бахрушин С. В., 1935, с. 45.
 69 Там же, с. 34.
 70 Там же, с. 47—49.
 71 Городков Б., 1912, с. 198.
 72 Иванов С. В., 1978, с. 138—142.
 73 Белявский Ф., 1833, с. 90—91.
 74 Этнографические замечания и наблюдения Кастрена о лопарях, самоедах и осянках, извлеченные из его путевых воспоминаний 1838—1844 гг. СПб., 1858, с. 308—309.
 75 Чернецов В. Н., 1957, табл. XXII.
 76 Мошинская В. И., 1953а, табл. XV.
 77 Спицын А., 1906, рис. 4; 7; 9.
 78 Харузин И., 1903, с. 240—281.
 79 Клеменц Д. А., Хангалов М. Н., 1910.
 80 Патканов С., 1891, с. 45, 47.
 81 Там же, с. 63.
 82 Там же, с. 74.
 83 Гондатти Н. Л., 1888б, с. 37.
 84 Дмитриев-Садовников Г., 1916, с. 6; Шатилов М. Б., 1931, с. 105.
 85 Шульц Л., 1913.
 86 Новицкий Г., 1884, с. 44.
 87 Прыткова Н. Ф., 1949б.
 88 Белявский Ф., 1833, с. 99; Смирнов И., 1894, с. 143; Шульц Л., 1913; Прыткова Н. Ф., 1949б.
 89 Белявский Ф., 1833, с. 99.
 90 Этнографические замечания и наблюдения Кастрена..., 1858, с. 298—299.
 91 Баргенов В., 1896, с. 83—84.
 92 Инфантьев П., 1909, с. 245.
 93 Гондатти Н. Л., 1888б, с. 8.
 94 Патканов С., 1891, с. 34.
 95 Там же, с. 34.
 96 Белявский Ф., 1833, с. 52.
 97 См.: Архив Маркса, Энгельса, т. IX, с. 88.
 98 См.: Там же, с. 147.
 99 Маркс К., Энгельс Ф., Соч., т. 21, с. 164.
 100 Маркс К., Энгельс Ф., Соч., т. 46, ч. I, с. 46.
 101 Марков Г. Е., 1976, с. 313.
 102 Aberle D. F., 1961; Murdock G. P., 1957.
 103 Окладников А. П., 1979.
 104 Murdock G. P., 1968, p. 15.
 105 Сальников К. В., 1967, с. 369.
 106 Матющенко В. И., 1974, с. 110—112.
 107 Стоянов В. Е., 1977, с. 158.
 108 Могильников В. А., 1976, с. 162—163.
 109 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 522.
 110 Членов М. А., 1971; Григорьев Г. П., 1972.
 111 Маретина С. А., 1979, с. 131.
 112 Там же, с. 132.
 113 Хлобыстин Л. П., 1972, с. 39.
 114 Там же, с. 40.
 115 Косарев М. Ф., 1981.
 116 Матющенко В. И., 1973б, с. 90.
 117 См.: например: Пелих Г. И., 1963, с. 146; Алексеенко Е. А., 1967.
 118 Прокофьева Е. Д., 1952, с. 103.
 119 Шатилов М. Б., 1931, с. 129.
 120 Чернецов В. Н., 1965.
 121 Симченко Ю. Б., 1963.
 122 Общественный строй народов Северной Сибири, 1970, с. 72.
 123 Прокофьева Е. Д., 1952.
 124 Aberle D. F., 1961, p. 667—668.
 125 Ibidem, p. 669.
 126 Белявский Ф., 1833, с. 120. Видимо, утверждение А. А. Попова, что в Сибири «плетением сетей занимались исключительно мужчины» (1955, с. 98), не вполне справедливо.
 127 Белявский Ф., 1833, с. 167.
 128 Лебедев В. В., 1978, с. 24.
 129 Иохельсон В., 1900, с. 163.
 130 Анисимов А. Ф., 1969, с. 27.
 131 Итина М. А., 1977, с. 216, 227—228.



Археологический материал, фиксируя сам факт миграций, обычно почти ничего не говорит об их причинах и социальном содержании. Приблизиться к пониманию этих сторон древних миграций можно лишь обратившись к этнографическим свидетельствам. Однако методика археолого-этнографических сопоставлений не разработана и во многом спорна. До сих пор бытует мнение, что археолого-этнографические параллели правомерны только в тех случаях, когда сравниваемые факты относятся к обществам, находящимся на одной стадии социально-экономического развития. Между тем это положение, безусловно полезное для начинающих археологов, превращается в тормоз научного познания, когда им пытаются руководствоваться на всех этапах исследовательского процесса. Преподносимый на уровне формулы, этот тезис не отражает сложности, многообразия и нестандартности подходов к исследовательским возможностям археолого-этнографических сопоставлений.

Социальное содержание древних переселений (мы считаем переселение более широким понятием, чем миграция) во многом определяется причинами, их вызвавшими. Если исходить из археологических и этнографических источников, то с точки зрения конкретных стимулирующих обстоятельств древние переселения можно разделить на четыре основные разновидности. К первой относятся регулярные перемещения производственных коллективов, диктуемые самим характером хозяйства: следование за стадами по путям их традиционных перекочевок (например, у древних охотников на степных копытных), весенняя перекочевка к летним рыболовческим угодьям и осенняя — к местам зимних охотничьих промыслов (например, у хантов и их предков), периодические, раз в несколько лет, переселения, вызванные необходимостью освоения под пашню новых участков тайги (например, у шорцев и северных алтайцев), и т. д. Такие передвижения не выходили, как правило, за пределы родовых и племенных территорий. Они являются необходимым условием существования конкретных хозяйственных типов и в историческом плане, видимо, не могут быть квалифицированы как миграции.

Ко второй разновидности переселений относятся нерегулярные перемещения отдельных групп людей, обусловленные причинами, не укладывающимися в рамки строгих социально-экономических закономерностей. Судя по этнографическим материалам, к числу таких причин относятся бегство от кровной мести, смерть близких, «выживание шайтаном» и др. К. Д. Носилов в своих поездках по Восточному Зауралью не раз встречал вогульские стойбища, покинутые людьми после серии несчастий дома и на промыслах¹. Такие заброшенные места считались «плохими» и долгое время оставались незаселенными. Подобные переселения затрагивали

обычно незначительное количество людей — семью, производственный коллектив. Они не нарушали стабильности этносов и не вызывали сколь угодно значительных социальных последствий.

В третью разновидность следует включить переселения, вызванные причинами политического характера, например военными нашествиями чужеродных групп с целью порабощения, грабежей и взимания дани. Сами эти вторжения не являлись миграциями, так как не были вызваны необходимостью хозяйственного освоения новых территорий (вспомним походы остяцких богатырей в чужие земли для добывания жен, рабов и материальных ценностей), но они могли давать импульс миграционным процессам. Если местное население было не в силах противостоять таким нашествиям, оно нередко переселялось в другие, более безопасные районы. Эта причина приобрела значение уже на стадии разложения родовых отношений, когда, по Ф. Энгельсу, «война и организация для войны становятся ... регулярными функциями народной жизни»².

И, наконец, четвертая разновидность — переселения, являвшиеся следствием глубоких внутренних социально-экономических процессов. Побудительной силой таких миграций, захватывавших как отдельные семьи, так и родовые коллективы, группы родственных родов и целые народы, было несоответствие между медленными темпами развития производительных сил и относительно быстрыми темпами роста численности населения. Тезис о перенаселенности и давлении избытка населения на производительные силы как основной причине древних миграций был сформулирован К. Марксом. Он писал: «Давление избытка населения на производительные силы заставляло варваров с плоскогорий Азии вторгаться в государства Древнего мира». И далее: «Рост численности у этих племен приводил к тому, что они сокращали друг другу территорию, необходимую для производства. Поэтому избыточное население было вынуждено совершать те полные опасностей великие переселения, которые положили начало образованию народов древней и современной Европы»³.

Миграции, обусловленные давлением избытка населения на производительные силы, наиболее логичны и оправданы как с экологической, так и с исторической точек зрения. Они сопутствовали человечеству на всех этапах его древней истории. По строгой последовательности причинно-следственных связей всех своих звеньев — от причин до социальных последствий — этот тип миграций выступает в ранге исторической закономерности и именно поэтому привлек к себе внимание К. Маркса⁴. Ниже мы будем касаться социальной характеристики прежде всего этой категории миграций.

Обращает на себя внимание следующее весьма примечательное обстоятельство: кризисная обстановка, которая предшествовала древним миграциям интересующего нас типа, была в сущности аналогична кризисным ситуациям, которые складывались накануне крупных экономических открытий древности — таких, например, как переход от охоты и рыболовства к пастушеско-земледельческому хозяйству, а от последнего к кочевому скотоводству. И миграциям, и «экономическим революциям» древности предшествовали обычно ухудшение условий для ведения традиционных форм хозяйства и обострение проблемы перенаселенности.

Однако для успешного перехода к новой, более рациональной форме хозяйства, кроме наличия кризисной ситуации, требовалось по крайней мере еще два условия: а) достаточно высокий уровень развития производительных сил, т. е. потенциальная готовность к новому уровню экономики; б) соответствие новой формы хозяйства экологическим особенностям района. При отсутствии хотя бы одного из этих условий кризис приводил к хозяйственным спадам и к миграциям.

По западносибирским этнографическим материалам, миграции в первую очередь захватывали группы с наиболее консервативными производственными традициями. Русское крестьянство Сибири по сравнению с аборигенами было менее склонно к миграциям, потому что умело лучше приспособлять хозяйство к меняющейся природной среде. Так, лесные пожары, приводившие к исчезновению промыслового зверя, заставляли аборигенов уходить в более благоприятные для охоты места⁵; русские же старожилы, имевшие большой социально-производственный опыт, с успехом использовали гари под пашни, пастбище, сенокосы и пасеки.

В этой связи мне бы хотелось привести пример, показывающий, что и в наши дни даже небольшие локальные изменения географической среды могут привести иногда к миграции или полному изменению характера хозяйства. Когда наша разведочная группа в 1965 г. появилась в верховьях Кети, большие массивы леса здесь были уничтожены кедровым шелкопрядом. Лето 1965 г. было засушливым и изобиловало лесными пожарами, губительность которых была особенно сильной потому, что после шелкопряда осталось много древесного сухостоя. В результате значительные участки тайги полностью выгорели, и количество промыслового зверя сильно уменьшилось. Местные жители занимались в основном охотничьим промыслом, и в сложившейся обстановке многие из них оказались не у дел. Все говорили, что жить здесь теперь нечем, некоторые собирались переезжать в более благополучные таежные районы. Когда мы появились здесь несколько лет спустя, то обнаружили, что эти места не только не обезлюдели, но, наоборот, стали более многолюдными. Оказалось, что после пожаров многие гари покрылись мощной травянистой растительностью, среди которой преобладали медоносы. Местное население учло это и переключилось в основном на пчеловодство, которое оказалось надежной и очень доходной отраслью. Конечно, столь удачное преодоление этого экологического микрокризиса стало возможным потому, что жившее здесь русское старожильческое население обладало достаточно большим производственным опытом. Если бы такая ситуация сложилась 500 лет назад, то жившим здесь аборигенам предстояла бы или жесткая голодовка, или необходимость переселиться на другую территорию.

К похожему результату приводили экологические микрокризисы в степных районах. Куянжилы, повторявшиеся в Тургайском крае через каждые 10—12 лет, в течение тысячелетий обрекали местных кочевников-скотоводов на периодические голодовки или заставляли их искать счастья в других местах. Но лишь куянжил 1879 и 1880 гг. способствовал переходу значительной части тургайских казахов к более надежному земледельческому хозяйству. Такой вариант преодоления кризисной ситуации стал возможным потому, что к этому времени тургайские казахи успели изучить

и оценить земледельческий образ жизни поселившихся здесь русских крестьян.

Таким образом, несмотря на то что миграции и экономические трансформации древности — разные явления, они тем не менее могут рассматриваться в плане общей исторической закономерности — как два разных варианта решения проблемы перенаселенности. В одном случае мы имеем пассивный вариант выхода из сложившегося кризиса — миграцию, в другом случае активный вариант выхода из того же кризисного состояния — переход на другой уровень экономики.

Начало миграций обычно следует за моментом, когда становится очевидным, что объем добываемого продукта не позволяет прокормить людей, живших на данной территории. Избыточное население было вынуждено уходить в другие районы и тем самым приводить в соответствие количество людей с объемом пищевых ресурсов. Собственно, ту же самую цель — приведение в соответствие объема пищевых ресурсов с возросшим количеством людей — преследует и переход от одной формы хозяйства к другой, с тем лишь отличием, что в данном случае имеет место активный акт — отказ от традиционной формы хозяйства, а не стремление сохранить его. Однако оба явления в равной мере происходят в условиях давления избытка населения на производительные силы.

Фактор давления избытка населения на производительные силы действовал с особой жестокостью при истощении естественных угодий в результате их хищнической эксплуатации или из-за крупных стихийных бедствий, когда резко сокращалась урожайность полей и пастбищ, начинался падеж домашних и диких животных, приходила угроза голода и эпидемий. К сожалению, археологический материал не дает возможности судить, насколько губительными были последствия стихийных бедствий в прошлом и какие их конкретные проявления заставляли древних людей покидать родные места. Поэтому вновь обратимся к историческим хроникам и этнографическим свидетельствам.

Сургутские остяки в одной из челобитных XVII в. пишут: «Да у нас же прежние звериные угодья... выгорели и запустели и зверя никакого нет, а ходим мы на лес промышлять в дальние места»⁶. В 1897 г. в четырех волостях Большеземельской тундры вследствие гололедов и истощения ягельных пастбищ пало 220 тыс. оленей, т. е. около двух третей всего стада⁷. Часть большеземельских самоедов в надежде сохранить своих оленей передвинулась в сторону Урала и далее. В степной зоне гололеды и снежные зимы повторялись не менее часто, чем в тундре. «Киргизы (казахи.—М. К.) подметили, — пишут авторы дореволюционного много-томника «Россия», — что такие бедственные годы (совпадающие с их «коюн», то есть заячьим годом) происходят периодически через 10—12 лет; эта периодичность совпадает с периодичностью увеличения и уменьшения солнечных пятен и находящимися в связи с этим переменаами температуры на земле»⁸. В 1879—1880 гг. в Тургайской обл. от гололедицы, буранов и глубоких снегов погибло более 1,5 млн. голов скота, т. е. почти половина всего стада⁹. В такие годы в казахстанских степях усиливались миграционные процессы, становились обычными «баранта» (разбой с целью угона стад) и захват чужих пастбищных угодий. Перечень подобных примеров можно продолжать до бесконечности. Они говорят о том, что

перед людьми в прошлом не раз вставала проблема выбора меньшего зла: остаться на своей земле и обречь народ на голод, вымирание или упадок культуры или, предотвращая эти несчастья, уйти в другие места, освободив оставшуюся часть народа от лишних «иждивенцев».

Скорее всего, древние коллективы стремились осуществить переселение на новые территории до того, как начинали свирепствовать голод и эпидемии. Голод 72 г. до н. э. у хунну (не самый страшный в их истории), когда пала половина скота и вымерла треть народа, не оставил у них сил и возможностей для поисков и освоения более благодатных земель. Хунну ослабили в политическом отношении, потеряли зависимые от них земли и были не в состоянии совершать грабительские набеги. Надо полагать, что древних людей гнал из родных мест не столько сам голод со всеми его страшными проявлениями, сколько реальная угроза голода и вымирания. Мигранты должны быть сильными во всех отношениях, чтобы завоевать, освоить и отстоять земли, на которые они пришли.

Нам представляется почти очевидным, что «миграционный взрыв» бронзового века, в частности далекие миграции андроновцев (федоровцев) на Алтай, в Верхнее Приобье, Хакасско-Минусинскую котловину и в северные районы Обь-Иртышья, был в значительной мере обусловлен частыми засухами ксерического периода, который, как считают многие специалисты, совпадает по времени с андроновской эпохой¹⁰. Если в андроновское время миграционные волны шли в основном на север и отчасти на восток Западной Сибири, то в переходное время от бронзового века к железному и в начале эпохи железа на Западно-Сибирской равнине стали преобладать миграции южного направления — из глубинных таежных районов в пограничье тайги и лесостепи. Здесь в это время распространились памятники гамаюнского, красноозерского, молчановского и завьяловского типов, в материале которых много северных лесных черт¹¹. Этот этнокультурный сдвиг произошел, видимо, в условиях начавшегося увлажнения климата, который, по мнению ряда палеогеографов, привел к увеличению заболоченных площадей в тайге и вызвал наступление древесной растительности на ранее остепненные участки тайги¹².

У иртышских татар есть легенда, в которой рассказывается о причинах исчезновения на Иртыше древнего скотоводческого народа сыбыр (сипир). Содержание ее вкратце таково. Однажды в далеком прошлом с севера надвинулись туманы и тучи, стали лить непрерывные дожди; реки и озера вышли из берегов, а пастбища начали зарастать таежным лесом. Вместе с непогодой на страну сыбыров налетели полчища гнуса, который истязал людей и скот, доводя их до иступления. Сыбыры собрались на Большой Совет и решили уйти со всем своим имуществом и стадами на юг. Но часть сыбыров не захотела покинуть землю предков и вскоре погибла¹³.

Причины, содержание и следствия описанных явлений настолько логичны и настолько обоснованы с экологической точки зрения, что становятся почти очевидным, что изложенные в легенде события не выдуманы, хотя мы не можем приурочить их сейчас к определенному историческому периоду. Эта легенда не только подтверждает археологические и палеогеографические данные о наличии в древности на Западно-Сибирской равнине влажных климатических фаз, но и сообщает о многих взаимо-

связанных последствиях изменения влажности климата (для северной лесостепи): повышение уровня озер и рек, облесение открытых луговых пространств, увеличение количества гнуса, ухудшение условий для скотоводства и вследствие этого миграция населения в другие районы.

Если скифо-тагарскому времени — золотому веку кочевничества — соответствовал сравнительно влажный климат, позволивший освоить в скотоводческом отношении беспредельные евразийские степи, то позже неукротимый рост численности кочевников и их стад стал все чаще приводить к несоответствию между количеством домашнего скота и размерами пастбищ. Это повлекло за собой перевыпасы, истощение и даже полное уничтожение пастбищных угодий. Многие некогда плодородные земли, богатые водой и пастбищами, из-за неразумного хозяйничанья сменявших друг друга кочевых орд превратились в бесплодные пустыни и почти полностью обезлужили. Такая участь постигла, например, некоторые районы Прикаспия¹⁴ и обширные земли к югу от Сибири, принадлежавшие хунну¹⁵. Видимо, тяжелое положение, сложившееся в южносибирских и северо-казахстанских степях в I тысячелетии н. э., было усугублено тем, что климат в это время в целом стал более сухим¹⁶. «Великие переселения» I тысячелетия н. э. и сопутствовавшие им продвижения южных скотоводческих групп на север (западносибирских тюрок, южных самодийцев, якутов и др.) происходили, вероятно, в условиях катастрофического сокращения продуктивности степных пастбищ в результате участившихся летних засух и зимних джуртов. Уже многие дореволуционные историки и климатологи (Е. Брикнер, М. Боголепов, П. А. Тутковский и др.) пришли к заключению, что сменявшие друг друга кочевые волны, шедшие из глубин аридного пояса на запад, в частности нашествия гуннов, аваров, венгров, печенегов, торков, половцев, монголо-татар, были вызваны жестокими бескормицами в связи с усыханием степей в I и начале II тысячелетия н. э. «Дикие, свирепые и враждебные культуре нашествия номадов в далеком прошлом, — писал П. А. Тутковский, — находят себе до некоторой степени оправдание... в том, что они были вызваны не разбойничьими наклонностями и грабительскими устремлениями этих так называемых варваров, а неустрашимыми стихийными явлениями — ужасы голода толкали номадов на нашествия и варварские поступки»¹⁷.

Нам кажется, что кризисная ситуация, сложившаяся в западносибирских и казахстанских степях в I тысячелетии н. э., станет зримее и понятней, если обратиться к событиям, случившимся недавно в африканском Сахеле — большой, вытянутой в широтном направлении области, обрамляющей южную оконечность Сахары. В течение 15 лет, до 1969 г., там выпадали довольно обильные осадки, в результате чего значительно повысились площади и продуктивность пастбищ. Местные жители увеличили поголовье скота; в отдельных районах Сахеля его численность возросла в два с лишним раза. С 1969 г. уровень осадков понизился, пастбищные угодья стали беднее, уменьшилось число водопоев. Стада стали концентрироваться на ограниченных участках у немногих водных источников. Вследствие перевыпаса вытопанные и лишённые травы почвы подверглись ветровой эрозии. Граница Сахары отодвинулась далеко к югу; огромные пространства, кормившие ранее несколько миллионов человек, превратились в бесплодную пустыню. Массы разоряющихся

кочевников стремятся уйти в соседние районы, которым сейчас из-за перенаселенности грозит та же судьба. Этот и другие подобные факты позволяют говорить, что в возникновении экологических кризисов древности наряду с естественным ухудшением природной среды немаловажную роль играла деятельность человека — во всяком случае, со времени распространения пастушества, земледелия и кочевого скотоводства. Здесь уместно вспомнить слова К. Маркса, который, касаясь причин упадка ряда древних культур, писал, что «культура, — если она развивается стихийно, а не направляется сознательно..., — оставляет после себя пустыню»¹⁸.

Одним из результатов древних миграций были войны между мигрантами и аборигенами, в которые нередко втягивались окрестные племена и народы. Это порождало новые миграции и новые войны. Такие случаи могут создать впечатление, что главной причиной древних миграций было нашествие иноплемеников, которое вынуждало местное население покидать районы, богатые пищевыми ресурсами. В действительности же это — лишь одна из сторон многогранной проблемы миграций, характеризующая взаимоотношения мигрантов и аборигенов. Если мы станем исследовать цепь взаимосвязанных исторических событий, где одна миграция вызывает другую, и попытаемся найти начальное звено этой цепи, то в большинстве случаев придем к проблеме перенаселенности и к действию фактора давления избытка населения на производительные силы.

Следует учитывать, однако, что в длинной цепи причинно-следственных связей, предшествующих миграции, подчас бывает трудно выделить основное звено, которое можно было бы уверенно квалифицировать как главную причину миграции. Иногда в качестве главной причины миграции называют эпидемию, забывая о том, что последняя являлась во многих случаях, как и сама миграция, следствием перенаселенности. Вместе с тем если не выходить в поисках причин за пределы конкретного района, эпидемические болезни, занесенные со стороны, в данный момент и в данном месте могли выступать как прямая причина миграции. Особенно это касается эпидемий оспы. «Болезнь сия, — сообщает об оспе в казахских степях А. Левшин, — внушает киргиз-кайсакам особенный страх; зараженных оною они иногда бросают без призора и поспешно удаляются от них»¹⁹.

Вот как описывает драматические последствия эпидемии оспы врач К. Рычков, наблюдавший ее у самоедов Туруханской тундры в 1908 г.: «Туземцы вымирали здесь целыми семьями. Объятые ужасом смерти, уstraшенные гибельными последствиями эпидемии, ощущая на себе ее действие, они в паническом страхе бросали свои чумы, заболевших членов семьи и бежали в отдаленные места, с надеждой убежать от неминуемой гибели. Но смерть преследовала беглецов по пятам, и они умирали на пути, сидя в санках, а некоторые погибали просто от страха и стужи. Достаточно было заболеть одному человеку, как наступала семейная паника: кто срывал с чума нюк, кто собирал оленей и все обращались в бегство, оставляя заболевших на произвол судьбы.

Ужасны по силе трагизма картины заболеваний туземцев, от которых холодит мозг и душу очевидца. Представьте себе среди мрачной тундры

одинокое стоящие брошенные жилища. К ним никто и никогда уже не подойдет. Они заживо погребены. Они беспомощны и обречены на смерть, если не от эпидемии, то от голода и стужи. Трудно себе представить весь ужас положения этих несчастных, которых люди как бы вычеркнули из списка живых и бежали от них, как от чего-то отвратительного, ужасного. Оставленные на произвол судьбы, они поднимают вопль, целуют и умоляют своих шайтанов, наконец, дичаю, сходят с ума. Иногда далеко был слышен их протяжный жалобный вой»²⁰.

Известно, что в 1631—1632 гг. от эпидемии оспы вымерло 2/3 предков современных энцев²¹. В XVIII—XIX столетиях почти полностью вымерли юкагиры — некогда один из самых многочисленных народов Сибири. Обезлюдившая территория юкагиров была занята соседними группами, преимущественно тунгусами, что позволило последним значительно расширить свой ареал. Не исключено, что подобные явления имели место и в более далеком прошлом. Вполне вероятно, что носители некоторых древних культур Сибири прекратили свое существование в результате вымирания от эпидемий, а сменившее их население других культур заняло обезлюдившую территорию, практически не входя в контакты со своими предшественниками.

Приведенные этнографические свидетельства дают нам еще один вариант объяснения упадка некоторых древних культур. Мне представляется, в частности, что это один из возможных путей объяснения неожиданного и полного исчезновения в южнотаежном и предтаежном Обь-Иртышье около XIII в. до н. э. богатой и колоритной самусьской культуры, известной по великолепным бронзовым изделиям, уникальной каменной скульптуре и своеобразной глиняной посуде. Сменившая ее андроновская культура не содержит в себе абсолютно ничего, что бы свидетельствовало о каких-либо ее контактах с самусьской культурой — ни в бронзах, ни в культовых предметах, ни в форме посуды, ни в орнаментации, ни в погребальном обряде.

Некоторые исследователи полагают, что одной из возможных причин древних миграций были поиски источников сырья для изготовления каменных либо металлических орудий. Если согласиться с этим мнением, то здесь тоже можно видеть одно из проявлений фактора давления избытка населения на производительные силы — ведь нехватка сырья (так же как нехватка земли и пищевых ресурсов) является во многих случаях симптомом обострения проблемы перенаселенности. Однако этнографические данные говорят, что при такого рода кризисах обычно происходила интенсификация меновой торговли. Еще в начале XVII в. одним из главных занятий шорцев, живших в верховьях Томи, было кузнечное дело. Плавка руды и изготовление железных орудий имели у шорцев настолько большое значение, что когда русские власти предложили, чтобы они «куяков и шапок железных и копий и рогатин и никакой ратной сбруи и черным и белым калмыкам и киргизским и саянским людям не продавали и на лошади и на скотину не меняли», шорцы бассейнов Мрассы и Кондомы заявили, что прекратить обменные операции они не могут, так как кузнечный промысел является основным источником их существования²². Калмыки и киргизы были достаточно могущественны в военном отношении, чтобы без труда отобрать у шорцев «источники сырья», но они даже не

помышляли об этом, ибо сложившиеся отношения взаимного обмена были более выгодны и более рациональны.

Одним из наиболее значимых социальных последствий древних миграций было рождение новых этнических групп. Этнографические материалы говорят о том, что дуально-фратриальное деление у западно-сибирских народов (так, как оно дошло до нас) явилось следствием установления регулярных брачных связей между аборигенами и пришлыми иноэтничными группами. Это объясняется тем, что переселялись обычно экзогамные коллективы — род или группа родственных родов. В. Штейниц в 30-х годах высказал интересную догадку о разных генетических истоках и первоначальной разноэтничности двух экзогамных половин обских угров — фратрий Пор и Мось²³. Примечательно, что в ритуалах Медвежьего праздника у обских угров фратрии Пор и Мось выступают как два противоборствующих враждебных народа²⁴.

Е. Д. Прокофьева предположила, что в основе деления селькупов на две фратрии — Орла и Кедровки — «лежит отражение начального процесса возникновения селькупов из двух компонентов: аборигенного — людей землянок, и саяно-алтайского, разнившихся многими элементами материальной культуры и языка, религиозными представлениями, способами погребения и т. д.»²⁵. Путешествуя в загробный мир, шаманы разных селькупских фратрий следовали по разным рекам. Если шаман половины Орла шел по Солнцу, то шаман половины Кедровки — против Солнца и т. д.²⁶ Похожую противоположность двух экзогамных половин одного этноса этнографы наблюдали и у некоторых других сибирских народов, в частности у юкагиров. Это особенно явственно прослеживается в противопоставлении мужской и женской частей юкагирского общества. В играх мужчины и женщины составляют враждебные партии, существуют определенные различия в произношении слов, для женщин родство по матери важнее, чем для мужчины родство по отцу²⁷.

Налаживание брачных связей между местными и пришлыми группами далеко не всегда происходило мирным путем. Восточные ненцы рассказывают, что последняя их война с энцами велась из-за того, что они требовали себе в жены энецких девушек²⁸. Видимо, в имитации противоборства фратрий, зафиксированной этнографами у обских угров и других народов, получили отражение события тех далеких времен, когда члены двух экзогамных половин выступали не на уровне одного народа, а на уровне двух враждебных этносов. Видимо, А. П. Окладников прав, предполагая, что типичный для древнего сибирского изобразительного искусства мотив борьбы зверей отражает в ряде случаев противостояние разных тотемов²⁹, предшествовавшее слиянию первоначально враждебных разноэтничных групп в единый этнос. Об этом говорят, например, сцена борьбы зверей-тотемов (журавля и медведя) на драматических представлениях медвежьего праздника у обских угров³⁰, демонстративное противопоставление у селькупов орла и кедровки³¹. У тунгусов в прошлом проводились в торжественные дни (приуроченные обычно к выборам военного вождя) обрядовые противоборства двух фратрий. Они возглавлялись военными вождями и проходили под покровительством и во имя фратриальных тотемов, причем последние тоже как бы принимали участие в этих состязаниях³².

Все вышеизложенное говорит о том, что в социальной структуре северных сибирских этносов был наглядно выражен принцип единства противоположностей. При частом отпочковании новых родов, постоянно меняющейся соподчиненности родовых групп, их распыленности на огромных пространствах главное, что могло обеспечить преемственность этноса, его эндогамность, — это твердое осознание членами многочисленных дочерних, внучатых и прочих родовых подразделений их кровной принадлежности к одному из двух основополагающих родов. Таковыми обычно были две разноэтничные, зачастую первоначально враждебные половины, вынужденные некогда вступить в брачные контакты, тем самым дав начало новому этносу. В данной этногенетической ситуации потенциальная готовность каждого вновь образованного рода имманентно перерасти во фратрию, а затем в племя гасилась фактом наличия двух основных наиболее древних, наиболее закрепленных социальными и культурными традициями, нередко демонстративно противостоящих друг другу генеалогических древ. Сила традиций была столь велика, что внутри того или иного северного западносибирского этноса было крайне трудно возникнуть двум и более племенам. Как это ни парадоксально на первый взгляд, здесь в рамках единой дуально-фратриальной системы скорее могло сложиться два разных народа, как это имело место, например, у обских угров.

Пока по таежным западносибирским древностям, начиная с поздних этапов бронзового века, улавливается преимущественно такой («двуэтничный») путь образования новых этносов и археологических культур. В этом отношении интересна молчановская культура в Причулымье и Нарымском Приобье (переходное время от бронзового века к железному). Керамика этой культуры четко распадается на две разновидности: первая обнаруживает черты преемственности с местной андроновидной (позднееловской) посудой³³, для второй характерна крестово-струйчатая штамповая орнаментация, а также отступающая техника выполнения узоров, связанные по происхождению с орнаментацией более северных таежных культур³⁴. Частая взаимовстречаемость этих двух групп глиняной посуды не оставляет сомнений в их одновременности. Создается впечатление, что здесь жили бок о бок, попеременно друг с другом, два различных по происхождению населения, находившихся в тесных взаимосвязях. Скорее всего, здесь имели место брачные контакты, и носители двух разных орнаментальных традиций выступали в данном случае как две экзогамные половины, на фратриальном уровне. Примечательно, что прослеживается тенденция к смешению этих двух орнаментальных традиций и к сложению единого «гибридного» декоративного комплекса³⁵.

Л. А. Чиндина, исследовавшая в Нижнем Причулымье Релкинский средневековый могильник (VI—VIII вв. н. э.) обратила внимание на одну любопытную деталь: керамика со штамповым геометрическим орнаментом, генетически связанная с андроновидной традицией, принадлежит в основном женским погребениям. «Возможно, — предполагает Л. А. Чиндина, — это связано с какими-то религиозными взглядами или с особенностями брачных отношений племени, оставившего могильник»³⁶. Мы считаем более правильным второе предположение — здесь нашли отражение фратриальные связи двух разных по происхождению групп.

Приведенный вариант сложения дуально-фратриальной организации

в таежной зоне Западной Сибири, видимо, был обусловлен обстоятельствами не только социального, но отчасти и биологического характера. Очень низкая плотность охотничьего и охотничье-рыболовческого населения севера Западно-Сибирской равнины при изолированности разбросанных на огромной территории мелких производственных групп могли приводить к сужению эндогамности, кровосмешению и обеднению генофонда. Генетики склоняются к мнению, что повышение коэффициента инбридинга в замкнутых популяциях способствует увеличению рецессивных мутаций и наследственной патологии³⁷.

Изучая быт нижеенисейских инородцев, известный врач и этнограф К. М. Рычков, много лет проживший в Туруханском крае, обратил внимание на то, что северо-восточная группа енисейских тунгусов более здорова и жизнеспособна, чем северо-западная, где процветали болезни, были обычны рецессивные мутации (гермафродитизм, бескостные конечности, хвостатость и др.) и довольно часто встречалась форма полярной истерии под названием «мерячество». Северо-западная группа сокращалась в своей численности, тогда как северо-восточная к началу 1900-х годов (за 50 лет) увеличилась почти вдвое. Изучив архивы и данные переписи населения, К. М. Рычков пришел к выводу, что северо-западная группа енисейских тунгусов была более изолирована и там имело место чрезмерное кровосмешение. Он считает, что, придя в низовья Енисея, северо-западная группа не смогла наладить брачные связи с самоедами, что привело к нарушению экзогамии. Проведенная К. М. Рычковым специальная межродовая перепись населения подтвердила это заключение³⁸.

Ф. Энгельс, касаясь положительных биологических последствий экзогамии в истории первобытного общества, высказал вслед за Л. Г. Морганом мысль, что первобытные коллективы, «у которых кровосмешение было... ограничено, должны были развиваться быстрее и полнее»³⁹. Видимо, при сужении эндогамного круга, особенно после эпидемий или войн, когда численность фратрий (или одной из них) резко сокращалась, должен был срабатывать некий (биологический?) импульс, заставлявший ослабленные группы обновлять направление брачных контактов за счет установления брачных связей с иноэтническими коллективами. Думается, что этот импульс повлиял на происхождение некоторых известных в этнографии семейных и брачных обычаев, наблюдаемых прежде всего у малых народов: предпочтительное отношение к ребенку, родившемуся от связи с мужчиной «чужой крови», обычай уступать жену гостю-чужеродцу и т. д.

Древние мигранты стремились освоить районы, которые в ландшафтно-климатическом отношении соответствовали их традиционному хозяйству и быту. Но в некоторых исключительных случаях они вынуждены были уходить на территории с непривычным природным окружением — например, из тайги в степь или из степи в таежную зону. Такие меридиональные переселения влекли за собой, как правило, весьма существенную трансформацию социально-экономического уклада мигрантов, особенно начиная с эпохи бронзы, когда на юге Западной Сибири упрочились производящие формы хозяйства — скотоводство и земледелие.

Уход северного населения на юг, в степные районы, при благополучном исходе миграции приводил обычно к полной или частичной утрате мигрантами таежных охотничье-рыболовческих навыков и к освоению ими произ-

водящего хозяйства со всеми вытекающими отсюда последствиями социального порядка. Вспомним несходство исторических судеб угрозных групп населения. Те угры, которым удалось закрепиться в районах, удобных для скотоводства, стали многочисленным и сильным народом и, уйдя впоследствии на Дунай, основали венгерское государство; другие угрозные группы, предки нынешних хантов и манси, жившие в таежной зоне, продолжали вести охотничье-рыболовческий образ жизни, были очень малочисленны и ко времени, когда они стали изучаться этнографически, во многом оставались на уровне первобытности.

Интересна в этой связи история так называемых конных тунгусов в Забайкалье, предки которых в начале текущего тысячелетия вышли из тайги, освоили степи и превратились в кочевников-скотоводов. В XVIII в. конные тунгусы, по описанию П. С. Палласа, уже почти не отличались по образу жизни от бурят и монголов, намного превосходя их воинственностью, искусством джигитовки и умением владеть оружием. «Тунгусы, — читаем мы у П. С. Палласа, — меж всеми прочими степными народами, коих я имел случай видеть, суть искуснейшие на лошадях и стрелять из луку, при том отважнейшие люди, почему и Мунгалы их... боятся»⁴⁰. Далее П. С. Паллас описывает их воинские упражнения: «В бытность мою в Аштинске, где несколько служивых Тунгусов собралось, я с великим удивлением смотрел на их искусство, как они из луков стрелы пушают, воткнув одну стрелу в землю и раскакавшись на лошади изо всей поры мочи перестреливают ее из лука другою». «Он (конный тунгус. — М. К.) умеет также одной ногой за седло держаться, и на скаку всем телом повеситься на сторону, опрокинуться и назад стрелять, лошадей с бегу ни чуть не сворачивая. И таких совершенств меж ими множество»⁴¹.

Приведенные примеры, подтверждая закономерность социально-экономической трансформации групп, переселившихся из одной природной (и хозяйственной) зоны в другую, говорят также о том, что два разных этноса с одним типом хозяйства в культурном отношении могут быть во много раз ближе друг другу, чем две группы недавно единого этноса с разным хозяйственным укладом. Это наводит на мысль, что конец, например, красноозерской и завьяловской (лесных по происхождению) культур в лесостепном Обь-Иртыше на рубеже бронзового и железного веков не обязательно означает конец существования здесь красноозерского и завьяловского населения, их языка и т. д. Культурная, хозяйственная и социальная адаптация к условиям новой природной среды могла произойти так быстро, что по археологическим материалам создается иллюзия смены здесь носителей двух разных культур.

Таким образом, миграция из одной природной зоны в другую, являясь вначале пассивным вариантом выхода из экологического кризиса, нередко приводила к активному варианту — переходу на новый уровень экономики. Это лишний раз говорит о том, что древние миграции и так называемые экономические революции древности мы при определенных обстоятельствах вправе рассматривать в русле единой исторической закономерности.

При миграциях на север, в тайгу, южного степного населения ему не всегда удавалось сохранить надолго скотоводческие и земледельческие навыки. В дореволюционной этнографической литературе приводятся многочисленные примеры, когда русские люди, долго прожившие на

севере Сибири, полностью усваивали быт аборигенов, носили инородческие одежды и амулеты, при болезнях и других несчастьях обращались за помощью к шаманам, а отправляясь на промысел, приносили жертвы «шайтанам»⁴². Описывая духовную жизнь русского населения Колымы в конце прошлого столетия, В. Богораз сообщал, что большинство из них ни разу не были у причастия и не соблюдают постов. «Вера в шаманство среди русских, — отмечал он далее, — распространена не менее, чем среди инородцев. Нижнеколымские русские имеют даже собственных шаманов, которые при заклинаниях употребляют набор непонятных слов, по-видимому, юкагирского происхождения»⁴³.

В отечественных и зарубежных этнографических исследованиях описаны случаи, когда после переселения из районов производящей экономики в таежные или тропические леса мигранты вынуждены были переходить от плужного к подсечно-огневому мотыжному земледелию, от земледелия к собирательству, от скотоводства к охоте и т. д.⁴⁴ Так, известно, что группа русских старообрядцев, пришедшая в таежно-болотный Нарымский край и поселившаяся на притоке Кети речке Орловой, через весьма непродолжительное время потеряла весь свой домашний скот, перестала удобрять пашни навозом и перешла от плужного к мотыжному земледелию.

Перемены в хозяйственно-бытовом укладе, максимальное приближение к образу жизни таежных аборигенов сопровождалось изменениями в языке. Этнографы прошлого столетия отмечали, что в Обдорском и Колымском краях у русских звуки «р», «л» не употреблялись: вместо «пришла» говорили «пьишья» или «пьисья»; «рыба» — «ййба» и пр. Звуки «ч», «ш», «щ», «ж» большей частью заменялись звуками «ц», «с», «з» и наоборот⁴⁵. Н. М. Ядринцев, побывав в низовьях Енисея, писал: «Самый выговор некоторых звуков и тон разговора или повышения и понижения голоса в речи, характер вокализации у русских Туруханских уроженцев отличается, сколько мы заметили, почти теми же особенностями, как у остяков. Например, подобно остякам, они вместо звуков: ж, ч, ш, р выговаривают: з, с, л, рл и т. п. Говорят: посел осень большой дозьдь; в избе сыпко зарлко; бедняски худо зивут»⁴⁶. По данным рубежа прошлого и текущего столетий, потомки русских, поселившихся в Колымском округе, через три-четыре поколения уже не понимали содержания старинных русских песен (хотя продолжали петь их)⁴⁷. Русские крестьяне, поселенные в 1731 г. в Амгинской слободе Якутского округа «для основания в крае русской оседлости», по сведениям от 1787 г., уже совершенно обьякутились⁴⁸.

Процесс ассимиляции мигрантов аборигенами протекал особенно быстро, когда на север приходили не родовые группы в целом и вообще не семейные коллективы, а только мужская их часть, как это бывало во время дальних завоевательных походов и при многолетних северных промыслах. В XIX и начале XX в. на Таймыре за очень короткое время была ассимилирована долганями большая группа русского населения — так называемые затундринские крестьяне. Б. О. Долгих демонстрирует этот процесс на примере одной семьи. В 1902 г. глава семьи Аксенов Дмитрий был женат на якутке и одинаково хорошо говорил по-русски и по-якутски. Отец Дмитрия был настоящим русским крестьянином, говорившим только по-русски. Но он был женат на якутке, матери Дмитрия, и понимал

по-якутски. Сын Дмитрия Александр по внешности был настоящий якут, говорил обычно по-якутски, хотя понимал по-русски ⁴⁹.

Ассимиляция пришлого русского населения сибирскими аборигенами шла на севере Сибири повсеместно, что неоднократно отмечали дореволюционные исследователи этой территории. «Русский пришлый элемент, — читаем мы в одной из этнографических работ начала текущего столетия, — имевший когда-то большое культурное влияние на окружающие его инородческие племена, быстро идет по пути полного слияния с ними в физическом типе, в образе своей жизни, экономическом и духовном своем быте, привычках, навыках, вплоть до потери родного языка; в области религиозных верований дело доходит до того, что выделяет из своей среды шаманов, наконец, забрасывает свои поселения и разбредается в тундру» ⁵⁰.

Если подобные явления случались в сравнительно недавнем прошлом, то тем более они были возможны во времена далекой древности. Так, южные андроновские группы, внедрившись в конце II тысячелетия до н. э. в таежные районы Обь-Иртышья, постепенно утратили или почти утратили навыки пастушеско-земледельческого хозяйства, смешались с местным населением и стали жить архаичным охотничье-рыболовческим бытом. Процесс потери ими своей культурной самобытности достаточно хорошо фиксируется археологическими материалами. В Васюганье на поселениях Малгет и Тух-Эмтор отмечена следующая стратиграфическая картина: нижний слой содержал местную гребенчатую и гребенчато-ямочную керамику ранних этапов бронзового века, его перекрывал горизонт с посудой, в орнаментации которой сочетались местные гребенчато-ямочные мотивы и пришлые (южные) андроновские геометрические узоры, а еще выше лежала керамика конца бронзового века и начала эпохи железа, но украшенная опять уже в традиционной гребенчато-ямочной манере ⁵¹.

Скорее всего, отмеченное явление отражает процесс растворения южных мигрантов в среде таежных аборигенов. Этому способствовали суровые природные условия северных районов Обь-Иртышья, в частности существенное увлажнение климата на рубеже бронзового и железного веков. Неблагоприятные ландшафтно-климатические обстоятельства сильно подорвали экономические устои продвинувшихся на север пастушеско-земледельческих групп и вынудили их перейти к непривычному охотничье-рыболовческому образу жизни. Это поставило южных пришельцев в менее выгодное положение по сравнению с местными охотниками и рыбаками и способствовало их ассимиляции аборигенами.

Уровень общественного развития и степень социальной консолидации в первобытном обществе во многом зависели от естественно-географического окружения, которое определяло характер хозяйства и устанавливало пределы плотности населения. Попадая в ту или иную природную среду, первобытные коллективы старались приспособить к ней не только свою экономику, но в конечном счете и свою социальную организацию. Это приспособление было всегда рациональным с точки зрения повышения выживаемости, но не всегда являлось шагом вперед с точки зрения наших привычных представлений об экономическом и социальном прогрессе. Миграции первобытной эпохи, при многообразии и нестандартности их последствий, помогают полнее и глубже осмыслить по существу все аспекты древней истории Западной Сибири и смежных регионов.

Видимо, разработка этой проблемы должна занять важное место в будущих исследованиях сибирских археологов.

Нередко акцентированный интерес археолога к проблеме древних миграций расценивается как некий «миграционистский уклон», которому не может быть места в нашей исторической науке. Такая безапелляционная оценка — свидетельство элементарного недопонимания содержания вопроса, существо которого весьма многогранно и отнюдь не может быть ограничено лишь формальным вычислением удельного веса миграций в социальной истории того или иного этноса. Суть проблемы и ее актуальность состоят в том, что в причинах, содержании и социальных последствиях древних миграций независимо от того, часты они или редки, крупномасштабны или мелкомасштабны, отражаются прямо либо косвенно многие важнейшие стороны истории древних обществ. Применительно к древней истории Сибири, без изучения миграционных процессов невозможно плодотворно разрабатывать проблемы перехода от одной формы хозяйства к другой, нельзя понять закономерности экономической и социальной адаптации древних обществ к разным условиям окружающей среды, нельзя раскрыть в полной мере факторы формирования новых этносов, несходство их исторических судеб и многие важные явления древности.



- ¹ Носилов К. Д., 1904, с. 14.
- ² Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 164.
- ³ Там же, т. 8, с. 568.
- ⁴ См., например: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 8, с. 568; т. 46, ч. I, с. 105, 483; Архив Маркса, Энгельса, т. IX, с. 80.
- ⁵ Дунин-Горкавич А. А., 1904, с. 159.
- ⁶ Бахрушин С. В., 1935, с. 11.
- ⁷ Борисов А. А., 1907, с. 20.
- ⁸ Россия. Полное географическое описание нашего отечества. СПб., 1903, т. XVIII, с. 240.
- ⁹ Рыбаков С. Г., 1897, с. 170.
- ¹⁰ См., например: Сальников К. В., 1967, с. 173—177, 326—327; Бадер О. Н., 1974; Косарев М. Ф., 1974, с. 31—36; Потемкина Т. М., 1976.
- ¹¹ Косарев М. Ф., 1981, с. 181—203.
- ¹² См., например: Кац Н. Я., 1952, с. 43—45; Крылов Г. В., 1961, с. 69; Архипов С. А., Вдовин В. В., Мизеров Б. В., Николаева В. А., 1970, с. 202; Зубаков В. А., 1972, с. 182.
- ¹³ Миненко Н. А., 1975, с. 19.
- ¹⁴ Крупнов Е. И., 1969.
- ¹⁵ Гумилев Л. Н., 1967, с. 58—60.
- ¹⁶ См., например: Шнитников А. В., 1957, с. 268—271; Дзэнс-Литовский А. И., 1957; Долгушин И. Ю., 1968.
- ¹⁷ Тутковский П. А., 1915, с. 17.
- ¹⁸ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 32, с. 45.
- ¹⁹ Левшин А., 1832, ч. 3, с. 35.
- ²⁰ Рычков К., 1914, с. 122—123.
- ²¹ Долгих Б. О., 1967, с. 10.
- ²² Народы Сибири, 1956, с. 497.
- ²³ Steinitz W., 1938.
- ²⁴ Чернецов В. Н., 1965.
- ²⁵ Прокофьева Е. Д., 1952, с. 106.
- ²⁶ Там же, с. 104.
- ²⁷ Симченко Ю. Б., 1976, с. 191.
- ²⁸ Васильев В. И., 1963, с. 44.
- ²⁹ Окладников А. П., 1950, с. 327—328.
- ³⁰ Чернецов В. Н., 1965, с. 105.
- ³¹ Прокофьева Е. Д., 1952, с. 97.
- ³² Анисимов А. Ф., 1936, с. 167; Окладников А. П., 1950, с. 327—328.
- ³³ Косарев М. Ф., 1974, рис. 37; 38.
- ³⁴ Там же, рис. 35; 36.
- ³⁵ Там же, рис. 39; 40.
- ³⁶ Чиндина Л. А., 1970.
- ³⁷ Артемчук Н. Л., 1972, с. 8.
- ³⁸ Рычков К. М., 1917, с. 26—38.
- ³⁹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 43.
- ⁴⁰ Паллас П. С., 1788, с. 334.
- ⁴¹ Там же, с. 334.
- ⁴² См., например: Поляков И. С., 1877, с. 10; Приклонский В. Л., 1891, с. 48; Носилов К. Д., 1904, с. 14.
- ⁴³ Богораз В. Г., 1899, с. 120.
- ⁴⁴ См., например: Aberle D. F., 1961, р. 667—668; Binford L. R., 1970; Маретин Ю. В., 1972, с. 103; Пуляшкин В. А., 1976, с. 135—136.
- ⁴⁵ Лопарев Х., 1894, с. 127.
- ⁴⁶ Ядринцев Н. М., 1882, с. 42.
- ⁴⁷ Головачев П. М., 1902, с. 12—13.
- ⁴⁸ Там же, с. 14.
- ⁴⁹ Долгих Б. О., 1963, с. 122.
- ⁵⁰ К вопросу об объядчивании русских, 1908, с. 137.
- ⁵¹ Кирушин Ю. Ф., 1973.



Некоторые общие вопросы. Культ медведя. К проблеме тотемизма. Почитание лося. Отношение к обитателям подводного мира. Культ деревьев. Некоторые стороны анимистических верований. Астральные культы. Представления о мире. Почитание огня.

Некоторые общие вопросы

Духовный мир сибирских аборигенов развивался на определенном естественно-географическом фоне, в процессе хозяйственно-бытовой и социальной адаптации первобытных коллективов к природной среде. В целом история древней идеологии отражает, видимо, процесс морального, психологического, духовного приспособления человека как к природе, так и к формирующимся на ее фоне хозяйственно-бытовым и социальным традициям, являясь средством объяснения, оправдания и закрепления этих традиций.

Раскрыть хотя бы отчасти содержание и особенности духовного мира древнего западносибирского населения, при крайней ограниченности материала и неразработанности методики археолого-этнографических параллелей, весьма трудная и ответственная задача. При всем этом имеющиеся сейчас источники — предметы декоративного искусства, художественная скульптура, наскальная живопись, погребальный обряд, культовые вещи, археологические и этнографические материалы — в целом говорят, что древняя идеология отражала уровень понимания окружающей живой и мертвой природы, пыталась раскрыть место в ней человека, разгадать тайны рождения, жизни и судеб всего сущего.

Ниже мы коснемся лишь одной стороны духовной культуры древнего западносибирского населения, а именно верований и культов — прежде всего в интересующем нас экологическом аспекте. Ф. Энгельс, говоря об особенностях исторического развития Востока, заметил, что своеобразие производственных отношений, обусловленное спецификой природных условий этого региона, лежало в основе «всей его политической и религиозной истории»¹. Здесь Ф. Энгельс, как нам кажется, недвусмысленно подчеркивал правомерность экологического подхода к исследованию древних религий.

Мы не будем затрагивать вопросов научного определения понятия религии, ее социального содержания, происхождения, равно как и касаться точек зрения на этот счет того или иного исследователя. Такой историографический очерк увел бы нас далеко от темы и вряд ли был бы полезным, тем более что автор настоящей работы не является специалистом в данной области. Это чрезвычайно многогранная и сложная проблема, в трактовке отдельных сторон которой много разночтений, что особенно наглядно показала дискуссия, развернувшаяся на страницах журнала «Советская этнография» по статье С. А. Токарева «О религии как социальном явлении» (СЭ, 1979, № 3; 1980, № 2, 3). Нас будут интересовать более конкретные вопросы — прежде всего семантика древних культовых вещей и обрядов.

Дореволюционные путешественники и этнографы не раз отмечали поверхностность христианизации сибирских аборигенов и удивительную живучесть многих их исконных языческих представлений. У вогулов, обитавших на рубеже прошлого и текущего столетий на севере Верхотурского уезда, согласно данным Пермской и Оренбургской епархий, «кровавые жертвоприношения процветают в полной силе, причем они совершаются в честь господ Иисуса Христа, Божией Матери и Св. Николая Чудотворца, которые по представлениям вогул являются белым, добрым и строгим шайтанами»². К. Д. Носилов в одном из своих этнографических сочинений рассказал о старике-вогуле по имени Сопра, который был сторожем в православной церкви, помогал попу во время богослужений, одновременно являлся шаманом и хранителем жертвенного амбарчика³. В. Л. Приклонский приводит случай, когда якутский шаман в его присутствии, прежде чем приступить к камланию, трижды набожно перекрестился перед образами⁴. Шорские шаманы перед тем, как начать шаманить, ставили православные иконы лицом к стене или завешивали их шалью⁵.

Интересно, что святой Николай Чудотворец, считавшийся по христианским представлениям покровителем охотников и рыболовов, повсеместно и довольно легко вошел в религиозный пантеон христианизируемых угров, самоедов, тунгусов и других, но на языческий манер, не изменив существа исконных верований этих народов. У некоторых групп остяков Николай стал считаться сыном (по другим источникам помощником) главного бога Торума⁶. Отправляясь на охоту, остяки возносили молитвы с жертвоприношениями Миколе-Торуму, которого нередко отождествляли с Вонт-ике — духом, ведающим делами на земле, в том числе пушным промыслом. Этот факт объясняется тем, что Николай Чудотворец как покровитель охотников и рыболовов был близок и понятен сибирским аборигенам и поэтому легко ассоциировался с их местными языческими богами. Северную экспедицию Ю. И. Кушелевского из Обдорска на Енисей, состоявшую в основном из остяков и самоедов, на протяжении всего маршрута сопровождали специальные нарты с иконой святого Николая, в которые были впряжены два пестрых (священных) оленя. Благополучный исход экспедиции аборигены полностью приписали этому святому⁷.

Уровню и характеру социально-экономического уклада коренного населения севера Сибири более соответствовала идея одухотворения природы и вера в духов — хозяев охотничьих и рыболовческих угодий. Нганасаны поклонялись и приносили жертвы Моу-нямь (Земле-матери), Сырада-нямь (Матери подземного льда), Буды-нямь (Воде-матери), Коу-нямь (Солнцу-матери) и другим Матерям Природы. Земля у них представлялась в виде живого существа, меняющего шкуру. Землю нельзя было бить, наносить ей умышленные раны. У энцев и восточных ненцев запрещалось копать землю ножом или копьём. Такие же запреты существовали по отношению к воде⁸. В этих обрядах и запретах, несмотря на мистицизм, видятся мудрость и первобытный рационализм: нельзя обижать и причинять боль тому, что дает тебе жизнь и пищу, иначе не будет ни того, ни другого.

Неудачи русских духовных миссий в распространении православия среди сибирских аборигенов объяснялись тем, что христианская религия, классовая по своему содержанию и пастушеско-земледельческая по своему

происхождению, не соответствовала потребностям, духу и морали охотничье-рыболовецких обществ Сибири, не вышедших до конца из состояния первобытности. Говоря о трудностях, испытываемых русскими священниками в попытках приобщить нижеобских остяков к христианской обрядности, Ф. Белявский писал: «Образ жизни их не позволяет им следовать вполне уставам церкви. Так, например, продолжительные отлучки за звериными промыслами не позволяют им посещать церкви более одного или двух раз в год, у исповеди же и причастия бывают еще реже и притом, истощая в это время все свои запасы, принуждены бывают по постам есть мясо убиваемых зверей»⁹. Вряд ли случайно, что русские на Севере, перейдя на образ жизни аборигенов, приобщались нередко к их верованиям. И, напротив, освоив по примеру русских пастушество и земледелие, аборигены-язычники южнотаежных районов Сибири сравнительно легко обращались в христианство. По отчетам Пермской и Оренбургской епархий вогулы, жившие на юге Верхотурского уезда, «совершенно обрусели и даже позабыли свой природный язык и говорят теперь по-русски и ничем не отличаются от русского крестьянина по образу своей жизни». Далее сообщается, что «христианство сменило здесь шаманство и в значительной степени вытеснило прежние языческие понятия и суеверия»¹⁰.

При реконструкции древних верований мы исходим из положения Ф. Энгельса, что «раз возникнув, религия всегда сохраняет известный запас представлений, унаследованных от прежних времен, так как во всех вообще областях идеологии традиция является великой консервативной силой»¹¹. «Любое прочно укоренившееся верование, — отмечает С. А. Токарев, — держится в народе прочно и устойчиво даже тогда, когда изменились породившие его условия. Оно скорее приспособляется к новым условиям, чем исчезает совсем»¹². Но ретроспективный метод в реконструкции религиозных представлений древности наиболее применим для северных областей Сибири; в отношении степной зоны он менее оправдан, так как мы не наблюдаем здесь достаточно длительной культурной и этнической преемственности.

Отдельные экскурсы в сферу идеологии древнего населения сибирских степей имеют место в работах М. Д. Хлобыстиной¹³, к которым мы пока не в состоянии добавить что-либо более существенное или более бесспорное. Однако и для северных районов Сибири археолого-этнографические параллели позволяют раскрыть лишь некоторые самые общие стороны первобытной идеологии, скорее присущие древнему сибирскому населению в целом, чем носителям отдельных конкретных культур.

Приступая к рассмотрению верований древнего населения Западной Сибири, необходимо оговорить, что мы вполне осознаем ответственность взятой на себя задачи и подаем все изложенное ниже лишь на уровне рабочих гипотез. Сложность проблемы усугубляется синкретическим характером первобытного мировоззрения, аморфностью и взаимопересечением разных религиозных понятий, представлений и образов, а также многовариантностью совмещения разных сторон искусства, религии и мифологии.

Культ медведя. К проблеме тотемизма

Важное место в искусстве таежных западносибирских аборигенов издревле занимал медведь. Самые ранние из известных к настоящему времени скульптурных изображений этого зверя сделаны из камня. Среди них одна целая и две неполные фигурки из Васковского неолитического могильника (Кемеровская обл.)¹⁴, две целые скульптурки из района Томска — одна из Самусьского энеолитического могильника (рис. 24, 1), вторая из могильника раннебронзового времени на Мусульманском кладбище (24, 3) и др. Находка в Шигирском торфянике (Свердловская обл.) головы медведя из дерева¹⁵ позволяет предполагать, что на исследуемой территории с давних пор была достаточно характерна деревянная скульптура, большая часть которой не дошла до нас. Древние западносибирские мастера, видимо, обращались и к кости; во всяком случае, начиная с железного века костяная и роговая скульптура получает широкое распространение. К сожалению, время безжалостно уничтожает изделия из органического материала, особенно из дерева, и мы наверное никогда не установим подлинную долю и истинную значимость костяной и деревянной скульптуры в древнем урало-западносибирском искусстве.

Каменные скульптурные изображения медведя продолжают бытовать и в самусьско-сейминскую эпоху (XVI—XIII вв. до н. э.), но это, как правило, не целые фигуры, а лишь головы. Каменная голова медведя известна в Самусьском IV поселении (рис. 24, 6). У оз. Иткуль на Алтае найден каменный пест, рукоять которого оформлена в виде медвежьей головы¹⁶. К этому времени относится бронзовое изображение медведя из Самуся IV (рис. 24, 4); здесь же встречены керамическая фигурка, не вполне целая, полая внутри¹⁷, и глиняный сосуд, украшенный по внутренней стороне венчика рельефными изображениями медвежьих морд¹⁸. Не исключено, что среди зооморфной глиняной пластики, украшающей венчики некоторых уральских и западносибирских сосудов эпохи неолита и раннего металла¹⁹, представлен и медведь, но, к сожалению, их схематичность не дает возможности определить видовую принадлежность животных.

Фигурки медведя из металла и изображения его на различных металлических, преимущественно бронзовых предметах были широко распространены в таежном Обь-Иртышье и в более поздние времена (рис. 24, 5, 7—13). Находки скульптурных изображений медведя из меди и бронзы известны в кулайских культовых местах²⁰, в усть-полуйских памятниках эпохи раннего железа²¹, в средневековых комплексах таежной зоны Западной Сибири²². Настоячивое стремление древних художников и скульпторов таежного Обь-Иртышья к «медвежьей» теме, видимо, не случайно: оно отражает определенную сторону верований, уходящую своим происхождением в далекую первобытность.

Содержание культа медведя раскрывается отчасти в ритуалах медвежьего праздника обских угров, подробно описанного многими дореволюционными путешественниками и этнографами. Еще в прошлом столетии были предприняты удачные попытки разгадать семантику этого праздника и определить генетические истоки обрядов чествования медведя²³. Н. Харузин убедительно показал, что Медвежий праздник обских угров

носит тотемический характер. Действительно, в большинстве обрядовых действий праздника медведь предстает как старший родственник. Убитого медведя помещают на почетном месте, перед ним ставят лучшие блюда, убирают его всевозможными украшениями. В празднике участвуют только сородичи. Женщины в присутствии медведя закрывают лицо платком, как перед родоначальником. Труп медведя, как и умершего сородича, вносят в жилище не через дверь, а через окно или специально проделанное отверстие в стене. Если убит взрослый медведь-самец, праздник длится пять дней; если медведица — четыре дня; если медвежонок — два-три дня. Эта числовая градация соответствует представлениям обских угров о числе душ человека — мужчины, женщины и ребенка.

В. Н. Чернецов обратил внимание на сюжет одного из сказаний в честь медведя, где говорится о том, что женщина — родоначальница фратрии Пор была рождена медведицей²⁴. По рассказам хантов и манси прежде люди фратрии Пор не ели мяса медведя, а еще в более отдаленные времена не убивали его²⁵.

У ряда сибирских народов наиболее действенной и нерушимой клятвой считалась присяга на голове медведя, на медвежьей лапе, перед клыком медведя. Клык и коготь медведя хранились как обереги и талисманы. У остяков зуб медведя подвешивали над люлькой или надевали на шею ребенка. Ненцы носили клык медведя на поясе и считали, что он оберегает от злых духов и приносит удачу в охоте. Потребность в медвежьих клыках была так велика, что южные ненцы покупали их у северных, которые жили в местах, более богатых медведями²⁶. Тунгусы, по свидетельству А. Золотарева, «держат при себе некоторые части медведя, которые обладают способностью отгонять всяких злокозненных духов, покушавшихся на жизнь и здоровье тунгуса»²⁷.

Таким образом, представление о медведе-тотеме, кровном предке и представителе рода, привело к убежденности, что даже частица медведя способна оберегать от несчастий и обеспечивать удачу. Клыки или когти медведя (натуральные, а также сделанные из камня и бронзы) — довольно частая находка на древних восточноуральских и западносибирских памятниках. Они встречены на Шигирском торфянике (рис. 25, 2), поселениях Самусь II²⁸, Самусь IV²⁹, на Степановском культовом месте близ Томска (рис. 24, 5) и др.

Шкура медведя в представлении сибирских аборигенов являлась верхней одеждой, скрывающей его человеческий облик. «Пример уважения их к сему зверю, — сообщает Ф. Белявский, — я заметил на моей медвежьей шубе. От самого Березова до Обдорска на станциях остяки никогда не допускали меня положить ее на место, но держали нараспашку до тех пор, пока я опять надевал ее... и не без удивления наблюдал, с каким благоговейным вниманием рассматривали они смертную оболочку своего божества и, похаживая около моей шубы, нашептывали вероятно молитвы»³⁰. В этой связи любопытен ритуал снятия шкуры с убитого медведя, отмеченный Н. М. Ядринцевым у тобольских остяков: «Перед тем, как пороть шкуру, на брюхо медведя кладут семь сухих сучков. Начиная пороть, снимают первый сучок, ломают его и говорят медведю: «Вот смотри — это первую у тебя пуговицу расстегиваем», — так семь раз, до последнего сучка»³¹.

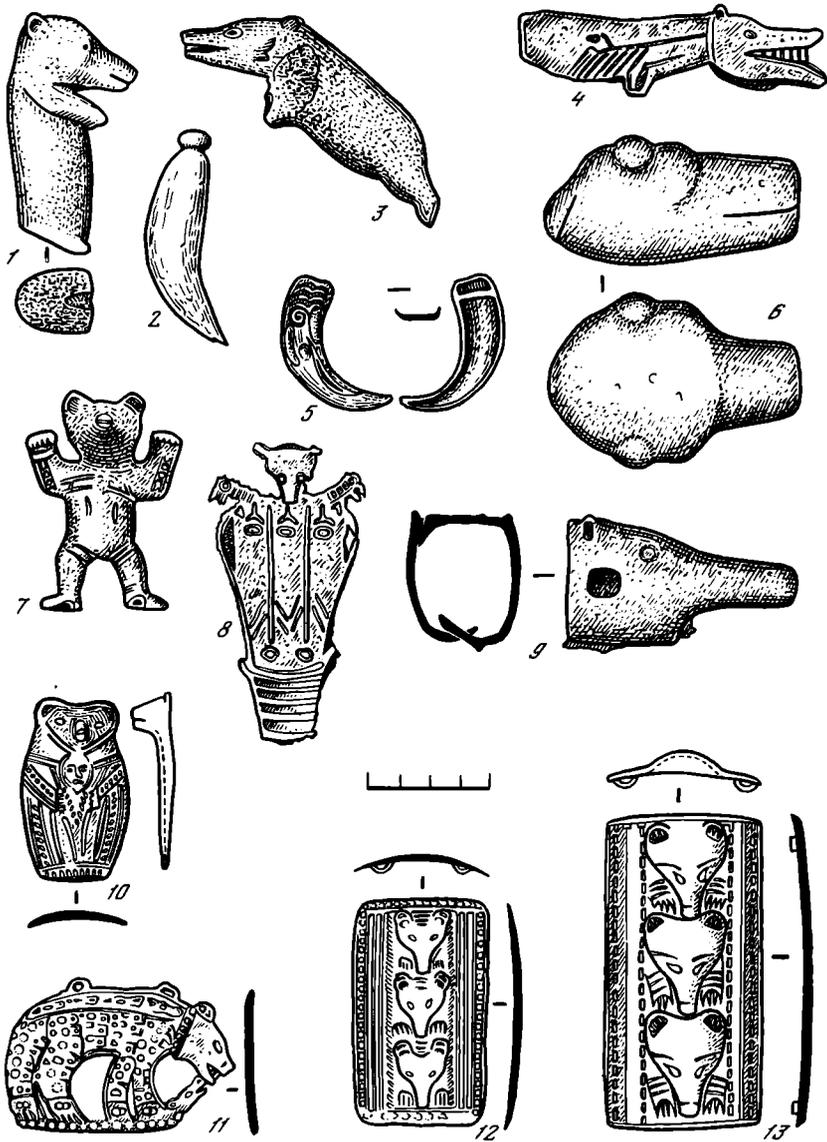


Рис. 24. Древние западносибирские изделия, свидетельствующие о культе медведя

1, 3 — переходное время от неолита к эпохе бронзы; 2, 8 — время существования неизвестно; 4, 6 — бронзовый век; 5, 7, 9 — эпоха железа; 10—13 — средневековье
 1 — Самусьский могильник; 2 — Шигирский торфяник; 3 — могильник на Мусульманском кладбище у Томска; 4, 6 — Самусьское IV поселение; 5 — Степановский клад; 7 — гора Кулайка; 8 — Тюменская обл.; 9 — Кривошеинский клад; 10, 13 — Релкинский могильник.
 1, 3, 6 — камень; 2 — кость; остальное — бронза

Целые фигурки медведя, найденные в Самусьском могильнике и в могильнике на Мусульманском кладбище, а также в других пунктах Западной Сибири, являлись, скорее всего, неким эквивалентом живого медведя, его двойником, который всегда был под рукой и в любое время мог оказать помощь и покровительство. Явно покровительственная поза медведя на некоторых антропозооморфных, безусловно тотемических бронзовых скульптурах (рис. 24, 10; 25, 12) подтверждает это предположение.

Убийство и поедание медведя в общем не противоречит тотемическим представлениям, так как эпизодические, сопровождаемые определенными ритуалами, обычно календарные приобщения к силе и крови тотемных предков были одной из характерных черт тотемических обрядов. У аборигенов Центральной Австралии, где запрещалось употреблять в пищу кенгуру, один раз в течение определенного периода убивалось несколько запретных животных, мясо которых распределялось между сородичами. Калифорнийские индейцы убивали в особые дни сарыча, а индейцы зуни — черепаху, а затем плакали над ними. По Л. Я. Штернбергу, убийство здесь понимается «таким образом, что животное лишь временно воскресло, и сейчас же после убийства возвращается в общество всех отошедших сородичей»³². Ведь убийство, если оно освящено определенными ритуалами, вовсе не уничтожение, а начало нового цикла жизни, способ отправления почитаемого животного в лучший мир. Туманные сведения о том, что «раньше» обские угры и селькупы не убивали медведя, понимается этнографами слишком прямолинейно. Нарушение табуации этого зверя в последние столетия выразилось не в том, что его стали убивать, а в том, что его стали убивать во всякое время, не обязательно приуроченное к календарным торжествам чествования медведя.

Исследуя содержание культа медведя, вряд ли правильно квалифицировать все проявления почитания этого зверя как свидетельство тотемизма. При таком одностороннем подходе мы рискуем просмотреть другие важные стороны культа животных в целом. Обские угры чествовали не только медведя, но и при определенных обстоятельствах других животных, не обязательно тотемных. По стенам помещения, где совершалось жертвоприношение оленя, вогулы развешивали шкурки пушных зверей, лучшие одежды; если жертва приносилась на воздухе, на нее накидывали одежду³³. Интересно, что волку и медведю остиаки в прошлом отдавали сходные прижизненные и посмертные почести, в особенно торжественных случаях присягали не только на медвежьей, но и на волчьей шкуре³⁴.

Ритуальное убийство священного или вообще почитаемого животного считалось актом отправления его к божеству — в дар, а также для передачи подарков и просьб людей. «Гиляк, — замечает Л. Я. Штернберг, — не считает грехом убивать медведя. При всем своем благоговении к нему он убежден, во-первых, что те медведи, которые достаются ему в добычу, посылаются ему хозяином тайги». «Кроме того, — пишет далее Л. Я. Штернберг, — медведь ничего не теряет от своей насильственной смерти, потому что смерть его состоит только в том, что он бросает гиляку свое тело, а душа его — это живой дубликат — резво мчится в это время к своему хозяину»³⁵.



Рис. 25. Древние западносибирские изделия, говорящие о почитании птиц

1, 2 — бронзовый век; 3—5, 7, 8, 10, 11 — первая половина I тысячелетия н. э.; 6, 12, 16 — раннее средневековье; 9, 14 — время существования неизвестно; 13, 17 — XVI—XVIII вв.; 15 — железный век или средневековье

1, 2 — Самуьское IV поселение; 3, 7, 8, 10, 11 — Парабельский клад; 4, 5 — пос. Пиковка; 6, 16 — Релкинский могильник; 9 — гора Караульная; 12 — Васюганский клад; 13, 17 — тамги обских угров; 14 — р. Усса, случайная находка; 15 — Бородинская писаница (Урал). 2 — рисунок на сосуде; 13, 17 — тамги; 15 — рисунок на скале; остальное — бронзовое литье

У самоедов, сообщает Н. Л. Гондатти, хотя медвежьих праздников не бывает, «тем не менее они также смотрят на белого медведя... как на посланца с неба, тем более, что он познакомил людей с получением и употреблением огня — взгляд, существующий точно также у маньзов с остяками»³⁶.

На культ медведя-тотема (и лягушки — у угров, которая, как и медведь, вызывает особенно близкие антропоморфные ассоциации: ср. рис. 24, 7 и рис. 26, 14, 15) наслоились другие тотемистические образы — бобра, зайца, горноста, россомахи, волка и пр. (рис. 26, 8—15); но особенно популярными тотемами в западносибирской тайге, судя по этнографическим материалам, были птицы: орел, журавль, гоголь, филин у обских угров, орел, кедровка, журавль, глухарь, лебедь, ворон, ястреб и другие у селькупов и т. д. Видимо, находимые в погребениях и культовых местах эпохи бронзы и железа Западной Сибири лапчатые, клювовидные и другие металлические «украшения»³⁷ являлись, так же как лапа, клык, коготь медведя у ряда современных сибирских народов, талисманами и оберегами, основанными на вере в то, что некоторые части тотемных животных олицетворяют его в целом, являются носителем его плоти и крови. Интересно, что дочерние роды в Сибири иногда назывались не по тотему первоначального рода, а по какой-нибудь части его тела. Так, у селькупов существовали роды Журавля и Журавлиного Клюва, Глухаря и Глухаринного Клюва³⁸.

Но опять-таки вряд ли правильно видеть в культе птиц прямое свидетельство тотемизма. Надо учитывать, что смысловое содержание древних птицевидных идолов могло быть чрезвычайно сложным, так как здесь часто переплетались тотемические и анимистические представления, элементы разнохарактерных культов и магических действий. У якутов, например, орел являлся: а) наиболее почитаемым тотемом; б) хозяином и повелителем солнца; в) хозяином огня; г) носителем плодородия; д) родоначальником шаманов; е) символом священного дерева³⁹.

Применительно к древнему бронзовому зооморфному литью тотемными изображениями с наибольшей вероятностью можно считать те, в которых зооморфные черты сочетались с антропоморфными. В. Н. Чернецов описал два бронзовых зеркала из Ханты-Мансийского музея, датируемых, по его мнению, эпохой раннего железа, на которых изображены гравировкой фигурки животных, птиц и пр. с антропоморфными личинами на груди — древние тотемные предки обских угров: человек-кошуля, человек-медведь, человек-сова, филин и т. д.⁴⁰ Особенно часто подобный синкретизм встречается у древних бронзовых птицевидных идолов (рис. 25, 3, 5, 7, 10—12).

Любопытно, что в древних западносибирских ритуалах, где фигурировали животные, основное внимание уделялось их голове, причем последняя нередко была единственной наличествующей частью животного. В известном смысле культ животных в Западной Сибири был культом голов. На это в свое время обратил внимание Д. Н. Эдинг при изучении деревянной скульптуры Урала⁴¹, а позже В. И. Матюшенко, характеризуя зооморфные изображения эпохи неолита и бронзы в Томском Приобье⁴². Подобная особенность отмечалась нами для более поздних кулайских изображений⁴³. Даже при изготовлении целых фигурок древний мастер

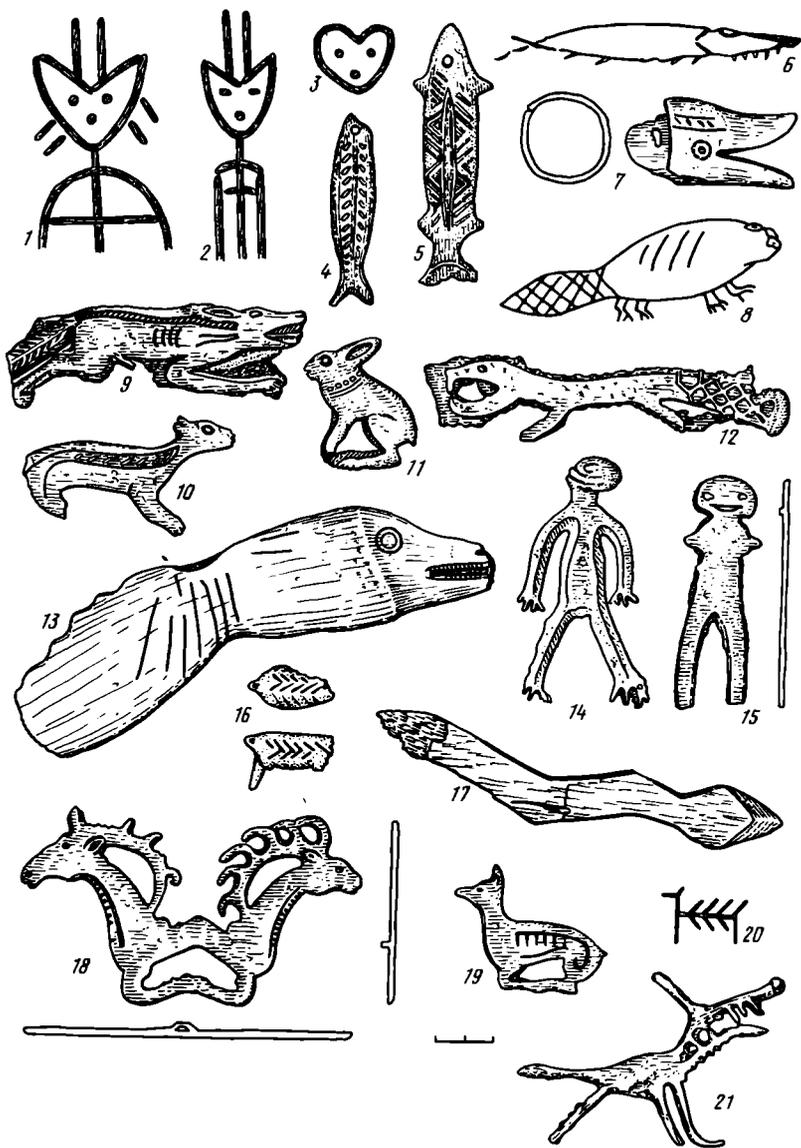


Рис. 26. Древние западносибирские изделия, имеющие отношение к культуре животных

1—3, 15—17 — бронзовый век; 4, 5, 11 — средневековье; 6—10, 12, 18, 19, 21 — железный век; 13, 14 — время существования неизвестно; 20 — XVI—XVIII вв.

1—3 — Самуьское IV поселение; 4, 5 — могильник Ленк-понк; 6 — Нарымское Приобье; 7 — гора Кулайка; 8 — гравировка на бронзовом зеркале из Ханты-Мансийского музея; 9 — Истяцкий клад; 10 — Парабельский клад; 11 — район Томска; 12 — поселение Бургасян-Вад; 13 — Омский музей (случайная находка); 14 — Тарский округ (случайная находка); 15 — городище Чудская Гора; 16 — Шайтанское городище; 17 — Горбуновский торфяник; 18, 19 — Степановский клад; 20 — остяцкая тамга.

1—3 — рисунки на керамике; 6, 8 — рисунки на бронзовых изделиях; 13 — кость; 16 — глина; 17 — дерево; 20 — тамга; остальное — бронзовое литье

уделял основное внимание отделке головы; остальная часть фигуры выполнялась с меньшей тщательностью.

Возможно, В. И. Матюшенко прав, связывая эту особенность с представлением о голове как месте обитания души-птицы (четвертой души, по В. Н. Чернецову), которая после смерти переселялась в новорожденного и тем самым являлась основой наследования жизни от поколения к поколению. Этим, по всей вероятности, объясняется неоднократно отмеченное этнографами особое отношение к голове у западносибирских аборигенов: клятва на голове медведя, развешивание голов или черепов животных на ветках священного дерева, снятие скальпа с целью лишить убитого врага возможности возродиться (считалось, что душа-птица живет в волосах) и т. д.

Во многих случаях придание тому или иному предмету черт зверя или птицы было призвано подчеркнуть его одушевленность или культовый (не обязательно тотемический) характер. Так, вряд ли можно связывать с тотемическими представлениями деревянные ковши-птицы эпохи энеолита и бронзы из Горбуновского торфяника, хотя они, вероятно, использовались в каких-то ритуальных целях⁴⁴. У нивхов и негидальцев бытовали до недавнего времени деревянные блюда в виде рыбы, тюленя, птицы (обычно гагары). Они использовались для «кормления» хозяина воды во время календарных ритуалов моления об обилии рыбы, морского зверя и водяной птицы. Жертвоприношения хозяину воды совершались дважды в год — осенью, когда вода замерзала, и весной, когда трогался лед. Во время осеннего «кормления» негидальцы делали во льду небольшую прорубь. Деревянную зооморфную посуду с жертвенной пищей ставили полукругом у проруби со стороны, ближайшей к берегу, головами к проруби. Затем бросали жертвоприношения в воду и возносили молитвы⁴⁵. У ульчей Амура жертвенную пищу хозяину воды помещали обычно в глубокие деревянные тарелки с головой утки⁴⁶.

Видимо, знаменитые деревянные ковши с ручкой в виде головы утки или гуся из Горбуновского торфяника в Среднем Зауралье (энеолит, бронзовый век) изготавливались в связи с календарными жертвоприношениями хозяину воды в целях обеспечения обилия водоплавающей птицы — основного объекта линной охоты. Не исключено, что сходные по содержанию ритуалы совершались в древности и при обращении к хозяину тайги — в периоды календарных молений об удаче охотничьих промыслов. Деревянные лоси с выдолбленными чашевидными спинами (сосуды-лоси) из Горбуновского торфяника подтверждают это предположение⁴⁷.

Среди древних орнаментов и культовых фигурок Зауралья и Западной Сибири достаточно широко представлены изображения змей (рис. 26, 17; 27, 3) и ящериц⁴⁸. Они также, на наш взгляд, не имели отношения к тотемам. Селькупы считали змею покровительницей и охранительницей души-тени во время путешествия последней в Мир Мертвых⁴⁹. У кетов змея олицетворяла мудрость, тайны земли и Нижнего Мира⁵⁰. Похожую роль выполняла ящерица. Она была ближайшим духом-помощником эвенкийского шамана в его путешествиях по Нижнему Миру; ей, в отличие от шамана, были доступны абсолютно все закоулки этого мрачного царства⁵¹. Видимо, изображения змей и ящериц на шаманских костюмах кетов, селькупов и других⁵² имели цель облегчить и обезопасить путе-

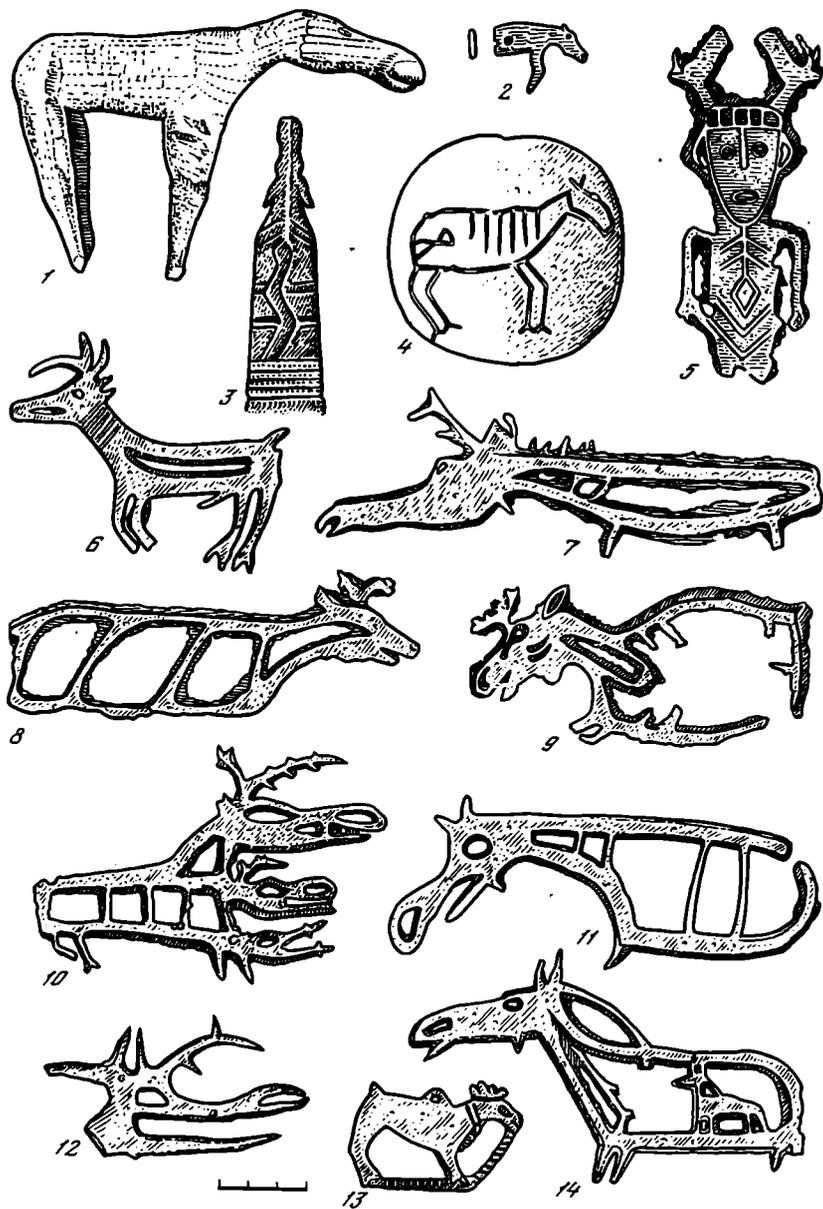


Рис. 27. Древние культовые изображения лося из Зауралья и Западной Сибири

1 — эпоха ранней бронзы; 2 — поздний этап бронзового века; 3 — самусьско-сейминская эпоха; 4—12, 14 — железный век; 13 — средневековье.

1 — Горбуновский торфяник; 2 — Еловское поселение; 3 — Сейминский могильник; 4, 7 — гора Кулайка; 5 — р. Чая; 6, 11 — Нарымское Приобье; 8, 9 — Парабельский клад; 10, 12, 14 — Кривошеинский клад; 13 — Васюганский клад.

1 — дерево; 2 — кость; остальное — медь и бронза

шествия шамана по преисподней. Можно предполагать, что змея и ящерица издревле олицетворяли таинства страны мертвых, символизировали Нижний Мир Вселенной.

Я с сомнением отношусь к попыткам В. И. Мошинской выделить особую категорию древних звериных скульптур, являвшихся, по ее мнению, игрушками для детей⁵³. В периоды расцвета тотемических и анимистических верований любая фигурка животного или человека должна была вызвать ассоциацию с живым существом, по отношению к которому действовал сложный комплекс ритуалов, запретов, поверий и примет. Помнить и исполнять их, во избежание несчастий, могли лишь взрослые люди. Якуты запрещали маленьким ребятам играть берестяными изображениями коров, так как от этого будут пропадать телята, а также берестяными фигурками людей — дети станут хворыми⁵⁴. Любопытно, что покупаемые остяками и вогулами у русских и зырян игрушки в виде зверей, птиц и людей воспринимались обычно как культовые предметы и использовались в ритуальных действиях, а также в качестве талисманов и оберегов.

Согласно наиболее ранним этнографическим данным, игры остяцких и вогульских детей копировали производственный процесс, осуществляемый взрослыми, а их игрушки были не чем иным, как орудиями труда, но малых размеров. Некоторые предметы могли давать ребенку с ритуальной целью. По свидетельству П. Третьякова, у енисейских остяков (кетов), «если дитя не спит и плачет, то кладут на него лук и верят, что это успокаивает малютку»⁵⁵. Здесь лук играет охранительную роль — отпугивает злых духов, угрожающих жизни и здоровью ребенка. Той же цели служили всякого рода погремушки, подвешиваемые к дужке детской люльки. То, что они одновременно забавляли младенца, не должно затемнять их основного назначения — защищать ребенка от козней враждебных духов.

Шумовой эффект считался у многих народов Сибири одним из основных способов устрашения нечистой силы. Норильские долганы с целью отогнать злых духов Нижнего Мира, когда кочевали в «плохих» местах, пугали их, ударяя в бубен, покрытый налимьей кожей⁵⁶. Кондинские и пелымские вогулы, чтобы не допустить возвращения покойника, шумели, стреляли, звонили в колокольчик и т. д. Хакасы-качинцы, по свидетельству И. Каратанова, при полном затмении луны или солнца громко кричали, били в доски, заслонки, металлическую посуду, чтобы не дать темным силам утащить небесные светила в Преисподнюю⁵⁷. Обряд «изгнания шайтана» у черемис перед молениями в священных рощах сопровождался стуком, неистовым криком и киданием «вслед» убегающему шайтану горячей головешки⁵⁸.

Проводя прямые аналогии между современными игрушками и определенными категориями древнего инвентаря, мы неоправданно модернизируем древнюю психологию, недооцениваем рациональную направленность воспитания детей в первобытном обществе. В. Ф. Зуев, посетивший низовья Оби в 70-х годах XVIII столетия, так описывает занятия маленьких мальчиков у местных остяков: «Когда ходить начнет, уж отец ему и лук готовит. Я, в проезд мой через остяцкие юрты, мало видел таких ребят, которые бы в простое вечернее время между игрою без лука шата-

лись, но обыкновенно или по деревьям или в что-нибудь по земле стреляют. Там городят езы около своей юрты, там запоры, и кажется, будто их игрушки уже будущую жизнь предвещали»⁵⁹. «Самые малолетние, — писал в конце XVIII в. П. Любарских о чердынских вогулах, — других забав не имеют, как только стрелять из луков и бегать на лыжах, а возрастные всегда почти находятся в трудах на звериных или рыбных промыслах»⁶⁰. «Любимыми игрушками чукотских детей, мальчиков и девочек, — сообщал в свое время В. Г. Богораз, — является, как и у всех других народов, подражание действительной жизни. Мальчики чуть ли не с трех лет вооружаются обрывками аркана и с утра до вечера упражняются в накидывании его на любой предмет. Собираясь в кучу, чукотские ребяташки вещают на древесной ветке или на шесте райуты с небольшим куском дерева на конце — и раскачивая, стараются его поймать арканом. Точно также они складывают из камней воображаемые стада или, взявши в обе руки по ветке тальника с многочисленными развилками, обрезанными в виде оленьих рогов, воображают себя едущими на паре оленей и устраивают бег в запуски»⁶¹.

Последняя фраза приведенного В. Г. Богоразом свидетельства наводит на мысль, что в первобытном обществе, где человек верил в свое кровное родство с окружающим животным миром, было более логичным не изготовлять для игры специальные звериные изображения, а перевоплощаться в них в процессе игры. «Гиляцкие дети, — писала В. Харузина, — играют в медведя, стараясь подражать тому, что проделывают взрослые на медвежьих праздниках. Один из мальчуганов представляет зверя со всеми его хватками, а другие его дразнят, укрощают, водят — все как в действительности»⁶².

В. Харузина высказала доказательное предположение, что детские игры имели целью дать подрастающему поколению не только трудовое, но и религиозное воспитание, и поэтому вряд ли правильно безоговорочно обозначать используемые при этом предметы привычным современным термином «игрушка». В этом отношении следует критически отнестись и к часто употреблявшемуся в старой этнографической литературе слову «кукла» применительно к антропоморфным фигуркам, встреченным дореволюционными этнографами и путешественниками в детском инвентаре самоедов, вогулов, чукчей и др.

Чукотские «куклы» изготовлялись из шкурок и наполнялись опилками, которые при каждом несчастном случае высыпались. Эти изображения являлись не только игрушками, но и покровителями женского плодородия. Выходя замуж, женщина уносила с собой свои «куклы» и прятала их в специальный мешок, хранившийся у изголовья постели, что считалось необходимым условием скорейшего и благополучного появления детей. По мнению чукчей, передача «куклы» постороннему лицу грозила нарушить плодородие семьи. Когда рождались дочери, мать давала им играть в свои «куклы». Если «кукла» была одна, ее отдавали старшей дочери, а для остальных делали новые⁶³.

Интересно сообщение Д. Т. Янович о куклах детей нижнеобских аборигенов. «Обские остяки и ямальские самоеды, — писала она в письме В. Харузиной, — делают своим детям... особые 2—3-вершковые куклы (окань), которые представляют из себя в одежде некоторое подобие

женщин, но без человеческих голов, туловища и конечностей, чтобы избежать сходства со священными изображениями, вырезанными в честь и память усопших родственников со всеми деталями человеческого корпуса, хотя иногда и без рук, но всегда с отчетливой скульптурой лица. Лицо человеческое, даже грубо и едва-едва намеченное на бревне или палке, уже само по себе заслуживает уважения и почтения, так как ему безусловно есть в мире духов свой гомолог, и придать его к кукле, к игрушке считается совершенно непозволительным и кощунственным, играть же и забавляться — тяжким грехом. Чтобы избежать этого и все же дать выход удовлетворению естественного желания всякой девочки поиграть в материнство, употребляется вместо подобия человеческой головы верхняя челюсть утиного или тарпаньего клюва, которая пришивается к прямоугольному кусочку сукна, образующему «тело» куклы. Каждую куклу, не имеющую, таким образом, ни рук, ни ног, одевают в меховой халатик женского покроя (сах), сшитый из обрезков оленьих, горностаевых или беличьих шкур, причем к утиному клюву иногда привешивается пара веревочных женских кос, за пазуху халата всовывается игрушечная детская люлька, но без ребенка»⁶⁴. Комментируя приведенное письмо, В. Харузина высказала предположение, что «лишение главного признака человеческого изображения — лица (припомним, что в примитивном изображении бывают именно подчеркнуты характерные черты) лишает его в сущности жизни»⁶⁵.

Из вышеизложенного следует, что найти игрушку-человека (куклу), если она даже и существовала в древности, археологически почти невозможно, так как лицо ее было лишено человеческих черт, равно как и тело, а сама она изготовлялась из быстро разрушающихся мягких органических материалов. Игрушек-зверей, как таковых, на территории Сибири в прошлом, видимо, вообще не было, так как любое скульптурное изображение зверя неизбежно приобретало у первобытного человека магический, нередко тотемический характер.

Тотемические образы зверей и птиц (как и вообще культ животных) у таежных западносибирских аборигенов говорят о том, что миропонимание первобытного человека исходило из сознания его единства с природой, из представления о «родственности» людей и животных, из веры в равное право всего живого жить и продолжать свой род.

Почитание лося

Среди древних изображений животных, найденных в таежной зоне Зауралья и Западной Сибири, первое место по числу находок занимает лось. На интересующей нас территории самые ранние скульптурные изображения этого животного относятся к неолитической эпохе: костяная голова лося из Ордынского могильника в Новосибирской обл., каменная голова лося, найденная на стоянке Евстюниха близ г. Нижнего Тагила и в одном из погребений Васьяковского неолитического могильника в Кемеровской обл.⁶⁶ Деревянные и костяные скульптурные изображения лося и лосиных голов известны из нижнего и среднего слоя VI разреза Горбуновского торфяника⁶⁷; они относятся к энеолиту и началу бронзового века и дати-

руются примерно последней третью III и первой третью II тысячелетия до н. э. (рис. 27, 1).

В саму́сько-сейминское время появляются первые бронзовые изображения этого животного, обычно в виде головы, венчающей верхнюю часть каких-либо бронзовых изделий — ножей, кинжалов, культовых предметов (рис. 27, 3). Для более поздних этапов бронзового века можно указать на миниатюрную, но очень реалистичную фигурку лося из кости, найденную на Еловском поселении (рис. 27, 2). В эпоху железа на территории Западной Сибири, особенно в пределах кулайского ареала, распространяются бронзовые фигурки лося ажурного литья⁶⁸. В таком же «ажурном» или «скелетном» стиле выполнены многочисленные рисунки лосей на наскальных изображениях Урала⁶⁹ и отчасти бассейна Томи⁷⁰. Аналогичные по стилю рисунки встречены на бронзовых вещах усть-полуйской и кулайской культур⁷¹. Лозьвинские вогулы во второй половине прошлого столетия поклонялись «сохотому окаменелому зверю», который находился в верховьях Лозьвы. В определенное время они собирались к нему для молитв об изобилии диких промысловых животных. По свидетельству вогулов (в интерпретации русских священнослужителей), поклонение совершалось «не как богу, а как ангелу, принявшему на себя вид зверя»⁷². Васюганские ханты отмечали особый «лосиный» праздник. Он проходил в определенное время года и носил родовой характер. Варили в специальном котле язык, печень, глаза и сердце лося. Затем старейший брал в руку золу и разбрасывал ее семь раз по всем сторонам, после чего звал обедать юнгов (лесных духов). Когда проходило время, положенное для их насыщения, к трапезе приглашались сородичи. Женщины в празднике не участвовали⁷³.

Все вышеизложенное свидетельствует об издревле существовавшем в западносибирской тайге почитании лося и об особой культовой обрядности, связанной с этим почитанием. Однако культ лося вряд ли имел прямое отношение к тотемизму. Это животное в тайге всегда было главным объектом мясной охоты, почему табуация его, как условие тотемического культа, не могла проявляться в сколько-нибудь полной мере. Между тем известно, что отдельные группы обских угров считали лося своим родовым покровителем — например, некоторые хантыйские семьи на Югане⁷⁴. Но, может быть, здесь мы имеем дело не с лосем, как таковым, а со свидетельством почитания реального исторического предка по имени «Лось», тем более что «звериные» имена и прозвища у таежных и тундровых западносибирских аборигенов зафиксированы этнографически⁷⁵.

Правда, В. Н. Чернецов находит возможным связывать с древними тотемами найденные в Приуралье изображения антропоморфизированных лосей⁷⁶. Думается, однако, что если лось и являлся когда-либо тотемом, то, скорее всего, у коллективов с рыболовческим типом хозяйства или в районах, где основным объектом охоты являлась сибирская косуля. Не исключено также, что образ лося как тотемного предка сложился сравнительно поздно, когда полная табуация тотема стала не обязательной.

Лось в тайге (как и олень в тундре) по представлениям западносибирских аборигенов был специально создан богами как основной источник существования людей. И лось, и олень считались символами чистоты.

В этой связи интересна манера изображения этих животных на древних писаницах Урала и в кулайском бронзовом литье: на туловище обозначались ребра (рис. 27, 4, 6—11), а иногда внутренности или даже маленький, еще не рожденный лось (рис. 27, 14). С. Патканов, анализируя содержание остяцких былин, пишет, что прозрачность туловища подчеркивает чистоту и красоту тела. «О красивых людях, — сообщает он, — в сказаниях говорится, что у них «сквозь кости виден мозг, и сквозь мозг видны кости». Но эта прозрачность тела считалась также признаком нежного сложения. Напротив, отличием силы была плотность и непрозрачность организма»⁷⁷.

К селькупским, кетским, якутским, бурятским и другим шаманским костюмам прикреплялись изображения позвоночного столба и ребер скелета из меди или железа⁷⁸. На селькупский шаманский костюм, кроме того, нашивали изображения частей тела шамана — сердце и дыхательное горло⁷⁹. Это подтверждает вышевысказанную мысль, что скелетный мотив в трактовке туловища человека или животного мог являться в прошлом показателем их священности, культовой значимости. Не исключено, что бронзовые фигурки людей эпохи железа со скелетным мотивом в изображении туловища (рис. 24, 7, 8, 10, 15), а также выполненные в аналогичном стиле антропоморфные рисунки на керамике самусьской культуры бронзового века (рис. 6, 14; 24, 1, 2) запечатлели древних служителей культа, богов или божественных существ.

На древних писаницах Урала лось обычно изображался со знаками солнца и небосвода, чем, возможно, подчеркивалось особое место его в миропонимании древних урало-западносибирских аборигенов. Видимо, в этом и заключался смысл почитания лося как наивысшего блага, ниспосланного небом, чтобы дать людям жизнь и пищу. Здесь лось как источник жизни как бы ассоциируется с солнцем, которое выполняет ту же самую роль. В верованиях сибирских народов образ лося-солнца и оленя-солнца занимает значительное место и достаточно полно освещен в этнографической и археологической литературе⁸⁰. Не исключено, что изображения солнц с разветвленными лучами, встречающиеся в древней наскальной живописи Урала⁸¹, отражают слияние представлений о лосе и солнце в единый синкретический образ лося-солнца или солнца-лося.

Если говорить о древних изображениях «антропоморфизированных лосей», о которых упоминает В. Н. Чернецов в связи с вопросом о лосях-тотемах, то здесь, скорее всего, придание антропоморфной фигуре черт лося было призвано оттенить чистоту, священность изображаемого образа (рис. 27, 5). Можно предполагать, что в ряде случаев придание черт лося той или иной вещи как бы вводило ее в категорию священных предметов. В. М. Кулемзин сообщает о ритуальных деревянных молотах, рабочая часть которых оформлялась в виде головы лося. Васюганские ханты оставляли такие молоты у священного кедра; считалось, что водяной дух по ночам забивает ими расшатанные колья запоров, способствуя тем самым успеху рыболовческого промысла⁸².

Таким образом, культ лося (основного промыслового животного тайги) и оленя (главного объекта охоты в тундре) не мог иметь прямого отношения к древним тотемистическим культам, во всяком случае, мы не находим сколько-нибудь убедительных подтверждений этому ни в археологических.

ни в этнографических материалах. Рисунки лося на древних писаницах Урала нередко сочетались с изображениями ловушек. В. Н. Чернецов, раскрывая смысл этих рисунков, связывает их с обрядами календарного характера, темой которых было прежде всего «привлечение добычи в ловушки и удержание ее в них» и, кроме того, «весеннее оживление природы и идея размножения»⁸³. Видимо, культ лося, зафиксированный западносибирскими археологическими данными, был связан в основном с этими двумя темами, в которых, как легко заметить, нет никаких намеков на тотемную роль этого животного. Здесь следует особо подчеркнуть, что обряды и магические действия таежных сибирских аборигенов, связанные с культом лося, всегда преследовали две равноправные цели — не только удачу в конкретной охоте, но и заботу о многочисленности лося в будущем.

Отношение к обитателям подводного мира

В западносибирских древностях, в отличие от восточносибирских, мы почти не знаем каменных и костяных фигурок рыб. Мне известны в Западной Сибири лишь два скульптурных изображения рыбы, которые можно датировать временем ранее железного века. Одна из них глиняная (могильник на Мусульманском кладбище в Томске, эпоха ранней бронзы)⁸⁴, другая — каменная (д. Инкино на Оби, предположительно рубеж каменного и бронзового веков)⁸⁵. Обе имеют дырочки для привязывания и трактуются исследователями как приманки. Для более поздних периодов известны рисунки рыб на бронзовых изделиях⁸⁶, а также бронзовые фигурки рыб (рис. 26, 4, 5), но в очень небольшом количестве.

Нехарактерность рыб для древнего западносибирского изобразительного искусства не отражает реальной значимости рыболовства, большая роль которого на севере Западной Сибири подтверждается многочисленными археологическими и этнографическими свидетельствами. Это противоречие, возможно, объясняется тем, что основная масса их изготовлялась из дерева, во всяком случае, описанные первыми сибирскими путешественниками и этнографами фигурки рыб, используемые западносибирскими аборигенами в тех или иных целях, были деревянными⁸⁷.

Другая загадка заключается в том, что среди многочисленных писаниц Урала, характеризующих хозяйство, быт и духовную жизнь древнего уральского и западносибирского населения, нет таких, где были бы рисунки рыб. Обращая внимание на это обстоятельство, В. Н. Чернецов отмечает, что у обских угров вообще не было принято рисовать рыб. «Характерно, — пишет он, — что в современных охотничьих затесах у манси и хантов... отмечают не только крупные животные, но и мелкие, а также птицы, но, как правило, только не рыбы. Если иногда и отмечают убитую острой крупной щуку или тайменя, то этого никогда не делают в отношении рыбы, пойманной сетями или запорами»⁸⁸. Примерно то же самое наблюдается в Восточной Сибири, где это кажется еще более удивительным, учитывая обилие скульптурных изображений рыб в серовских и глазковских комплексах III и II тысячелетий до н. э. «На фоне богатства и разнообразия изображений рыб в искусстве малых форм, — пишет по этому поводу С. В. Студзицкая, — удивительно почти полное их отсутствие в наскальных

рисунках. Известны буквально единицы»⁸⁹. Думается, что наиболее вероятной причиной этого явления была привычка древних художников изображать в первую очередь видимый окружающий мир, тогда как мир вод был малодоступен для людей и не мог быть сферой непосредственных наблюдений.

А. П. Окладников, исследовавший каменные и костяные фигурки рыб Прибайкалья, разделил их по функциональному назначению на две большие группы: а) рыбы-приманки, используемые в рыболовстве; б) культовые фигурки рыб, применяемые во всякого рода ритуальных церемониях⁹⁰. Этнографические свидетельства, приведенные А. П. Окладниковым в подтверждение этого мнения, в общем соответствуют западносибирским этнографическим материалам. П. С. Паллас, описывая приемы рыболовства у самоедов, упоминает о деревянных рыбках, утяжеленных при помощи камня, который вставлялся в специальную нишку; эти фигурки служили самоедам «для приманы других хищных рыб, коих они весьма мастеровито колют остроугою»⁹¹.

В культовых целях, судя по западносибирским этнографическим материалам, тоже использовались главным образом деревянные изображения рыб. У остяков прежде существовал обычай бросать в реку во время ледохода деревянные фигурки рыб, что должно было обеспечить, по их мнению, удачу охотничье-рыболовческих промыслов. Однако культ рыб носил не только промысловый характер. В. Н. Васильев, путешествуя по северу Восточной Сибири, неоднократно встречал по Хатанге и Анабару своеобразные склады деревянных зооморфных изображений, среди которых он называет осетра, налима, щуку и тайменя. Их появление здесь было результатом одноразового использования этих фигур якутскими и долганскими шаманами во время ритуальных действий при лечении больных. После завершения шаманского действия названные изображения (рыбы, животные, птицы) уносились в тайгу и оставлялись гнить где-нибудь в безлюдном месте⁹². Целью шаманского ритуала было изгнание болезни из человека. Таймень и налим часто изображались двойными — в виде двух сплетенных хвостами рыб; в месте соединения находилась дырка, символизирующая прорубь из Среднего Мира в Нижний. Изгнав злого духа из больного, шаман затыкал отверстие, чтобы дух не вернулся. А. П. Окладников предполагает, что аналогичное назначение имели двухголовые или «янусовидные» фигурки рыб восточносибирского неолита. В частности, он замечает: «Сплетающиеся хвостами гигантские рыбы, загораживающие вход и выход в преисподнее царство тьмы, в страну несчастий и бед, в сущности представляют собой такие двухголовые чудовища, как и янусовидные каменные рыбы, потому что головы их тоже обязательно во всех случаях обращены в разные стороны»⁹³.

Западносибирские этнографы отметили ряд запретов по отношению к некоторым породам рыб, причем эти табу касались почти исключительно женщин. Так, у остяков созревшей девушке не разрешалось резать и чистить некоторые породы рыб, главным образом щуку и налима; из боязни, что в нее вселится дух — хозяин рек и озер и она умрет⁹⁴. Вогульские женщины на р. Сыгве не ели мерзлой щуки и налима, так как по местным поверьям боги принимают иногда облик этих рыб⁹⁵; во время беременности

женщины не должны были есть и сырка, так как от этого они сами и их дети будут болеть⁹⁶. Многие ненцы не ели налимов и шук⁹⁷.

Некоторые из этих запретов дают известное основание видеть в них пережитки тотемического культа рыб. Так, например, отдельные обычаи, характеризующие особое отношение к щуке у обских угров, весьма напоминают проявления, наблюдаемые в ритуалах культа медведя: запрет женщине есть определенные части щуки (сравни с запретом женщине есть голову, грудь и сердце медведя), клятва на голове щуки (сравни с клятвой на голове медведя). Однако такие формальные сопоставления весьма ненадежны, так как сравниваемые черты, являясь свидетельством почитания медведя и щуки, тем не менее не дают основания принимать сам факт почитания щуки за свидетельство тотемизма.

В западносибирской этнографии, насколько мне известно, нет фактов, говорящих о существовании тотемов-рыб. Правда, М. Б. Шатилов приводит остяцкое сказание о богатырях по имени Сайяли (гоголь) и Куль-Косяк (чебак), от которых пошел род Прасиных на р. Вах. По его мнению, эти имена и, в частности, рыбье имя Куль-Косяк (чебак) «можно рассматривать как видоизмененное последующим сознанием остяков представление о происхождении предков от представителей животного мира, как остатки, пережитки столь характерного для первобытного человека явления „тотемизм“»⁹⁸. В этом заявлении нам видится значительная натяжка. Зверинные, рыбьи, птичьи имена людей нельзя трактовать столь прямолинейно; они давались нередко в соответствии с определенными качествами и особенностями человека, а вовсе не обязательно по названию тотема.

З. П. Соколова находит возможным относить к тотемам некоторые породы рыб — прежде всего щуку и налима (на основании запрета женщинам на Сосьве и Ляпине чистить их)⁹⁹. Между тем, судя по этнографическим данным, табу охватывали многие сферы жизни первобытного общества и диктовались самыми разными соображениями (например, запрет женщине перешагивать через промысловый инвентарь объяснялся мнимой способностью женщины осквернить его, запрет убивать животных зря исходил из представления, что природа-мать не любит этого и в будущем перестанет быть щедрой, запрет колоть землю ножом или копьем был связан с верой в то, что природа-мать — живое существо).

Думается, что причину ограничений и запретов по отношению к некоторым породам рыб можно понять из представлений о посмертной судьбе утопленников. Манси верили, что утонувший человек отдает душу хозяину воды¹⁰⁰. Восточные ханты и некоторые другие народы Сибири считали кошуном спасать тонущих людей, так как это шло вразрез с желанием водяного духа взять этого человека к себе¹⁰¹. По верованиям негидальцев душа утопленника становилась рыбой — помощником хозяина воды. До завершения похорон род утонувшего не смел есть рыбу. Утопленника хоронили у реки в «рыбьей» позе — на животе (обычно негидальцы клали своих покойников на спину) и головой к воде. Женщинам в течение года нельзя было ходить по берегу между головой покойника и водой, а также плавать вблизи на лодке. Кроме того, существовали запреты по отношению к роду покойника со стороны членов других родов (рыбу у рода утонувшего можно было брать только без головы и т. д.)¹⁰².

На истоки табуации некоторых пород рыб проливают свет фольклорные данные, из которых следует, в частности, что один из сыновей верховного божества обских угров Торума — Ас толах Торум, ведающий морской рыбой, имеет вид щуки. Старший сын Торума Полум Торум, по преданию, разгневавшись, превратил свою невесту, дочь богатыря, в сырка со словами: «Будь ты проклята, превращайся в сорогу-сырка и питайся с этих пор лишь жидкими и твердыми человеческими испражнениями»¹⁰³. Другой сын Торума — Нуми Торум тахыт, как рассказывают вогулы, поймал налима, разрезал его и обнаружил в кишках лягушку, которая превратилась в мальчика, ставшего впоследствии богатырем¹⁰⁴. Видимо, налим на Оби прежде вообще не употреблялся в пищу. В. Ф. Зуев, побывавший в Нижнем Приобье в 1771 г., писал, что у остяков летом «больших налимов около юрт валяются ужасные кучи, на которые сытые собаки даже не смотрят, но гниет рыба около юрт, видно, для одного им приятного благоволия»¹⁰⁵.

Эти сведения, объясняющие в какой-то мере табу по отношению к некоторым рыбам, не дают в то же время серьезных оснований видеть в существующих запретах сколько-нибудь явных признаков тотемизма. Имеющиеся в литературе сведения о родовых группах Сибири с «рыбьими» названиями также не связаны с тотемами-рыбами. А. Золотарев вслед за В. Йохельсоном и М. А. Кастреном полагает, что группа «окуньих» людей у самоедов называлась так по р. Окуньей, а «рыбий род» у юкагиров именовался так потому, что люди этого рода питались почти исключительно рыбой¹⁰⁶.

Согласно исследованиям А. П. Окладникова, у народов Восточной Сибири следы представлений о рыбах-тотемах улавливаются, причем весьма нечетко, лишь по отношению к налиму. В большинстве случаев запрет ловить налима объяснялся тем, что он человеческого происхождения (от утопленников), либо тем, что он связан как-то с хозяином воды или даже с властителем преисподней¹⁰⁷. Там, где налим выступает как покровитель какого-то конкретного героя (в фольклоре некоторых групп бурят и тунгусов), он является обычно не родителем, а временным воспитателем уже рожденного женщиной ребенка¹⁰⁸. В одном из преданий ульчей есть эпизод о рождении ребенка от связи мужчины с камбалой, но он был обычным человеком и умер, не оставив потомства¹⁰⁹. У ирокезов Северной Америки лишь один родовой тотем ассоциировался с рыбой (угрем), но, по мнению исследователей, этот тотемный образ сложился поздно¹¹⁰.

Думается, что у западносибирского населения вряд ли были когда-либо популярны тотемы-рыбы. Древние люди, насколько можно судить по известным тотемическим сюжетам, стремились искать своих родовых предков в образах привычного видимого мира, а не в мрачном и мало-доступном мире рек и озер. Похожим было восприятие Нижнего Мира: поскольку он скрыт от человеческого глаза и там темно, изображать его было противостоестественно — обычно обозначался лишь вход в него в виде отверстия, проруби (например, у северных якутов и долган), незамкнутой части окружности (например, на кетских шаманских бубнах) и т. д.

Вообще подводный и подземный мир у сибирских народов выступали как бы нераздельно. Так, вход в Нижний Мир, по верованиям долган,

выглядел как дыра между переплетенными хвостами двух рыб¹¹¹. У тазовских селькупов шаманы при путешествии в подводный и подземный (Нижний) миры пользовались одной и той же колотушкой¹¹². Мамонт («весь») у остяков имел вид громадной, покрытой шерстью шуки и мог жить как в подводной, так и в подземной сферах¹¹³; хозяин воды у них, как и хозяин Нижнего Мира, считался наиболее злым и жестоким из всех духов¹¹⁴. Страна мертвых (Патлам) у остяков, находившаяся в Нижнем Мире, рассматривалась в связи с холодной и мрачной стихией Северного Ледовитого океана¹¹⁵.

Вряд ли случайно, что многие народы в прошлом хоронили людей, подозреваемых в связях с нечистой силой, в очень глубоких ямах, в воде или в болоте. На Руси этот обычай долго сохранялся по отношению к так называемым «заложным» (нечистым) покойникам, которых хоронили в трясине и в пониженных мочажных местах. В тех случаях, когда «заложного» покойника по ошибке погребали на общем кладбище, его откапывали, иногда переворачивали вниз животом (т. е. придавали «рыбью» позу) и выливали в могилу несколько ведер или бочек воды¹¹⁶.

Нехарактерность рисунков рыб на наскальных изображениях Урала и Сибири объясняется, на наш взгляд, представлением древних о несоместимости нашего и подводного миров. Изображение на скалах нашего (Среднего) мира обитателей иной, водной сферы, видимо, считалось противоестественным и допускалось лишь в исключительных случаях. Любопытен распространенный среди вогулов запрет варить мясо (особенно лося) в котле, где перед этим лежала сырая рыба. Несоблюдение запрета грозило неудачами в охотничьих промыслах¹¹⁷.

Культ деревьев

Среди западносибирских древностей имеются находки, свидетельствующие о почитании разных пород деревьев. Известны рисунки дерева на сосудах неолита и ранней бронзы (рис. 28, 1), на древних писаницах Урала¹¹⁸. Начиная с железного века распространяются многочисленные бронзовые древовидные идолы (главным образом в Восточном Зауралье), а также зооморфизированные скульптурные изображения деревьев из бронзы и меди (28, 2—4, 6—15).

Этнографические материалы говорят о том, что наиболее почитаемым деревом у сибирских народов была береза. Она считалась священной у хантов, манси, селькупов, кетов, алтае-саянских народов и др. Видимо, столь распространенное почитание березы объясняется тем, что она была самым щедрым и полезным деревом: давала материал для покрытия летних чумов и изготовления разнообразной берестяной посуды, в бересту завертывали покойников, березовый сок считался вкусным и полезным напитком, березовый гриб (чага) являлся у сибирских аборигенов универсальным лечебным средством и т. д. Белый цвет березы связывался с чистым, светлым и добрым началами. Кеты считали березу любимым деревом добрых духов: злые духи садились не на березу, а на пихту и ель¹¹⁹.

«При приношении жертвы Торуму — белому богу, — писал И. Н. Глушков о чердынских вогулах, — животное выбирается белой масти, а из деревьев, необходимых при жертвоприношении — береза, как имею-

щая белый цвет коры»¹²⁰. У шорцев и алтайцев отмечался прежде весенний праздник березы (в мае), во время которого употребляемые ритуальные предметы были березовыми. Праздник проходил в березовой роще под навесом из березовых кольев. Даже блюдо, на котором подавали мясо жертвенного коня, было сплетено из березовых прутьев¹²¹. Культовый инвентарь якутов также изготовлялся почти исключительно из березы; интересно, что при камлании якутский шаман иногда держал в руках вместо бубна березку¹²². В юрте посвящаемого шамана у бурят устанавливали большую березу, корни которой помещались в землю, а верхушка выставлялась в дымовое отверстие; она оставлялась в юрте навсегда и служила отличительной чертой юрты шамана¹²³.

Помимо березы, отдельные родовые группы почитали родовые священные деревья. Так, остяки в зависимости от родовой принадлежности и конкретных ритуальных обстоятельств поклонялись березе, кедру, сосне¹²⁴. У селькупов, помимо березы, священными деревьями были кедр и лиственница¹²⁵. Березу считали священной все алтайцы, но, кроме того, каждый род (сеок) имел свое священное дерево: ель, березу, сосну, осину¹²⁶. Видимо, нечто подобное было в прошлом и у хакасов. Во всяком случае, до недавнего времени каждый хакасский род изготовлял гробы для своих покойников лишь из определенной почитаемой породы деревьев¹²⁷.

Раскрыть содержание культа деревьев у древнего сибирского населения можно лишь при взаимопоставлении археологических и этнографических данных. Среди археологических материалов в этом отношении интересны медно-бронзовые изделия кулайской культуры эпохи раннего железа в Нарынском Приобье. В культовых местах кулайцев самой распространенной категорией металлических изделий являются древовидные предметы с ответвлениями в виде голов зверей, птиц, иногда людей (рис. 28, 2—4, 6—15).

Деревья у современных сибирских аборигенов не являлись тотемами, но тем не менее культ дерева был тесно переплетен с тотемическими представлениями. В религиозных верованиях селькупов важную роль играет священная береза, растущая на стрелке рек Кедровки и Орла у дома Прародительницы. Она имеет сложное название: «К небу и земле имя (жизнь) дающее жертвенное дерево». На его ветках сидят Орел и Кедровка (главные тотемные предки селькупов), висят солнце и луна¹²⁸.

По верованиям обских угров, четвертая душа, несущая функцию наследования жизни (и ассоциируемая часто с образом тотемного предка), после смерти человека, до вселения ее в новорожденного, могла жить на дереве в виде птицы¹²⁹. Нанайцы представляли душу ребенка с момента ее зарождения до одного года как птичку, жившую на ветках «дерева душ»¹³⁰. Среди обрядовых действий свадебного ритуала у вогулов путешественники отмечали следующий: жених с невестой обходят вокруг кедра¹³¹. В сказаниях иртышских остяков описываются случаи, когда рожавшую женщину помещали у подножия дерева. Буряты во время свадебной церемонии исполняли, по свидетельству М. Хангалова, следующий обряд: «Утром на юго-западной стороне юрты отца жениха в землю укрепляют березку, так называемую «тургэ». Эту березку в лесу вырубает с соблюдением примет: березка должна быть цела, а не сломана, и сухих сломанных ветвей чтобы не было, для того, чтобы новобрачные жили благополучно, чтобы у них было много потомков, которые бы выросли благопо-

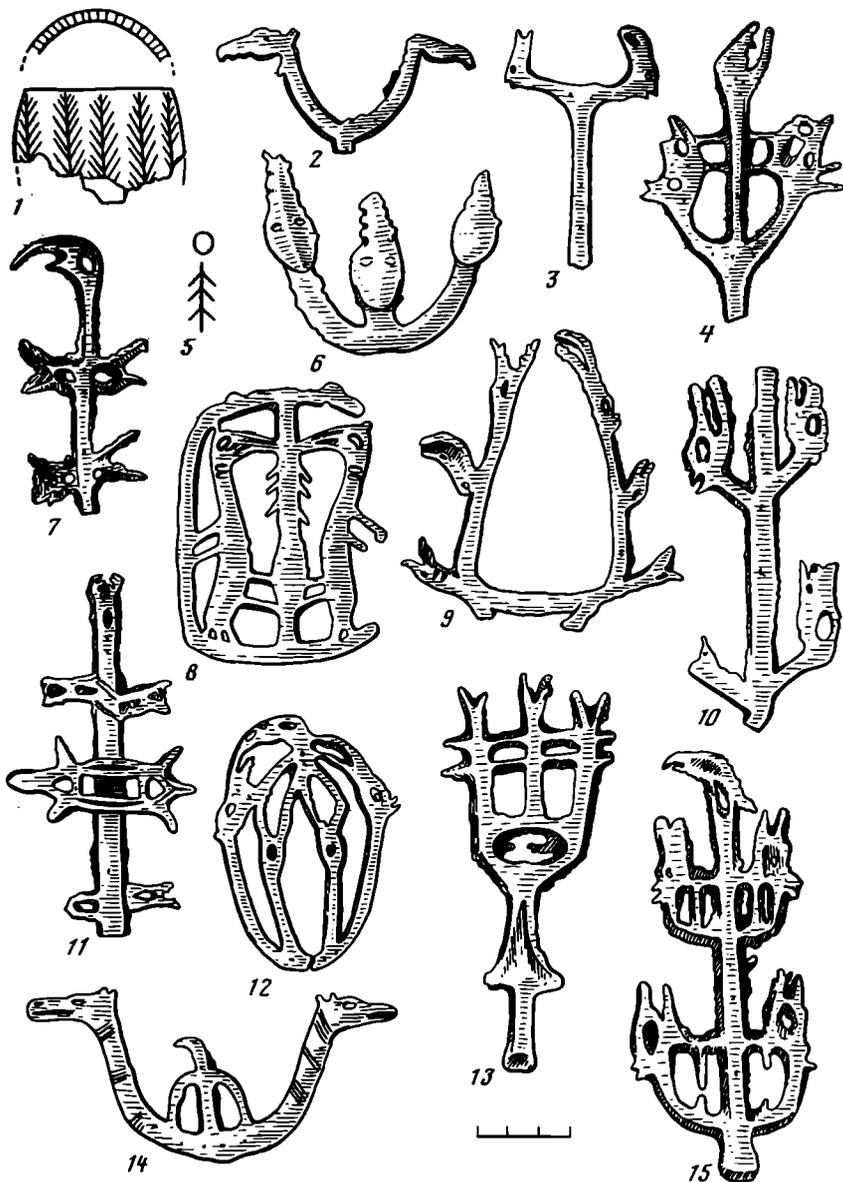


Рис. 28. Древние западносибирские рисунки и предметы, имеющие отношение к культу дерева

1 — эпоха ранней бронзы; 2 — самусьско-сейминский период; 5 — XVII в.; 3, 4, 6—15 — железный век.

1 — поселение Верхний Сор I; 2 — Самусьское IV поселение; 3, 4 — Кривошеинский клад; 5 — тамга обских узров; 6—15 — гора Кулайка.

1 — рисунок на глиняном сосуде; 5 — тамга; остальное — медное и бронзовое литье

лучно, не умирая»¹³². У нганасан жертвоприношение деревьям сопровождалось ритуальной пляской женщин, испрашивавших себе плодородия¹³³.

Кости жертвенных животных западносибирские таежные аборигены складывали обычно у священного дерева, а черепа вешали на ветки. Кости убитых животных кеты относили в лес и помещали в дупло у основания дерева, веря, что это является необходимым условием возрождения добытого промыслового зверя и, следовательно, залогом будущих охотничьих удач. Интересно, что кости должны были складываться на восточной, т. е. солнечной стороне дерева; здесь культ дерева как бы совмещается с культом солнца, одной из функций которого также было способствовать рождению и возрождению живых существ. На тамгах обских угров это совмещение иногда подчеркивалось рисунком дерева с солнцем на вершине (рис. 24, 5).

Сила и здоровье членов рода у алтайцев находились в неразрывной связи с силой и здоровьем родового дерева: считалось, что если падало старое дерево (породы, которую почитал сеок), умрет старый человек, если молодое — молодой¹³⁴. В этом поверье отражено представление об обитании в дереве «внешней» души человека, сложившееся, видимо, в связи с верой в возможность личного бессмертия. Напомним, что местобиталище бессмертной души Кашея находилось в сундуке, запрятанном в корнях могучего дуба. Связь дерева с идеей личного бессмертия особенно заметна в шаманстве. Каждый шаман имел на земле свое шаманское дерево — березу, лиственницу или другое, с которыми была связана его жизнь: если дерево погибнет, то шаман умрет¹³⁵. Вместе с тем захоронение шамана на стоящем живом дереве или вообще на высоте являлось одним из условий его возрождения. Отсюда широко распространенный в прошлом обряд захоронения шаманов на деревьях или на высоких деревянных помостах. Так, хакасы-качинцы Хакасско-Минусинской котловины прежде хоронили шаманов на вершине высокой горы. «Сначала, — сообщает И. Каратанов, — ставят четыре столба с перекладинами, на них накладывают жерди, на жерди хворост и, наконец, самого шамана во всем шаманском облачении с бубном и прочими его атрибутами; или, одев шамана, зашивают его в войлок, развешивают на деревьях бубен и прочее, а самого шамана привязывают к лесине головою вверх арканами или веревками»¹³⁶.

По этнографическим материалам, этот ритуал в равной, если не в большей, мере применялся также по отношению к младенцам. Ханты и манси, например, выкидышей, мертворожденных и умерших до года прежде хоронили под корнями и в дуплах деревьев, заворачивая тельце в бересту или помещая в берестяную люльку¹³⁷. Северные селькупы, если дети в семье часто умирали, по совету шамана находили растущий толстый кедр, делали в нем искусственное дупло, ставили туда мертвого ребенка и закрывали отверстие. В других случаях детей, умерших до года, завернув в бересту, подвешивали на ветке дерева¹³⁸.

В более далеком прошлом на деревьях и в дуплах, видимо, нередко хоронили и взрослых. По преданиям, ханты прежде помещали трупы в стволы деревьев¹³⁹. Инбатские кеты, по сведениям, относящимся к середине прошлого столетия, «придерживаются старинным и ставят покойников в выдолбленное наподобие борти углубление в стоящем дереве, которое

заколачивают доскою»¹⁴⁰. В одном кетском предании рассказывается, что раньше люди вообще хоронили покойников не в земле, а только на деревьях. «Неправильному» погребальному ритуалу людей научил спустившийся на землю коварный сын верховного бога Еся, в результате чего люди утратили бессмертие¹⁴¹.

Поскольку захоронение на дереве считалось гарантией возрождения, человек, знающий или предполагающий время своей кончины, нередко сам принимал меры к тому, чтобы встретить смерть на дереве. У вогулов клятвопреступники кончали жизнь самоубийством, вешаясь на суку. «Странно, — писал К. Д. Носилов, — что это единственный способ лишать себя жизни»¹⁴². Алтайцы, по свидетельству В. И. Вербицкого «склонны к отчаянию и самоубийству единственным способом — удавкой на лесине»¹⁴³. Селькупы рассказывают, что если разорить нору бурундука с заготовленным на зиму запасом, ограбленный зверек умерщвляет себя, вешаясь на «рогатке», т. е. защемив голову между ветками дерева. Таким же примерно образом, по словам камчадалов, убивает себя мышь после изъятия человеком или зверем содержимого ее кладовой.

Таким образом, культ дерева у сибирских народов выражал идею бессмертия и представление о вечно повторяющихся жизненных циклах. Находимые на западносибирских памятниках, особенно в древних святилищах, древовидные идолы и предметы с ответвлениями в виде голов людей, животных и птиц изготовлялись, на наш взгляд, для обрядовых действий при испрашивании плодородия, возобновления рода и изобилия промысловых животных. В условиях охотничьего и охотничье-рыболовческого быта, когда благополучие первобытных коллективов зависело от силы и здоровья рода, от численности промысловых зверей, обряды и магические действия, призванные обеспечить плодородие и возрождение, должны играть большую роль.

Некоторые стороны анимистических верований

Согласно этнографическим данным, сибирские аборигены верили, что каждый человек имеет одновременно несколько разных душ. Обские угры считали, что у мужчин пять душ, у женщин четыре, у ребенка — две три¹⁴⁴. Кеты находили у человека семь душ¹⁴⁵, шорцы — четыре¹⁴⁶, якуты и эвенки — три¹⁴⁷ и т. д. Однако все перечисленные народы и этнические группы с наибольшей четкостью выделяли две основные души — душу, передающуюся от умершего к новорожденному, которая нередко ассоциировалась с птичкой, улетающей после смерти человека на небо (или на вершину родового дерева), где она жила до вселения в тело беременной женщины¹⁴⁸, и «душу-тень», отправлявшуюся после смерти человека в страну мертвых, которая находилась в Нижнем Мире¹⁴⁹. Остальные души были выражены менее отчетливо и обычно исчезали со смертью человека или вскоре после нее.

Душа выступала как материальная категория, в особенности душа-тень, которая, как и тело, испытывает боль, усталость, ощущает жару и холод, нуждается в пище, видит сны и может умереть. Бессмертная душа тоже мыслилась материальной (обычно в виде птички), но в целом пред-

ставления о ней носили более «спиритуалистический» характер. Так, у селькупов бессмертная душа и солнечный луч были почти синонимами и назывались одинаково: «ильсат».

После похорон члена семьи вогулы, остяки, нанайцы, орочи и некоторые другие этнические группы прикрепляли наверху могилы изображение птички — для временного пристанища бессмертной души умершего. Маленькие дети (прежде всего младенцы до одного года) не имели еще настоящей души-тени, и обряд их захоронения обеспечивал, как правило, интересы главным образом «бессмертной» души. Считалось, что душа-тень оформлялась в полной мере, когда у ребенка появлялись зубы или когда он начинал ходить. После достижения этого возраста детей обычно хоронили по обряду взрослых¹⁵⁰. Поэтому когда умирал грудной ребенок, судьба его «бессмертной» души была предметом особых забот. Энци хоронили умершего младенца в зыбке; к обем сторонам ее мать пришивала крылья гуся или куропатки. Затем родители говорили: «У тебя есть крылья. Ты не пойдешь по земле, а улетишь далеко в воздух, и для другого ребенка эта душа пригодится»¹⁵¹. У нанайцев, по сообщению П. П. Шимкевича, «если ребенок, не достигший года, умрет, то его завертывают без всякой обрядности в бересту, зарывают в землю и около могилы втыкают ветку тальника, к которой привешивают гнездышко маленькой птички, сделанное из тряпиц, с пожеланиями, чтобы омия могла в нем оправиться и отдохнуть, пока шаман не поможет ей, обессиленной болезнью человека, вернуться на небо»¹⁵². Нанайская женщина, забеременев, «непреренно видит во сне прилетевшую к ней птичку омия, причем, если женщине удалось распознать пол птички, то она наперед может сказать, будет ли ее ребенок мальчик или девочка»¹⁵³. Негидальцы на кресты детских могил прикрепляли глиняных или деревянных птичек и определяли посмертную судьбу умершего младенца следующими словами: «Ребенок все равно, что птица: умрет, улетит на небо»¹⁵⁴. Ульчи, если ребенок умирал до года, завертывали его тельце в белую материя, к которой пришивали крыло птички, затем клали труп в выдолбленную колоду и помещали на дерево¹⁵⁵. Особые заботы о посмертной судьбе младенцев объяснялись тем, что их души, попадая в виде птичек на мифическое родовое дерево, плодились там и размножались, гарантируя таким образом рождение людей на земле, силу и благополучие рода.

Интересно значительное сходство погребального обряда младенцев и шаманов, проявлявшееся прежде всего в характерности для тех и других «воздушных» способов захоронения. Хотя наследование души у младенцев и у шаманов было несходным по своему социальному содержанию (в первом случае оно гарантировало продолжение рода, во втором — обеспечивало личное бессмертие), сам ритуал, способствующий освобождению «бессмертной» души, должен был выглядеть во многом одинаково. В этой связи любопытно, что якуты, когда хоронили шаманов в земле, укрепляли на шесте или на кресте деревянные изображения птиц¹⁵⁶. Кеты ставили на шаманской могиле развилку, символизирующую дерево, а на шестах прикрепляли изображения его «духов» в виде вырезанных из дерева птиц¹⁵⁷.

По Н. Л. Гондатти, «бессмертная» душа у северных вогулов и остяков называлась «лили хелм-холас». После смерти человека она вселялась

в тело новорожденного этого же рода; если же весь род вымирал, то она переходила в детей других родов. «Что же касается до тени (души-тени. — М. К.), — сообщает Н. Л. Гондатти, — то она направляется в подземное царство, расположенное в Ледовитом океане, за устьем Оби, и находящееся в распоряжении подземного бога Куль Одыра; здесь она живет столько же времени, сколько человек на земле, причем, занимается тем же самым делом». И далее: «Затем тень начинает понемногу уменьшаться, доходит до величины одного жучка — кэр комлах (по словам других — превращается в него) и, наконец, вполне исчезает»¹⁵⁸. Гиляки считали, что душа-тень, прожив еще одну жизнь в Нижнем Мире, опять умирает, переселяется в более «нижний» мир — и так до тех пор, пока не измельчает и не исчезнет окончательно¹⁵⁹.

По всей вероятности, вера в посмертную жизнь возникла еще в глубинах каменного века. Во всяком случае, в верхнепалеолитических погребениях, исследованных О. Н. Бадером на Сунгире под Владимиром, мы наблюдаем уже совершенно сложившийся ритуал отправления души умершего в потусторонний мир. Труднее определить время дифференциации представления о душе — разделения ее на душу-тень и бессмертную душу. Особенно сложно решать этот вопрос применительно к Западной Сибири, так как самые ранние из исследованных здесь древних кладбищ относятся в основном уже к переходному времени от неолита к бронзовому веку (Самусьский могильник, могильник на Мусульманском кладбище и др.). Трудности усугубляются тем, что анимистические представления у современных сибирских аборигенов зачастую носят синкретический характер и порой бывает трудно отличить, когда идет о душе-тени, а когда о бессмертной душе. Нередко они сливаются как бы воедино, и тогда вместо параллельного путешествия в Нижний и Верхний Миры душа человека после его смерти могла идти лишь по одному из двух возможных путей: а) отправиться в Нижний Мир, если умерший был плохим и недостойным человеком; б) стать небожителем либо продолжить свою жизнь в новорожденном. Скорее всего, такое понимание души сложилось сравнительно поздно — в условиях разложения родового строя, когда социальная неоднородность членов рода стала выступать на уровне социального неравноправия. Не исключено, что известную роль здесь сыграло христианство с его представлениями об аде и рае.

Реконструкция древних представлений о бессмертной душе осложнена тем, что погребальные ритуалы, связанные с нею, совершались в основном не в земле, а на земле, ближе к Верхнему Миру, и поэтому следы таких обрядов трудно обнаружить и понять в процессе археологических раскопок. Если исходить из того, что культ дерева выражает идею возрождения, то выявление этого культа в древности могло бы стать косвенным свидетельством веры в бессмертную душу. Выше мы уже говорили, что для Западной Сибири первые сведения о культе дерева относятся к энеолиту или началу бронзового века (рис. 28, 1), но особенно многочисленными они становятся начиная с эпохи железа (рис. 28, 2—4, 6—15). О вере в бессмертную душу в древние эпохи мог бы свидетельствовать, в частности, факт захоронения на деревьях, но, к сожалению, археологически эта разновидность погребального обряда пока не поддается выявлению.

Мы считаем, что трупосожжения, которые достаточно типичны в Западной Сибири с энеолитического времени, также можно считать одним из доказательств веры в бессмертную душу, однако на этом вопросе будет уместнее остановиться в разделе, посвященном почитанию огня. Таким образом, не имея возможности определить с достаточной точностью время появления в Западной Сибири веры в двойственность души, мы тем не менее вправе предполагать, что вера в наличие у человека двух основных душ в энеолитическую эпоху не только существовала, но имела уже сложившуюся культовую обрядность.

Похоронные ритуалы, связанные с устройством судьбы души-тени, всячески подчеркивали, что у живых и мертвых разные пути, которые не должны совпадать. Ненцы, ханты, манси, селькупы и другие выносили покойников не через дверь, а через окно или специально сделанное в стене отверстие в ту сторону, где находился Нижний Мир (обычно на север или запад). Ненцы шли от кладбища спиной вперед и, сев в нарты, ехали к поселению не по старому следу, а параллельно¹⁶⁰. Кеты, уходя от захоронения, не оглядывались назад; последний в процессии должен был положить поперек тропинки палку, как бы преграждавшую умершему возвращение к людям¹⁶¹. Вогулы, покидая кладбище, перегораживали дорогу засекой¹⁶².

Бытует распространенное заблуждение, что погребаемый снабжался всем необходимым для жизни в стране мертвых. В действительности основная масса могильного инвентаря, равно как и погребальная пища, помещались в могилу с целью снабдить покойника (душу-тень?) «дорожным» запасом на период путешествия в Нижний Мир — очень опасного и весьма длительного. У карагасов путь до Нижнего Мира длился три дня. Поэтому родственники клали в могилу трехдневный запас пищи — три заварки чая, три кусочка лепешки и некоторое количество табака¹⁶³. Нередко с покойным передавали гостинец умершим сородичам или вещь, которую забыли положить предыдущему покойнику. Остяки, по сообщению И. С. Полякова, «иногда с одним покойником кладут лишний запас платья с тем, чтобы он передал его по назначению тому или иному из ранее умерших»¹⁶⁴. С умершим чувашом, по свидетельству А. Вышеславцева, клали, кроме всего прочего, «различных снедей и при прощании с покойником просили передать все это в подарок прежде умершим родственникам»¹⁶⁵.

Для быстрого достижения Нижнего Мира душа-тень обеспечивалась средствами передвижения. У тундровых и таежных оленеводов на могиле оставляли поврежденную нарту и убитых ездовых оленей. Якуты, алтайцы, буряты и другие скотоводы убивали на могиле верховую лошадь. По мнению якутов, души бедняков, у которых на похоронах не была убита скотина, совершали свое загробное путешествие пешком¹⁶⁶. У таежного охотничье-рыболовческого населения Западной Сибири душа-тень, как правило, транспортировалась в страну мертвых на лодке. Обычай захоронения в лодке был особенно распространен у хантов и селькупов; она распиливалась надвое: в одну половину клали покойника, другой прикрывали¹⁶⁷. Кондинские остяки клали на могилу весло¹⁶⁸. При раскопках древнеселькупского могильника Релка на Оби (VI—VIII вв. н. э.) Л. А. Чиндина выявила интересный обычай помещать с покойным ладьевидные чаши из меди и из глины. В этой связи любопытно, что у кетских и

тунгусских шаманов Туруханского края среди подвесок шаманского костюма имелась выкованная из железа лодочка с веслом, на которой шаман совершал свои путешествия по мирам вселенной¹⁶⁹. Ассоциация погребального сосуда с лодкой должна учитываться при раскрытии семантики погребальной и вообще ритуальной посуды. Тот факт, что баба-яга, транспортируясь в ступе, «толкачем упирает», т. е. действует им как веслом или шестом, наводит на мысль, что названная ассоциация имела в древности весьма широкое распространение.

Интересен обряд «провождения» души-тени в Нижний Мир. У энцев человек, совершающий этот обряд, садился после похорон у северной стороны чума, через которую выносили покойника. Глядя на север, он обращался к умершему, представляя дело так, что сопровождает его в сторону мертвых, указывает ему правильный путь и не дает ступить на дорогу, ведущую к живым. Закончив ритуал, провожающий говорил: «Больше он не вернется. Я послал его в дя-сиэ» (земли-дыру)¹⁷⁰. В церемонии провождения души ороцкий шаман напутствовал ее восклицанием вроде: «Хорошенько иди, чего стала посреди дороги? Ты разве не видишь пропасти, не видишь стремнин?» Гольды считали, что без шамана душа вообще не попадает в мир мертвых. Поскольку шаманов, умеющих водить души, было мало, покойники нередко, накапливаясь, ждали годами, пока, наконец, не приедет такой шаман¹⁷¹.

В дошаманский период водителем душ, видимо, являлся старший родственник или колдун. У энцев, например, до недавнего времени душу провожал не шаман, а специальный человек — «сабоде»¹⁷². Еще раньше эту роль могло выполнять какое-нибудь почитаемое животное; во всяком случае, у некоторых сибирских народностей в проводах души наряду с шаманом участвует собака (у чукчей)¹⁷³, змея (у селькупов)¹⁷⁴, ящерица (у эвенков)¹⁷⁵ и т. д. Интересно, что эвенкийский шаман в своих путешествиях по Нижнему Миру больше полагается в выборе дорог на сопровождающую его ящерицу, которая, в отличие от шамана, способна проникать в любые места преисподней¹⁷⁶.

Не исключено, что некоторые вещи, характерные в древнем погребальном инвентаре, тоже были призваны помочь покойнику (душе-тени) не заблудиться на дорогах, ведущих в страну мертвых. Можно допустить, что в древности, особенно в дошаманский период, помещение в могилу специального погребального сосуда имело ту же самую цель — направить покойного туда, где он должен был продолжать свою жизнь в соответствии с изменившимся статусом¹⁷⁷. Нам представляется, что семантика погребального сосуда, скорее всего, может быть расшифрована, исходя из семантики шаманского бубна. И тот, и другой — ритуальные предметы, причем достаточно близкие по облику, так как в их форме мы наблюдаем сходное сочетание круглой плоскости и сферы; и тот и другой (шаманские бубны безусловно, погребальные сосуды бронзового века предположительно) несут в своей орнаментации идеи, так или иначе связанные с представлением о вселенной; любопытно также, что в некоторых шаманских действиях вместо бубна использовался сосуд¹⁷⁸.

Все это и ряд других данных позволяют предполагать генетическую близость ритуального сосуда и шаманского бубна, что дает основание допустить сходство их смыслового содержания. Одним из назначений

бубна было обеспечить шаману (точнее, его душе) возможность путешествия по мирам вселенной. Известно, что так называемая «модель мира», изображаемая на шаманских бубнах, являлась своеобразной картой-компасом, которым шаман руководствовался в этих странствиях. Кроме того, шаманский бубен ассоциировался с транспортным средством шамана: у разных народов в разных ситуациях он представлялся то орлом, то лосем, то конем (у южных скотоводческих групп), то лодкой-берестяжкой и т. д.¹⁷⁹ В этой связи интересен праздник оживления бубна у селькупов. Он длился семь дней и представлял по содержанию своей обрядности процесс воссоздания оленя, из шкуры которого сделан бубен: собиралась каждая потерянная им шерстинка, кости, все сменные за его жизнь рога, затем шаман поливал все это водой, после чего бубен (олень) считался «ожившим». Бубен можно было приносить в жертву за душу человека, как живого оленя. Одновременно бубен у селькупов считался лодкой шамана¹⁸⁰. Возможно, представление о бубне-лодке отражает древнейшую ступень осмысления ритуальной предназначенности бубна, восходящую к дооленеvodческому периоду.

Скорее всего, погребальный сосуд эпохи бронзы, как и более поздний шаманский бубен, мог быть не только схематической моделью мира, но и служить транспортным средством, при помощи которого душа умершего человека перемещалась в ту или иную уготованную ей сферу потустороннего мира. Здесь уместно еще раз вспомнить, что у известной всем нам бабы-яги основным транспортным средством была ступа, которая в общем-то является разновидностью сосуда.

Продолжая выбранное направление археолого-этнографических сопоставлений, хочется особо подчеркнуть не только возможность, но и необходимость обращения в первую очередь к атрибутам шаманства при исследовании семантики древних ритуальных предметов. В этом отношении интересны некоторые принадлежности шаманского костюма. Так, у кетских шаманов бляшка из красной меди с семью кружочками и шестью радиальными лучами являлась схематическим планом Среднего Мира: семь кружочков на ней — это семь морей, шесть радиальных линий — это шесть основных дорог, которыми шаман пользовался в своих путешествиях по земле. Медная бляшка с четырьмя параллельными линиями точек изображала Млечный Путь — дорогу на небо. Бляшка с двумя концентрическими окружностями символизировала так называемое нижнее солнце, которое было необходимо шаману для путешествия в Нижний Мир, где очень темно, нет ни солнца, ни огня и поэтому легко заблудиться¹⁸¹. Интересно, что возвратившись из Нижнего Мира, кетский шаман дрожит от холода и требует огня, который немедленно разводится¹⁸². По данным урало-сибирской этнографии, примерно так же ведет себя покойник, если ему по каким-либо причинам удастся попасть из Нижнего Мира в Средний. Пермские рассказывают, что он дрожит от холода и просит домашних погреть его¹⁸³. Темнота, холод и опасности преисподней требовали, чтобы с покойником, кроме обычных «земных» вещей, клали какие-то особые предметы, необходимые прежде всего в Нижнем Мире. Все вышеизложенное дает еще один из возможных путей толкования некоторых специфических металлических украшений, часто встречаемых в инвентаре сибирских могил начиная с эпохи бронзы.

Астральные культы. Представления о мире

По мере приближения к эпохе бронзы на глиняной посуде Зауралья и Западной Сибири, особенно в южной половине этой территории, становятся все более характерными солярные узоры. Расцвет солярной орнаментации (самусьско-сейминская, андроновская эпохи) совпадает по времени с усилением влияния южных культур и широким распространением на север элементов производящей экономики. В это время в орнаментации западносибирской глиняной посуды достаточно четко прослеживаются две манеры изображения солнца — андроновидная (в виде поясов из треугольников, зигзагов, ступенчатых фигур; рис. 7, 3, 5; 8, 1, 2, 4, 10, 14, 15; 29, 3, 5, 8, 11—13) и самусьская (в виде спиральных узоров, концентрических окружностей, лестничного пояса и т. д.; рис. 6, 14; 29, 4, 6, 7, 10)¹⁸⁴. Позже эти две манеры часто выступают в смешанном виде, однако на глиняных и костяных пряслицах, некоторых металлических культовых предметах мы вплоть до этнографической современности видим две линии преемственности солярного стиля — андроновидную (рис. 30, 8, 16) и самусьскую (рис. 30, 2—4, 13, 14, 17, 18, 20—22, 24).

По западносибирским археологическим и этнографическим материалам, любая окружность, круглая плоскость, сферическая поверхность вызывали в первую очередь солярные и вообще астральные ассоциации; отсюда солярные узоры на пряслицах, бронзовых бляхах, у втулок орудий, на днищах, у устья, на плечиках и в придонной части керамических сосудов в виде зигзагов, фестонов, лестничных поясов, окружностей, меандров, крестовидных фигур и т. д. Некоторые орнаменты на стенках сосудов читаются как солярные лишь тогда, когда смотрятся развернутыми в горизонтальной плоскости — например, зигзагообразные и лестничные пояса, ступенчатые меандры, треугольные фестоны¹⁸⁵.

Употребляя термин «солярное изображение» применительно к характеризваемым узорам, мы отнюдь не склонны строго отождествлять их с солнечным кругом; это в ряде случаев могли быть рисунки луны или изображения, несущие в себе более широкое астральное содержание. Так, солярные знаки, судя по рисункам на шаманских костюмах и бубнах, могли символизировать небо, Верхний Мир¹⁸⁶. На стенках и в придонной части древних сосудов, где сфера и круг выступали в единстве, нередко выполнялись большие и сложные космогонические композиции — например, на некоторых абашевских (баланбашских), самусьских, андроновских (федоровских) и еловских сосудах (рис. 29). Нередко столь же сложные астральные композиции встречаются на пряслицах (рис. 30, 8, 16, 19) и некоторых бронзовых культовых предметах (рис. 30, 23). По всей вероятности, здесь запечатлены целые блоки системы представлений о мире, важные стороны древней идеологии в целом.

Наверное, в бронзовом веке существовали особые места, где совершались ритуалы астральных и, в частности, солярных культов. В этом отношении интересны найденные Д. Н. Эдингом при раскопках на Горбуновском торфянике у Нижнего Тагила в слое эпохи бронзы многочисленные глиняные тарелки, украшенные в солярном стиле (рис. 29, 12)¹⁸⁷. По западносибирским этнографическим данным, сосуды в виде тарелок обычно

отождествлялись с солнечным и лунным дисками. Так, у селькупов к священным столбам «па-парге» прибавались металлические тарелки, символизирующие солнце и месяц¹⁸⁸. Жертвенную пищу во время ритуальных церемоний обские угры старались приносить на серебряных и оловянных блюдах. Это, по мнению Н. Ф. Прытковой, выражало идею светлого начала, воплощенного в образе солнечного божества Мир-сусне-хума¹⁸⁹. На металлических блюдах, которые вогулы в ожидании Мир-сусне-хума ставили под копыта его божественного коня, нередко изображалось солнце¹⁹⁰. Для выражения солнцеликости особо почитаемых остяцких и вогульских добрых божеств к лицевой части деревянного идола прибывало серебряное или вообще металлическое блюдо.

В почитании солнца отчетливо проявляются две основные идеи: а) добра и света; б) возрождения. Кеты клали покойников головой на восток, ногами на запад, так как запад считался у них страной мрака, где расположен мир мертвых, а восток — страной света и возрождения¹⁹¹. У селькупов Небесная Мать каждое утро на кончике солнечных лучей посылает на землю души рождающимся людям. Души эти представлены в образе птички¹⁹². Подобные представления известны у ваховских остяков; они считают, что Пугос-лунг (Мать-дух), или Торум-анка (Мать бога), живет на востоке у солнца. Она пестует младенцев — таких маленьких, что «на глаз не видно», а утром, с первым лучом восходящего солнца, посылает их на землю: куда попадает луч, там рождается ребенок¹⁹³.

В фольклоре селькупов солнце способно оживить убитого. Для этого кусочки его тела собирают и складывают в восточной стороне чума на шкуре белого оленя. Едва лучи солнца коснутся его, умерший оживает¹⁹⁴. Примечательно, что солнечный луч («ильсат») в переводе с селькупского означает «душа» или «то, что оживляет»¹⁹⁵. Культ животворящего солнца, как нетрудно заметить, во многом перекликается с культом дерева; они как бы взаимодополняют друг друга. Не случайно кеты помещали труп ребенка и кости убитых животных в дупло или у основания дерева с солнечной (восточной) стороны¹⁹⁶. Священная береза у селькупов и священная лиственница у эвенков венчались изображением солнца¹⁹⁷. Среди тамг обских угров обращает на себя внимание знак, изображающий священное дерево с солнцем у вершины¹⁹⁸. В этом отношении чрезвычайно интересен сосуд эпохи ранней бронзы из поселения Верхний Сор в Нижнем Причулымье (Томская обл.), где изображение солнечного круга лежит на ряде деревьев (рис. 28, 1).

В представлениях западносибирских аборигенов солнце охраняло от злых духов и опасностей. По свидетельству Г. И. Пелих, у нарымских селькупов изображением солнца прежде защищалось любое отверстие в крыше или в стене жилища¹⁹⁹. Нам представляется, что многочисленные бронзовые перстни и подвески со спиральными завитками на концах (рис. 30, 2—4, 21), металлические бляхи в виде полусфер и дисков, нередко с солярным орнаментом (рис. 30, 5—7 и др.), широко распространенные в Западной Сибири с эпохи бронзы, помимо своей роли украшений, являлись одновременно талисманами и оберегами, отражающими веру их обладателей в чудодейственную силу Солнца, Луны и других небесных светил.

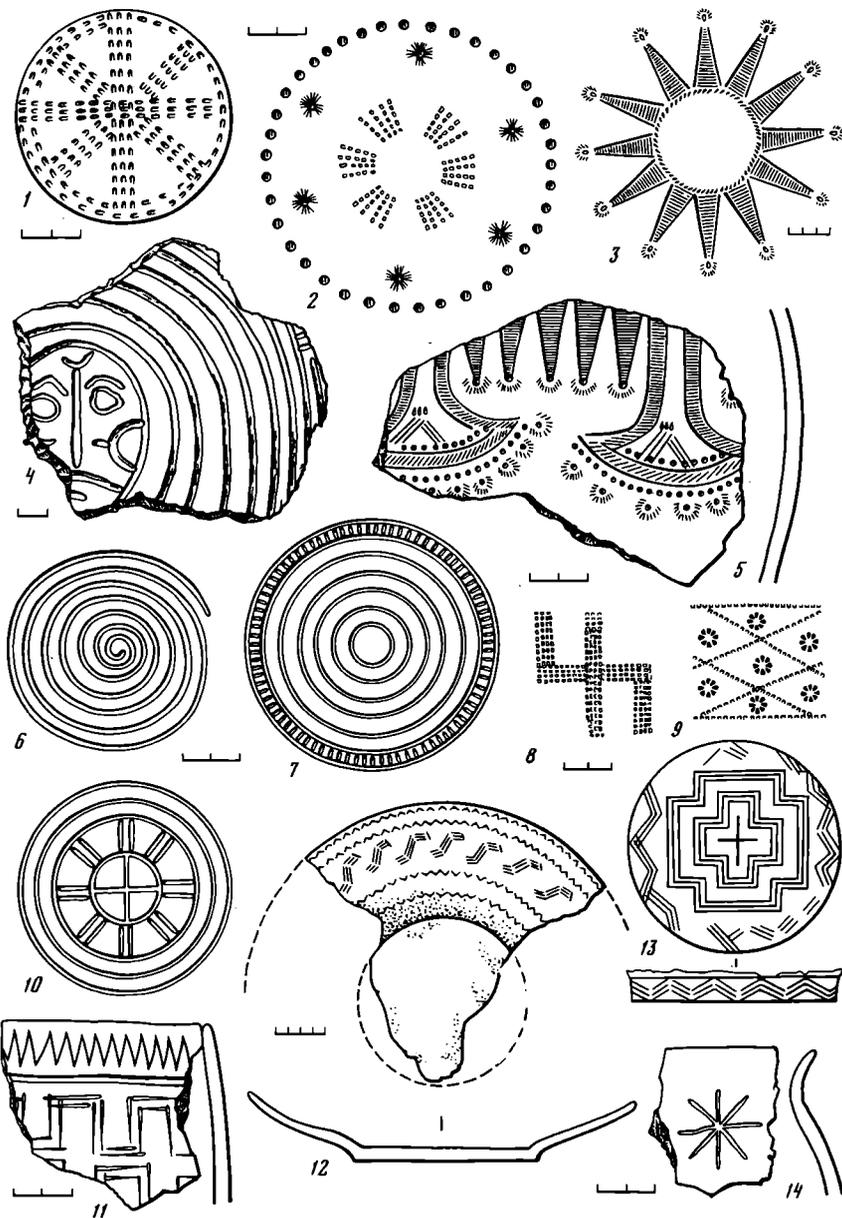


Рис. 29. Рисунки на западносибирской керамике бронзового века, свидетельствующие о солнечных и астральных культах

1 — переходное время от неолита к бронзовому веку; 2—10 — самусьско-сейминская эпоха; 11—14 — андроновское время.

1 — могильник на Мусульманском кладбище у Томска; 2 — поселение Урняк; 3, 5 — поселение Баланбаш; 4, 6, 7, 10 — Самусьское IV поселение; 8 — узор на андроновской (федоровской) посуде; 9 — орнаментальный мотив на керамике Еловского поселения (еловская культура); 11 — Омская стоянка; 12 — Горбуновский торфяник; 13 — Алакульский могильник; 14 — Еловское поселение. 1, 4, 6, 7, 10, 13 — орнамент на днищах; 2, 3 — орнамент в придонной части сосудов (развертка в горизонтальной плоскости); 12 — орнамент на внутренней стороне блюда; остальное — узоры на стенке сосудов

Этнографические материалы показывают, что обряды почитания Солнца наиболее выражены у тех сибирских народов, которые по своему происхождению связаны с южными районами или в культуре которых заметен южный компонент (селькупы, кеты и отчасти ваховские ханты). Не исключено, что в верованиях этих этнических групп нашли отражение религиозные представления южного скотоводческо-земледельческого населения, которое в эпоху бронзы продвинулось далеко на север Западной Сибири и оказало влияние на культуру и быт таежных охотников и рыболовов.

По этнографическим свидетельствам, сибирские аборигены делили вселенную на три основные сферы: Верхний Мир, отождествляемый с небом, небесными светилами, местообиталищем «бессмертной» души и добрыми божествами; Средний Мир (наша земля с водами, сушей, лесами, горами, людьми и животными); Нижний Мир, где обитали злые божества и вообще темные силы; здесь также находилась страна мертвых, куда после смерти человека уходила его душа-тень. Поскольку Верхний и Нижний Миры несли весьма многостороннее содержание, они, в свою очередь, делились на несколько локальных сфер. Так, у обских угров, судя по фольклорным данным, в Верхнем Мире было три неба, а в Нижнем — три «этажа»²⁰⁰. Кеты представляли Верхний Мир в виде семи небес, а Нижний — в виде семи подземелий²⁰¹. Шорцы делили Верхний Мир на девять небес: на девятом небе живет верховное божество Ульгень, на восьмом — Солнце, на седьмом — Луна и звезды и т. д.²⁰² Такая ступенчатая дифференциация сфер вселенной определилась, видимо, сравнительно поздно — вряд ли ранее рубежа бронзового и железного веков. Она произошла, скорее всего, в процессе разложения родового строя и явилась отражением социальной дифференциации древнего населения — выделения военных вождей, родовой аристократии, простых общинников и рабов. Это не замедлило проявиться в иерархизации языческого пантеона — выделении верховного божества, возглавившего разномастный сонм богов и духов-хозяев более мелкого ранга; ритуальное содержание этого процесса было запечатлено и закреплено шаманскими верованиями.

Западносибирские археологи обращали внимание на зональный характер орнаментации ритуальной керамики эпохи бронзы, для которой солярная и вообще астральная орнаментация особенно характерна²⁰³. По мнению ряда ученых, многозональный принцип декоративной схемы на древних ритуальных сосудах отражает представление об основных сферах окружающего мира, о вселенной в целом²⁰⁴. Наряду с представлениями о «вертикальном» строении вселенной у древнего западносибирского населения существовала и «горизонтальная» модель мира. Об этом говорит, в частности, устойчивая ориентировка погребенных в могилах, близкая к направлениям север—юг и восток—запад, во всяком случае начиная с ранних этапов бронзового века (более древние погребения в Западной Сибири практически неизвестны).

Согласно этнографическим сведениям, ориентировка погребенных у сибирских аборигенов строго зависела от направления, в котором, по их представлениям, находился Нижний Мир. Остяки клали мертвых ногами на север или лицом к северу, чтобы умершему легче было

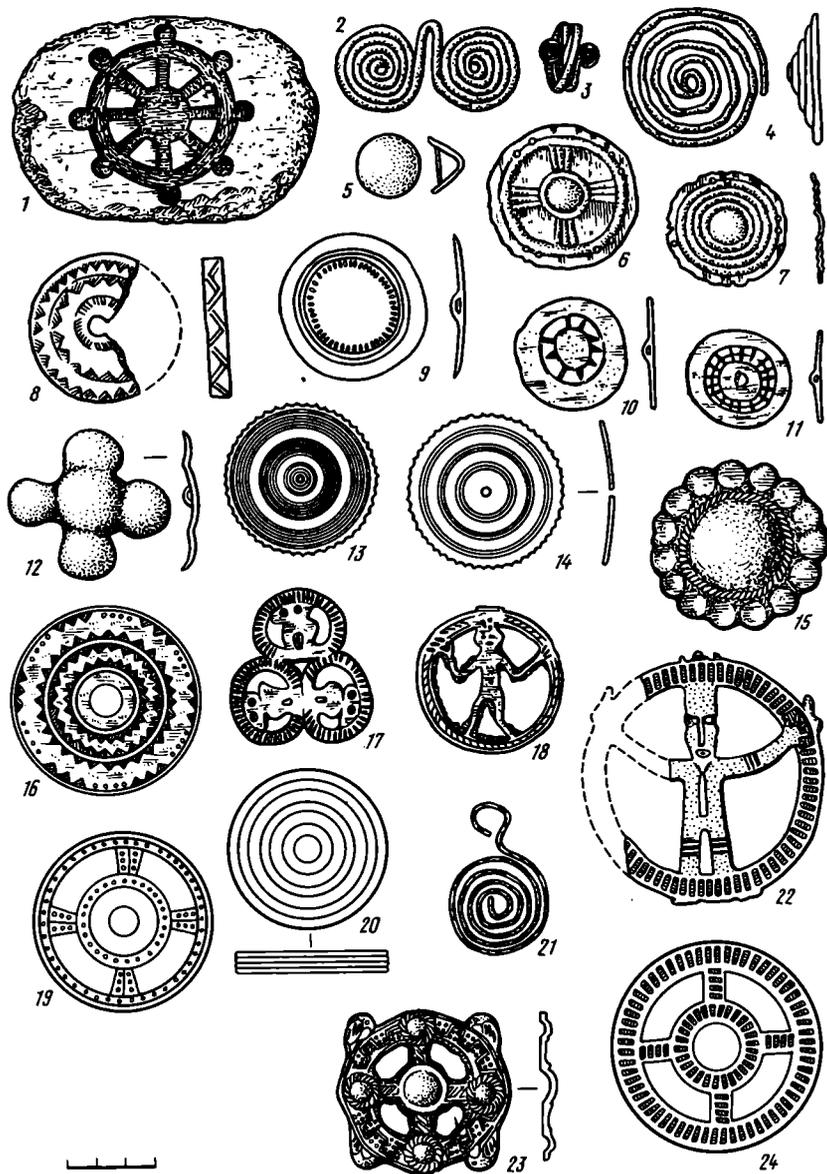


Рис. 30. Древние рисунки и предметы, имеющие отношение к солярному и астральным культам

1—8, 18 — бронзовый век; 9—12, 14, 15, 17 — железный век; 13, 21, 23 — раннее средневековье; 16, 19, 20, 24 — XIX и начало XX в.; 22 — время существования неизвестно. 1 — Канайское поселение (Восточный Казахстан); 2 — Северо-Бирский могильник (Южный Урал); 3, 5 — могильник Чернозерье I; 4 — Еловский могильник; 6, 7 — Алексеевское поселение; 8 — Десятовское поселение; 9—12, 17 — Степановский клад; 13 — Томский могильник; 14 — Барсов Городок 1/9; 15 — городище Усть-Полуй; 16, 19, 20 — хантыйские пряслица; 18 — поселение Завьялово 1А; 21, 23 — Релкинский могильник; 22 — с. Напас на р. Тым; 24 — культовое литье хантов.
1 — камень; 8 — глина; 16, 19, 20 — кость; 24 — олово; остальное — медь и бронза

найти место своего загробного обиталища²⁰⁵, у селькупов труп помещали в могилу ногами на север или вниз по течению реки, так как они считали, что Нижний Мир, а следовательно, и страна мертвых находились на севере и попасть туда можно было лишь спускаясь вниз по реке²⁰⁶. Энды также хоронили покойников ногами на север²⁰⁷. Обдорские самоеды (западносибирские ненцы), по наблюдениям В. Львова, клали покойных немного набок, глазами на запад²⁰⁸. Кеты обычно укладывали умерших головой на восток, ногами на запад, что было связано с представлениями о востоке и западе как олицетворении жизни и смерти (запад — страна мрака, где расположен Нижний Мир, восток — страна света и возрождения²⁰⁹).

Интересно, что представление о местонахождении темных сил носило двойственный характер — обычно это были и север и запад одновременно, тогда как обиталищем светлых начал были восток и юг. Так, у северных вогулов и остяков мир мертвых находился на севере, но запад также считался темной страной — там жили злые духи; по одной из вогульских примет, если звезда падает на восток, это означает, что человек родился, если на запад, то человек умер²¹⁰. Кеты, считавшие, что страна мертвых находится на западе, связывали север с местом обитания злого женского божества Хоседам, поедавшего души людей; светлое начало ассоциировалось у них с востоком — страной света и возрождения и с югом, где жило доброе женское божество Томам — хозяйка светлой солнечной страны, куда улетают птицы²¹¹. По сказаниям якутов, прежде у них одним из наказаний за убийство была казнь, заключающаяся в распятии преступника «вниз головой, вверх ногами на конце западного неба»²¹². Здесь мы видим сочетание вертикального и горизонтального осмысления вселенной.

Столь сложная модель мира, сочетающая вертикальный и горизонтальный планы, возникла в связи с необходимостью разделить, противопоставить и локализовать светлые и темные силы — добро и зло, тепло и холод, рождение и смерть. В этом отношении любопытен обряд осеннего жертвоприношения у ненцев перед началом охотничьего промысла: белые жертвенные олени ставились головой в сторону, откуда приходит тепло, а темные — в сторону, откуда приходит холод²¹³. Верхнему светлomu божеству Нуму мезенские самоеды приносили в жертву белого оленя; ритуал совершался днем на самых высоких горах, оленя обращали головой к востоку²¹⁴. Злому богу (Сядею) туруханские самоеды жертвовали черного оленя; ритуал совершался после заката солнца, голову животного поворачивали к западу²¹⁵. Вотяки, принося жертву нижним богам, убивали черного быка или черного барана, кости которых зарывали потом в яму. При молениях верхним божествам жертвовался светлый баран, гусь или красный бык; кости их сжигали либо складывали в лукошко, которое относили в лес и подвешивали на сучке дерева²¹⁶.

В рисунках на шаманских бубнах более или менее детально воспроизводился лишь наш, видимый (Средний) мир. Верхний и Нижний Миры, поскольку они были недоступны взору простого смертного, или вообще не рисовались, или обозначались символами. Так, на кетской «модели» вселенной изображался лишь вход в Нижний Мир — в виде не-

замкнутой внизу окружности, ограничивающей земную сферу²¹⁷. На селькупских бубнах, весьма сходных с кетскими, показан вход не только в Нижний, но и в Верхний Мир — тоже в виде несомкнутой части окружности²¹⁸. У алтайцев символом Нижнего Мира был рисунок ужа на внутренней стороне бубна, а Верхний Мир обозначался знаком Солнца, Луны и других атрибутов небесной сферы²¹⁹. Нередко трехсферность вселенной на сибирских бубнах, ее вертикальная модель, изображалась в виде шаманского мирового дерева, к разным частям которого были приурочены символы определенных миров²²⁰.

Среди специалистов идет спор, какая из моделей мира — горизонтальная или вертикальная — более ранняя? Г. М. Василевич считает более древней вертикальную модель²²¹. А. Ф. Анисимов же полагает, что «горизонтальное положение пространственных представлений о вселенной предшествовало исторически вертикальному делению вселенной на верхний, средний и нижний миры». «Даже там, — пишет он далее, — где мифологические представления о вселенной приняли уже четко выраженное вертикальное деление, следы горизонтальных форм пространственного осмысления вселенной продолжают сохраняться сравнительно долго и достаточно отчетливо. У эвенков, например, в числе названий Верхнего Мира фигурирует тыманитки, дословно — к утру (востоку); для Нижнего — долбонитки, дословно — к ночи (западу)»²²².

Идея вертикального строения вселенной наиболее выражена в шаманском мировом дереве, но в этой модели основное внимание акцентировано на небесной сфере и на ее связях со Средним Миром. У алтайцев при молениях светлomu божеству Ульгеню в юрте ставилась береза, вершина которой выходила в дымовое отверстие. Сучья березы снизу обрубались и на стволе делали девять зарубок («ступеней»), соответствующих числу небес. В процессе камлания шаман поочередно вскакивал на зарубки, комментируя это как последовательное преодоление одного неба за другим²²³.

Чаще горизонтальная и вертикальная модели мира выступают в органическом единстве, составляя неделимую взаимосвязанную систему. Это с особой наглядностью видно в представлениях о мифической шаманской реке, текущей с востока на запад или с юга на север; истоки ее находятся в Верхнем Мире, а низовья — в Нижнем.

Наиболее полное отражение древние представления о мире получили в погребальных ритуалах. Направление пути похоронной процессии от поселения к кладбищу, ориентировка погребенного в могиле, провожание души-тени в мир мертвых и некоторые другие проявления погребальной обрядности осуществлялись в соответствии с идеей горизонтального строения вселенной. В то же время ряд ритуалов исходил из представлений о вертикальном расположении сфер вселенной. Сам погребальный комплекс в целом как архитектурный памятник являл собою не что иное, как своеобразную модель мира в его вертикальной проекции. Подземная часть символизировала Нижний Мир, надземная — Верхний.

Это членение соответствовало представлению о двух основных душах человека. Первая из них (мы уже говорили об этом выше) известна как душа-тень. Ее посмертное существование было связано с низом, с севером

и со стороны солнечного заката. Она выступала на уровне злой, темной силы. Вторая из двух основных душ, известная в западносибирской этнографии как душа-имя, душа-птица, являлась олицетворением бессмертия, носительницей наследования жизни. Ее посмертное существование было связано с верхом, с югом, со стороны солнечного восхода, т. е. со светлыми началами. Исходя из веры в темную и светлую души, в зло и добро, в смерть и бессмертие, в Нижний и Верхний Миры, в погребальных церемониях древности, во всяком случае начиная с эпохи бронзы, осуществлялись одновременно два направления погребальной обрядности.

Та часть погребальных ритуалов, которая была связана с захоронением в земле, имела две главные цели: 1) помочь покойнику, вернее его темной душе, душе-тени, быстро и благополучно достичь Нижнего Мира, где находилась страна мертвых; 2) исключить возможность возвращения этой опасной души в мир живых. Отсюда зарывание покойника в землю, ориентировка его в направлении страны мертвых, перерождение дороги от могилы к поселению и т. д.

Погребальная обрядность, посвященная светлой душе, имела главной целью помочь ей благополучно подняться в Верхний Мир с тем, чтобы в дальнейшем дать начало новой человеческой жизни. Согласно уралосибирским этнографическим свидетельствам, для достижения этой цели практиковался обряд сжигания трупа, захоронение на дереве или на высоком деревянном помосте, втыкание в могилу деревца, ветки с птичьим гнездышком, прикрепление к коньку погребального домика изображения птички, сооружение курганной насыпи и др.

Позднее, по мере углубления социальной дифференциации, особенно с началом эпохи железа, идея совмещения в человеке двух противоположных качеств — темного и светлого — вступает в противоречие с логикой социальных верхов. Поэтому в представлении о душе был внесен новый момент: обладателями темной души стали считать в основном лиц низшей социальной категории, а также недостойных «нечистых» людей, посмертным уделом которых было прозябание в мрачном и холодном Нижнем Мире. При их погребении исполнялась обрядность, связанная в основном с освобождением темной души, души-тени, и мерами безопасности против ее возможных козней. Отсюда погребение «заложных» покойников на Руси в пониженных местах, болотах и мочажинах. Кеты, вопреки обычаю захоронения шаманов на дереве, злых шаманов погребали в земле, причем могильную яму делали особенно глубокой. Северные буряты, у которых было принято сжигать тело умерших на вершинах высоких гор, черных шаманов, вредивших людям, зарывали живыми в землю вниз головой²²⁴.

Лиц высокого социального ранга — вождей, богатырей, героев, почитаемых шаманов — хоронили в основном по обрядам, связанным с освобождением и проходами в Верхний Мир их светлой, бессмертной души. В значительной мере изменилась и сущность светлой души: заложенная в нее идея наследования жизни начинает уступать место идее личного бессмертия.

Однако акцент на одно из двух направлений погребальной обрядности археологи отмечают в сравнительно немногих случаях — главным образом, когда покойники принадлежали к самой низкой или к самой высокой

социальной категории. В отношении основной массы населения соблюдались обычно традиционные погребальные ритуалы, где темной и светлой душам уделялось примерно равное внимание. То есть идея совмещения в человеке двух противоположных начал, сформировавшаяся в глубинах первобытности, в среде свободных общинников — носителей старых родовых традиций продолжает жить в неизменном или почти в неизменном виде. Особенно это относится к северной части Сибири, где культуры развиваются более традиционно, чем на юге, и где основные атрибуты родового строя по существу доживают до этнографической современности.

Наиболее ранние археологические материалы, свидетельствующие о сложении горизонтальной модели мира (устойчивая ориентировка погребенных, снабжение покойников всем необходимым для путешествия в мир мертвых), относятся к каменному веку, тогда как самые ранние данные о вертикальном осмыслении вселенной (ритуальная посуда со сложной астральной орнаментацией, изображение дерева с солярным знаком на вершине, появление трупосожжений) известны в Западной Сибири лишь с переходного времени от неолита к бронзовому веку, хотя не исключено, что это объясняется слабой изученностью более ранних погребальных и вообще ритуальных комплексов.

Видимо, элементы и идеи вертикального осмысления вселенной по мере своего возникновения обогащали традиционную горизонтальную модель мира, сливаясь с нею в единое органическое целое; итог этого процесса этнографы имели возможность наблюдать, в частности, в современных шаманских верованиях.

Мы не затрагиваем здесь вопросов, связанных с условиями и временем сложения шаманизма. Это — чрезвычайно сложная проблема, для разработки которой пока нет сколько-нибудь надежных археологических данных. Если исходить из популярного тезиса, что шаманизм оформился в условиях начавшегося разложения родового строя на основе первобытных тотемических и анимистических верований, то его сложение как особой формы религии логичней всего приурочить к рубежу бронзового и железного веков или к раннему этапу эпохи железа. Если говорить о времени зарождения шаманизма, то начало его можно увести в глубины каменного века, ибо проявления, которые можно при желании выдать за «элементы» шаманизма, мы в избытке найдем в ранних анимистических и тотемических представлениях, а также в магических действиях, молениях и колдовских ритуалах самых древних стадий развития человеческого общества.

Почитание огня

Разработка вопроса о роли огня в верованиях древнего западносибирского населения наиболее перспективна на основе изучения ритуальных памятников — прежде всего могильников, так как, во-первых, огонь здесь почти наверняка употреблялся в ритуальных целях, а во-вторых, потому, что здесь археологические материалы лучше увязываются с этнографическими.

Следы огня в той или иной мере зафиксированы почти во всех древних могильниках Западной Сибири от рубежа неолита и бронзового века до средневековья, но степень участия его в погребальном ритуале разных эпох была не совсем одинаковой; кроме того, есть основания предполагать, что не вполне однозначным могло быть и содержание огневого культа.

В Самусьском энеолитическом могильнике (примерно последняя треть III тысячелетия до н. э.) присутствие огня зафиксировано в восьми могилах из 16, в том числе в трех — трупосожжение²²⁵. В могильнике начала бронзового века на Мусульманском кладбище в Томске (приблизительно первая треть II тысячелетия до н. э.) следы огня отмечены в 16 погребениях из 30 при одном случае полного трупосожжения²²⁶. В погребениях эпохи ранней бронзы Томского могильника на Большом Мысе присутствие огня обнаружено во всех восьми исследованных могилах (полное трупосожжение, по А. В. Адрианову)²²⁷. В Ростовкинском могильнике самусьско-сейминской эпохи близ Омска (около третьей четверти II тысячелетия до н. э.) удельный вес трупосожжения и погребений со следами огня как будто снижается, но поскольку полной публикации памятника нет, говорить об этом с полной определенностью трудно. На более поздних этапах бронзового века погребения со следами огня на территории Западной Сибири встречаются реже. В Томском могильнике на Малом Мысе (последняя четверть II тысячелетия до н. э.) огонь не отмечен ни в одном из 12 погребений. В Черноозерском могильнике на Иртыше, относящемся к этому же времени, авторы раскопок, давая краткую характеристику погребального обряда 170 исследованных здесь могил, не упоминают ни о трупосожжениях, ни о присутствии огня в могилах²²⁸. Из 117 ранних погребений Еловского II могильника два были с трупосожжением, одно — с обожжением трупа сверху, в пяти встречены следы огня²²⁹. В могильниках андроновской культуры Верхнего Приобья обряд трупосожжения более характерен, но лишь в Урском могильнике он являлся преобладающим (25 трупосожжений из 28)²³⁰. С финальных этапов бронзового века трупосожжения все более выступают как показатель социального положения погребенных. Так, в ирменской части Еловского II могильника (IX—VIII вв. до н. э.) и особенно в Релкинском раннесредневековом могильнике (VI—VIII вв. н. э.) могилы с трупосожжениями выглядят уже не как рядовые захоронения²³¹.

По сибирским этнографическим материалам в отношении аборигенов к огню и в оценке его роли в тех или иных ритуальных действиях было много противоречий. С одной стороны, считалось, что огонь был необходим покойникам: манси, например, не сжигали в дороге всех запасенных для костра дров — обязательно оставляли хотя бы одно полено, чтобы тень умершего (душа-тень), идущая в мир мертвых, могла погреться у костра²³². С другой стороны, покойники вроде бы боялись огня: ханты, чтобы не допустить возвращения умершего, в течение нескольких дней после смерти родственника поддерживали постоянный огонь в жилище²³³. У обских угров, селькупов, кетов и других сибирских народов считалось, что сожжение тела и костей животных либо человека означает уничтожение его души, окончательную смерть, исключаящую возможность возрождения. «Сжигая кости виноватого в смерти человека медведя, — пишет

по этому поводу Н. Харузин, — инородец уничтожает последнего окончательно, он умерщвляет его дух»²³⁴. Этот обычай находится в противоречии с обрядом трупосожжения, который имел место у непосредственных предков обских угров и селькупов²³⁵.

Возможно, отмеченные противоречия явились результатом многокомпонентности культуры современных западносибирских аборигенов, смешения элементов идеологии разных этнических групп и разных эпох. В этой связи важно выделить общее в отношении к огню у всех сибирских народов. Этим общим является: а) вера в очистительную и охранительную силу огня; б) ассоциация огня с женским началом; в) обычай «кормления» огня. Общераспространенность этих трех элементов огневого культа является свидетельством их глубочайшей древности.

Есть основания предполагать, что сжигание вещей могло быть одним из способов отправления их в загробный мир. По сообщению С. Майнагашева, сагайка Тана Кызласова (р. Аскыс, улус Павин) рассказала такую историю. Умерла девушка, и с ней забыли положить ее платок (он лежал на дне шкатулки завернутый; поэтому отец и мать девушки не нашли его). Девушка, постоянно являясь родителям во сне, просила свой платок. Когда в улус мертвых привезли однажды по ошибке не ту женщину (мертвые не приняли ее), и ей пришлось вернуться в мир живых, она сообщила родителям о просьбе умершей девушки: «Передай отцу и матери, — просила покойная дочь, — пусть сожгут мой платок. Он лежит завернутый в шкатулке». Родители сожгли платок, и девушка перестала приходить²³⁶.

Отметим, кстати, что по урало-сибирским этнографическим материалам известно по крайней мере шесть способов отправки вещей за пределы Среднего Мира: 1) ломка (например, надкалывание сосуда, отрезание куска одежды, обламывание кончика ножа или стрелы); 2) придание вещи неестественного положения (перевертывание сосуда вверх дном, оставление у могилы нарт вверх полозями и т. д.); 3) зарывание в землю; 4) втыкание вещи в землю (ножа, копья, хорea и др.); 5) сжигание; 6) помещение на высоте (главным образом на дереве). Перечисленные приемы касались не только вещей, но в той или иной мере людей и животных. Первые четыре способа связаны главным образом с отправкой в Нижний Мир²³⁷. Два последних (сожжение и помещение на дерево или вообще на высоту) были призваны обеспечить попадание в Верхний Мир, хотя обряд сожжения дает порой повод для альтернативного толкования.

При раскопках древних могильников мы наблюдаем в основном те стороны погребальной обрядности, которые связаны с захоронением в земле и отражают представления о Нижнем Мире. Последнее обстоятельство следует учитывать при определении семантики похоронного ритуала. На наш взгляд, многие захоронения без костяков, интерпретируемые как кенотафы, в действительности могут являться «захоронениями» вещей (и пищи) для отправки их ранее умершим сородичам, т. е. своеобразными «посылками на тот свет». Видимо, реальные погребения и кенотафы нельзя рассматривать как семантически однозначные захоронения. Если основной целью реальных погребений было отправление покойника (его души) в мир мертвых, то основной целью ложных погребений было отправление вещей и пищи покойнику, который или уже живет в мире

мертвых, или по каким-то причинам пока блуждает вне его, но должен появиться там, коль скоро оказался адресатом, обязанным получить то, что ему туда послано. Семантически кенотафы более близки характерным для древних могильников жертвенным комплексам, представленным обычно в виде ямки с помещенным в нее сосудом, пищей, вещами и т. д.

Древнее кладбище — не просто вместилище праха умерших; это прежде всего культовое место, где совершались: отправка душ в иные миры, общение с ними, передача им гостинцев, просьб и новостей от живых сородичей, моления и жертвенные дары богам Нижнего (и Верхнего?) Мира. Следы этих актов мы фиксируем археологически в виде погребений, «кенотафов», жертвенных комплексов, ритуальных кострищ и пр.

В преданиях западносибирских аборигенов ритуал сожжения трупа упоминается чаще всего по отношению к врагу. Так, у остяков богатырь, сжигая тело убитого врага, сбивал искры на землю, чтобы они, а вместе с ними душа убитого не смогли подняться на небо²³⁸. Этот былинный эпизод наводит на мысль, что при других обстоятельствах ритуальное сожжение трупа могло, наоборот, способствовать вознесению души умершего в Верхний Мир. Даяки, например, верили, что во время сожжения трупа душа вместе с дымом и пламенем улетает на небо; если человек был злым, то дым опускался вниз и душа попадала в подземное царство²³⁹.

У многих народов сожжение считалось наиболее «чистым» и надежным средством доставки богам (прежде всего божествам Верхнего Мира) посвященной им жертвы. Черемисы при жертвоприношении обращались к огню так: «Огненный дух, у тебя длинные ноги и острый язык; очистивши наши жертвы, принеси их богам»²⁴⁰. У якутов, по свидетельству А. А. Попова, жертвоприношение совершалось «через возлияние огню с упоминанием ублажаемого духа и духа-хозяина огня»²⁴¹.

Можно допустить, что обряд трупосожжения (во всяком случае, там, где он встречается наряду с ингумацией и относится к погребениям с подчеркнuto особым положением на кладбище или имеющим нестандартный набор инвентаря) применялся к наиболее почетным членам рода, которые имели преимущественное право на бессмертие. Подтверждением того, что трупосожжение было призвано облегчить освобождение бессмертной души покойного, является совмещение культа огня и культа дерева, наблюдаемое в погребальном ритуале некоторых сибирских и дальневосточных народов. Так, на месте ритуального сожжения гильяка водружалось вывороченное с корнями дерево²⁴². Интересно, что буряты складывали останки сожженного шамана в мешок из синего или белого шелка и помещали его в углубление, выдолбленное в стволе сосны; затем отверстие тщательно заделывали. Это дерево («шаманская сосна») считалось священным и неприкосновенным²⁴³. У селькупов известен двухступенчатый обряд захоронения: сначала труп, завернув в шкуру или бересту, привязывали к ветвям дерева, а по прошествии некоторого времени его снимали и погребали в могиле, разводя на деревянном перекрытии костер, куда бросали вещи покойного. После того как перекрытие сгорало и костер попадал в могилу, ее засыпали землей²⁴⁴.

По наблюдениям И. И. Георги, карагасы сжигали только тех покойников, которых «отменно почитали»²⁴⁵. У ольхонских бурят уважаемых людей сжигали после смерти на вершине горы. «Около костра, — сообщает П. Е. Кулаков, — убивают коня, на костер бросают седло, уздечку и некоторые предметы, принадлежавшие покойному. Как только обряд совершен и костер подожен, буряты спешат удалиться вниз»²⁴⁶. Любопытно, что «нечистых» покойников, прежде всего прокаженных, те же самые ольхонские буряты вообще не хоронили, а просто бросали в лесу²⁴⁷.

Видимо, подобное дифференцированное отношение к умершим имело место и в древности — возможно, с бронзового века или даже с более ранних времен, если учитывать, что трупосожжения на юге Западной Сибири известны с энеолитической эпохи. Однако право быть сожженным после смерти как бесспорная прерогатива выделявшейся родовой знати закрепились на территории Западной Сибири вряд ли ранее второй половины бронзового века. В этой связи интересно наблюдение В. И. Матюшенко: среди групп ирменских погребений (IX—VIII вв. до н. э.) Еловского II могильника, сконцентрированных под отдельными курганами, одна могила почти всегда была сооружена по обряду трупосожжения²⁴⁸. Еще более четко выражен особый социальный статус кремированных покойников в Релкинском раннесредневековом могильнике (VI—VIII вв.). Касаясь социальной трактовки ингумаций и кремаций Релкинского могильника, Л. А. Чиндина пишет: «Труположение и трупосожжение после смерти свидетельствовали о каком-то особом положении умерших. С достоверностью утверждать что-либо трудно. Ясно два факта: 1) сжигание трупа проводилось чрезвычайно редко, известно только пять случаев из 59; 2) кремированный имел непосредственное отношение к вооружению, так как почти все боевое оружие (как защитное, так и наступательное) находилось в этих могилах. Кто были эти люди — воины или служители культа — сказать трудно, но наличие особой категории людей, отмеченных привилегией в обществе, несомненно»²⁴⁹. Если сопоставить инвентарь Релкинского могильника, найденный при трупосожжениях, с вооружением древних князей и богатырей остяцких героических сказаний, то напрашивается предположение о принадлежности этих кремированных захоронений былинным князьям или богатырям — ближайшим родственникам князя, представителям особой привилегированной военной касты героических времен военной демократии. Не исключено, что кремированные покойники Релкинского могильника были одновременно и богатырями, и служителями культа. С. В. Иванов вслед за некоторыми дореволюционными этнографами считает, что древние богатыри могли сочетать в едином лице функции родового вождя, военачальника и шамана. Во всяком случае, намеки на это имеются в остяцком, тунгусском и бурятском фольклоре²⁵⁰.

Возвращаясь к содержанию культа огня, отметим, что огонь по представлениям сибирских народов был живым существом, которое двигалось, нуждалось в пище, могло быть добрым и злым, рождалось и умирало. Огонь имел свой язык. Ненцы, прислушиваясь к шуму и треску костра, предугадывали грядущие события²⁵¹. Тунгусы переводили потрескивание и шипение огня как пророческие высказывания к худу или к добру²⁵².

По представлениям якутов, понимать язык огня могли лишь шаманы или младенцы²⁵³.

Огонь был очистительным и охранительным средством. Оскверненную вещь сибирские аборигены держали некоторое время над огнем; возвращаясь с кладбища, перешагивали через костер, окуривали себя дымом. Вместе с тем у большинства сибирских народов считалось, что огонь был непреодолимым препятствием для покойников. Остяки, чтобы не допустить возвращения умершего, несколько дней поддерживали в жилище постоянный огонь²⁵⁴. По сообщению М. В. Овчинникова, якуты во время похорон обязательно оставляли кого-нибудь в селении для принятия мер против возвращения покойного. «Увидев приближающихся к дому хоронивших, — писал он, — кто-либо из оставшихся дома бежал домой, запирали двери юрты, разводил у порога на земляном полу костер. «Кто пришел?» — спрашивали из юрты пришедших, старавшихся открыть дверь ее. . . Удовлетворившись ответом и удостоверившись, что не покойник хочет войти в дом, дверь отпирали, и всякий входивший в юрту должен был перепрыгнуть через порог и разведенный на полу огонь одним прыжком»²⁵⁵.

Символом огня был красный цвет. Раскладывая первый огонь в новом чувале, хозяйка дома у васюганских остяков должна была, по сообщению Н. П. Григоровского, «бросить в этот первый разведенный огонь несколько красных лоскутков, чтобы присутствующая невидимо в чувале Божья дочь хранила бы дом от пожара. В случае же лесного пожара остяки берут семь аршин ситцу, непременно красного цвета, на двух лучинах выносят его из юрты навстречу огню и с низким поклоном кладут его на землю, чтобы огонь, принявши от них подобную жертву, обошел бы мимо их юрты»²⁵⁶. В Баргузинском районе Бурятии до недавнего времени при свершении обряда поклонения огню у очага устанавливали украшенную красными лоскутами тальниковую лозинку²⁵⁷.

У коренного населения Сибири считалось большим грехом плевать в костер, бросать туда мусор и другие «нечистые» предметы. Н. П. Григоровский приводит записанную им на Васюгане легенду о том, что одна ленивая остячка не выносила мусор на улицу, а бросала в чумал. Оскорбленная хозяйка огня сожгла жилище вместе с нерадивой хозяйкой²⁵⁸. Енисейские тунгусы верили, что если оскорбить огонь, он насылет на детей коросту²⁵⁹. У якутов тех, кто плевал в огонь, клал в камин принесенные с улицы обугленные поленья, разрывал уголь острыми предметами, хозяева огня наказывали, покрывая язвами²⁶⁰. Негидальцы рассказывают, что будто однажды мальчик взял кусок мяса и стал поджаривать его на кончике ножа. Мясо соскользнуло в огонь, мальчик хотел его достать и нечаянно ткнул ножом костер. Вдруг оттуда показался и затем скрылся человек, по лицу которого текла кровь. Вскоре мальчик умер²⁶¹.

По верованиям остяков, Солнце и Огонь — две дочери верховного бога, который поручил им освещать и согревать жителей земли²⁶². Вогулы называли огонь «Най» (Великая Женщина); представление это было столь реальным, что мужчины стеснялись раздеваться в присутствии огня²⁶³. Энецкие и нганасанские мужчины не могли прикасаться к огню домашнего очага; трубку для них раскуривали жена или хозяйка чума²⁶⁴. Ассоциация огня, как и солнца, с женским началом

отмечена и у других сибирских народов, в частности у ненцев, кетов, эвенков, нивхов, нанайцев и юкагиров. Представление об Огне-матери у сибирских аборигенов входит как часть в целое в культ Матерей Природы, который, по мнению специалистов, характеризует древнейший пласт первобытных верований сибирского населения; в этнографической современности он более всего выражен у нганасан²⁶⁵, но прослеживается в той или иной мере у всех сибирских народов.

Огонь, судя по этнографическим материалам, был символом благополучия семьи и рода. Восточные ханты избегали переносить огонь из одного дома в другой, боясь, что от этого будут болеть дети и исчезнет удача в промыслах²⁶⁶. У гиляков, по свидетельству Л. Штернберга, «только сородич имеет право разводить огонь на очаге сородича. Только сородич имеет право выносить огонь из юрты, не докурив своей трубки»²⁶⁷. Интересно, что ульчская девушка, уходя женою в чужой род, обязана была выбить свою трубку у родного очага. В эпических песнях ненцев неоднократно приводится такой эпизод: представитель побежденной семьи или рода обращается к победителю, моля о пощаде: «Не убивай наши последние вздохи, оставь нас живыми... В нашей земле огонь погаснет»²⁶⁸. Здесь гибель рода и смерть родового огня выступают как равнозначные явления. Буряты приписывали огню способность даровать потомство²⁶⁹.

Характеризуя быт оленных чукчей, В. Г. Богораз описал у них особое священное деревянное огниво «кыркыр». Если огниво, сделанное для повседневного добывания огня, не имело у чукчей никакой святости, то кыркыр, «напротив, употребляется для зажигания огня только во время известных праздников; у многих чукчей, которые теперь употребляют по преимуществу трут и огниво, в эти дни в огонь, добытый кресанием, все-таки прибавляют искру, добытую трением из кыркыр для придания ему обрядового значения. Некоторые из кыркыр переходят от поколения к поколению в течение очень долгого времени, но каждый из них приурочен к какому-нибудь человеку, специальным покровителем которого он является; таким образом, когда ребенок родится, один из незанятых наследственных кыркыр приурочивается ему. Когда же человек умирает, то его кыркыр освобождается. Только если при рождении ребенка нет ни одного незанятого кыркыр, то для него делается новый кыркыр. Это считается очень хорошим признаком для семьи»²⁷⁰.

Если часть рода черемис переселялась в другое место, она брала с собой немного золы из родового святилища. Переноса ее в новое святилище, переселенцы пели: «Иди с нами, варшуд большого шалаша, иди с нами для нашего счастья. Даруй нам то же счастье, с которым мы жили в старой деревне»²⁷¹. Л. Штернберг описал один интересный гиляцкий обычай: «Когда род разделяется и часть его выселяется в другое место, старший в роде отламывает половину огнива и вручает старейшему из отъезжающих. Этим огнивом переселенцы зажгут на новом очаге огонь на празднике медведя; оно же будет передаваться из рода в род для той же цели. Отсюда выражение «ломать огонь» стало означать расселение рода»²⁷². Аналогичный обычай отмечен у ульчей. Огонь, таким образом, являлся символом родового единства — с нарушением единства «ломался» огонь.

Приведенные этнографические свидетельства показывают необыкновенное богатство содержания культа огня в первобытном обществе. Древность и традиционность культа огня в Сибири подтверждается, в частности, тем, что при разведении ритуального костра здесь до недавнего времени употреблялся самый архаичный способ добычи огня — трением. В этой связи интересно, что у русских огонь, разводимый с ритуальной целью, также добывался путем трения. Он назывался «живым», «деревянным», «лесным» и т. д. и зажигался в некоторые праздники, например под Ивана Купалу, в случае болезней, эпидемий, падежа скота, т. е. прежде всего с очистительной и охранительной целью²⁷³.

Древние люди, овладев огнем, не могли не заметить, что он дает не только тепло и свет, но оберегает от диких зверей, помогает выжить в суровых условиях Севера. Огонь и дым были необходимы для консервации животного продукта на голодное зимнее время. Владение огнем способствовало появлению на юге таежной зоны подсечно-огневой системы земледелия. Без огня люди не научились бы плавить металл, изготавливать бронзовые и железные орудия. «Я знаю, — говорил старик-энец, обращаясь к огню, — что нет больше тебя бога, что вот железо я принесу, какое угодно железо пусть будет — ты его съешь, сожжешь, также и дерево, также и камень»²⁷⁴. Само освоение таежной и тундровой зон Сибири было немислимым без огня. Пользуясь благами, которые давал огонь, люди не могли не поклоняться ему. Надо полагать, что по мере того, как человек открывал новые возможности использования огня и приобретал с его помощью новые умения и навыки, содержание огневого культа изменялось, усложнялось, дифференцируясь в зависимости от географических условий и уровня социально-экономического уклада.



¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 28, с. 221.

² О религиозном состоянии инородцев Пермской и Оренбургской епархий, 1908, с. 392.

³ Носилов К. Д., 1904.

⁴ Приклонский В. Л., 1891, с. 48.

⁵ Малов С., 1909, с. 41.

⁶ Тарасов В., 1971, с. 65.

⁷ Кушелевский Ю. И., 1864, с. 7.

⁸ Симченко Ю. Б., 1970, с. 82—83.

⁹ Белявский Ф., 1833, с. 88.

¹⁰ О религиозном состоянии инородцев Пермской и Оренбургской епархий, 1908, с. 391.

¹¹ Маркс К., Энгельс Ф., Соч., т. 21, с. 315—316.

¹² Токарев С. А., 1964, с. 42.

¹³ Хлобыстина М. Д., 1971; 1978.

¹⁴ Бородин Ю. М., 1976; рис. 43, 1, 2, 4.

¹⁵ Эдинг Д. Н., 1940, рис. 47.

¹⁶ Студзицкая С. В., 1969, с. 57.

¹⁷ Там же, рис. 2, 8.

¹⁸ Матющенко В. И., 1973б, с. 95.

¹⁹ Мошинская В. И., 1953в, с. 184.

²⁰ Мягков И. М., 1929, табл. II, 1, 9.

²¹ Чернецов В. Н., 1953а, табл. III, 1, 2, 6, 8; VI, 14; XIII, 3 и др.

²² Чернецов В. Н., 1957, табл. VII, 2; VIII, 2; Чиндина Л. А., 1977.

²³ Гондатти Н. Л., 1887; Харузин Н., 1899.

²⁴ Чернецов В. Н., 1965, с. 109.

²⁵ Там же, с. 110.

²⁶ Хомич Л. В., 1966, с. 117.

²⁷ Золотарев А., 1934, с. 26.

²⁸ Косарев М. Ф., 1974, рис. 6, 30.

²⁹ Матющенко В. И., 1973б, с. 65.

³⁰ Белявский Ф., 1833, с. 92.

³¹ Ядринцев Н. М., 1900, с. 102.

³² Штернберг Л. Я., 1936, с. 432.

³³ Гондатти Н. Л., 1888б, с. 11.

³⁴ Белявский Ф., 1833, с. 99—100.

³⁵ Штернберг Л. Я., 1936, с. 43.

³⁶ Гондатти Н. Л., 1888б, с. 65.

³⁷ См., например: Плетнева Л. М., 1977, рис. 28, 3—8; 31, 15, 19.

³⁸ Прокофьева Е. Д., 1952, с. 90.

³⁹ Штернберг Л. Я., 1936, с. 113—116.

⁴⁰ Чернецов В. Н., 1971, с. 91—92.

⁴¹ Эдинг Д. Н., 1940, с. 48—49.

⁴² Матющенко В. И., 1973а, с. 94.

- 43 Косарев М. Ф., 1974, с. 137.
 44 Эдинг Д. Н., 1940.
 45 Цинциус В. И., 1971, с. 188; Таксами Ч. М., 1971, с. 206—208.
 46 Золотарев А. М., 1939, с. 92.
 47 Эдинг Д. Н., 1940.
 48 Плетнева Л. М., 1977, рис. 31, 18.
 49 Пелих Г. И., 1972, с. 205.
 50 Анучин В. И., 1914.
 51 Анисимов А. Ф., 1959, с. 76.
 52 Прокофьева Е. Д., 1971, с. 87.
 53 Мошинская В. И., 1973.
 54 Попов А. А., 1949, с. 291.
 55 Третьяков П., 1869, с. 388.
 56 Попов А. А., 1958, с. 82.
 57 Каратанов И., 1886, с. 633.
 58 Кузнецов С. К., 1886, с. 468.
 59 Зуев В. Ф., 1947, с. 33.
 60 Любарских П., 1972, с. 75.
 61 Богораз В. Г., 1901, с. 48.
 62 Харузина В., 1912, с. 110.
 63 Слюнин Н. В., 1895; Богораз В. Г., 1901, с. 48.
 64 Харузина В., 1912, с. 129—130.
 65 Там же, с. 130.
 66 Бородкин Ю. М., 1976, рис. 43, 3.
 67 Эдинг Д. Н., 1940.
 68 Мягков И. М., 1929; Чернецов В. Н., 1953а, табл. XII, 4, 5; Ураев Р. А., 1956, табл. I—III; Косарев М. Ф., 1974, рис. 44.
 69 Чернецов В. Н., 1965; 1971.
 70 Окладников А. П., Мартынов А. И., 1972.
 71 Мягков И. М., 1929, табл. II, 6; Чернецов В. Н., 1953б, рис. 1.
 72 Глушков И. Н., 1900, с. 69.
 73 Материалы по фольклору хантов, 1978, с. 20.
 74 Старцев Г., 1928, с. 55.
 75 См., например: Шатилов М. Б., 1931, с. 80—81; Зуев В. Ф., 1947, с. 65—66; Бытовые рассказы энцев, 1962, с. 12.
 76 Чернецов В. Н., 1971, с. 80.
 77 Патканов С., 1891, с. 24.
 78 Прокофьева Е. Д., 1971; Иванов С. В., 1978.
 79 Прокофьева Е. Д., 1971, с. 21—22.
 80 См., например: Окладников А. П., 1950, с. 293—299.
 81 Чернецов В. Н., 1964, табл. XVII, 53; XXI, 1; Он же, 1971, рис. 45, 1.
 82 Кулемзин В. М., 1976, с. 36.
 83 Чернецов В. Н., 1971, с. 83.
 84 Матющенко В. И., 1973а, рис. 17, 3.
 85 Там же, рис. 17, 3.
 86 Чернецов В. Н., 1953б, рис. 1.
 87 Паллас П. С., 1788, с. 112; Дунин-Горкавич А. А., 1911, с. 47—50.
 88 Чернецов В. Н., 1971, с. 72.
 89 Студзицкая С. В., 1976, с. 84.
 90 Окладников А. П., 1950, с. 332—335.
 91 Паллас П. С., 1788, с. 112.
 92 Васильев В. Н., 1909.
 93 Окладников А. П., 1950, с. 333.
 94 Старцев Г., 1928, с. 73.
 95 Гондатти Н. Л., 1888а, с. 101—102.
 96 Там же, с. 102.
 97 Хомич Л. В., 1966, с. 137.
 98 Шатилов М. Б., 1931, с. 81.
 99 Соколова З. П., 1971, с. 224.
 100 Новикова Н. И., 1979, с. 148.
 101 Лукина Н. В., 1975, с. 27.
 102 Цинциус В. И., 1971, с. 188—189.
 103 Гондатти Н. Л., 1888б, с. 20, 26.
 104 Там же, с. 23.
 105 Зуев В. Ф., 1947, с. 35.
 106 Золотарев А., 1934, с. 27.
 107 Окладников А. П., 1950, с. 334—335.
 108 Там же, с. 335.
 109 Золотарев А. М., 1939, с. 175.
 110 Аверкиева Ю. П., 1974, с. 196.
 111 Васильев В. Н., 1909, с. 276.
 112 Историко-этнографический атлас Сибири, 1961, с. 238.
 113 Городков Б., 1913, с. 41.
 114 Этнографические замечания и наблюдения Кастрена, 1958, с. 310.
 115 Гондатти Н. Л., 1888б, с. 19; Бартнев В., 1895, с. 488.
 116 Зеленин Д. К., 1912.
 117 Чернецов В. Н., 1971, с. 86.
 118 Чернецов В. Н., 1971, рис. 49.
 119 Анучин В. И., 1914, с. 17—18.
 120 Глушков И. Н., 1900, с. 71—72.
 121 Завалишин И. И., 1865, ч. 2, с. 205—207.
 122 Попов А. А., 1949, с. 291.
 123 Михайловский В. М., 1892, с. 75—77.
 124 Старцев Г., 1928, с. 87.
 125 Прокофьева Е. Д., 1949а, с. 363.
 126 Семейная обрядность народов Сибири, 1980, с. 112.
 127 Чанчибаева Л., 1978, с. 94.
 128 Прокофьева Е. Д., 1952, с. 107.
 129 Чернецов В. Н., 1959.
 130 Народы Сибири, 1956, с. 804.
 131 Носилов К. Д., 1904, с. 26.
 132 Хангалов М., 1898, с. 62.
 133 Симченко Ю. Б., 1963, с. 287—288.
 134 Чанчибаева Л., 1978, с. 94.
 135 Штернберг Л. Я., 1936, с. 308.
 136 Каратанов И., 1886, с. 631.
 137 Семейная обрядность народов Сибири, 1980, с. 130.
 138 Там же, с. 157.
 139 Пелих Г. И., 1972, с. 236.
 140 Третьяков П., 1869, с. 392.
 141 Семейная обрядность народов Сибири, 1980, с. 159.
 142 Носилов К. Д., 1904, с. 14.
 143 Вербицкий В. И., 1893, с. 80.
 144 Чернецов В. Н., 1959.

- ¹⁴⁵ *Анучин В. И.*, 1914, с. 10—11.
- ¹⁴⁶ *Хлопина И. Д.*, 1978, с. 74.
- ¹⁴⁷ *Попов А. А.*, 1949, с. 103; *Анисимов А. Ф.*, 1959, с. 82—83.
- ¹⁴⁸ Мы будем далее для краткости называть эту душу «бессмертной», хотя предлагаемое определение не вполне верно, ибо названная душа могла погибнуть (вследствие неточного соблюдения принятых похоронных обрядов, злонамеренных действий темных сил и т. д.), что было чревато сокращением численности рода и даже полным его вымиранием.
- ¹⁴⁹ Поскольку душа-тень как бы символизирует телесную оболочку человека, сибирские этнографы в связи с анализом погребальной обрядности нередко трактовали ее как «живого» или «ожившего» покойника, уходящего в Нижний Мир. Хотя такая трактовка упрощает содержание души-тени, мы в дальнейшем, оперируя этнографическими источниками, будем иногда вынуждены употреблять слово «покойник» в значении «душа-тень».
- ¹⁵⁰ Семейная обрядность народов Сибири, 1980, с. 130, 161.
- ¹⁵¹ Бытовые рассказы энцев, 1962, с. *79.
- ¹⁵² *Шимкевич П. П.*, 1897, с. 1.
- ¹⁵³ Там же.
- ¹⁵⁴ Там же.
- ¹⁵⁵ *Золотарев А. М.*, 1939, с. 40.
- ¹⁵⁶ Семейная обрядность народов Сибири, 1980, с. 99.
- ¹⁵⁷ Там же, с. 162.
- ¹⁵⁸ *Гондатти Н. Л.*, 18886, с. 39.
- ¹⁵⁹ *Штернберг Л. Я.*, 1936, с. 28.
- ¹⁶⁰ *Иславин В.*, 1847, с. 137; *Хомич Л. В.*, 1966, с. 221.
- ¹⁶¹ *Алексеев Е. А.*, 1967, с. 112.
- ¹⁶² *Чернецов В. Н.*, 1959, с. 147.
- ¹⁶³ *Васильев В. Н.*, 1910, с. 75.
- ¹⁶⁴ *Поляков И. С.*, 1877, с. 64.
- ¹⁶⁵ *Вышеславцев А.*, 1886, с. 275.
- ¹⁶⁶ *Попов А. А.*, 1949, с. 319.
- ¹⁶⁷ *Старцев Г.*, 1928, с. 64; *Пелих Г. И.*, 1966, с. 104.
- ¹⁶⁸ *Городков Б.*, 1912, с. 199.
- ¹⁶⁹ *Третьяков П.*, 1969, с. 427—429.
- ¹⁷⁰ Бытовые рассказы энцев, 1962, с. 79.
- ¹⁷¹ *Штернберг Л. Я.*, 1936, с. 238.
- ¹⁷² Бытовые рассказы энцев, с. 79.
- ¹⁷³ *Штернберг Л. Я.*, 1936, с. 328.
- ¹⁷⁴ *Прокофьева Е. Д.*, 1952, с. 100.
- ¹⁷⁵ *Анисимов А. Ф.*, 1959, с. 76.
- ¹⁷⁶ Там же, с. 76.
- ¹⁷⁷ Говоря о «погребальных сосудах», мы имеем в виду не всякий горшок, поставленный в могилу; многие из них, возможно большинство, относятся к бытовой посуде, потому что душа при путешествии в потусторонний мир нуждалась в элементарных бытовых удобствах (должна была пить, есть, иметь тару для хранения дорожного продукта и т. д.). Речь идет прежде всего о ритуальной керамике энеолита и бронзового века с богатой и своеобразной солярно-астральной орнаментацией и подчеркнутой зональностью орнаментальной схемы. Ярким образцом такой керамики являются абашевские (баланбашские), андроновские (федоровские) и еловские ритуальные сосуды.
- ¹⁷⁸ *Анучин В. И.*, 1914, с. 31.
- ¹⁷⁹ Историко-этнографический атлас Сибири, 1961.
- ¹⁸⁰ *Прокофьева Е. Д.*, 1949а, с. 351—352.
- ¹⁸¹ *Анучин В. И.*, 1914, с. 98, рис. 90—92.
- ¹⁸² *Третьяков П.*, 1869, с. 437.
- ¹⁸³ *Смирнов И. Н.*, 1891, с. 246.
- ¹⁸⁴ *Косарев М. Ф.*, 1966.
- ¹⁸⁵ *Косарев М. Ф.*, 1964а.
- ¹⁸⁶ *Анучин В. И.*, 1914, рис. 74; *Хлопина И. Д.*, 1978, с. 84.
- ¹⁸⁷ *Хлобыстин Л. П.*, 1976, рис. 17.
- ¹⁸⁸ *Пелих Г. И.*, 1966, с. 103.
- ¹⁸⁹ *Прыткова Н. Ф.*, 1949а, с. 49.
- ¹⁹⁰ *Гондатти Н. Л.*, 18886, с. 19.
- ¹⁹¹ *Алексеев Е. А.*, 1967, с. 202.
- ¹⁹² *Прокофьев Е. Д.*, 1952, с. 103.
- ¹⁹³ *Шатилов М. Б.*, 1931, с. 101.
- ¹⁹⁴ *Прокофьева Е. Д.*, 1961а, с. 66.
- ¹⁹⁵ *Прокофьева Е. Д.*, 1952, с. 103.
- ¹⁹⁶ *Алексеев Е. А.*, 1967, с. 175.
- ¹⁹⁷ *Прокофьева Е. Д.*, 1952, с. 107; *Василевич Г. М.*, 1971, с. 59.
- ¹⁹⁸ *Симченко Ю. Б.*, 1965, табл. 108, 2.
- ¹⁹⁹ *Пелих Г. И.*, 1964, с. 136.
- ²⁰⁰ *Чернецов В. Н.*, 1935, с. 20—21.
- ²⁰¹ *Анучин В. И.*, 1914, с. 13—14.
- ²⁰² *Хлопина И. Д.*, 1978, с. 70—71.
- ²⁰³ См., например: *Косарев М. Ф.*, 1964а; 1966.
- ²⁰⁴ См., например: *Рыбаков Б. А.*, 1965; *Кашина Т. И.*, 1978.
- ²⁰⁵ *Бартенев В.*, 1896, с. 85; *Старцев Г.*, 1928, с. 123.
- ²⁰⁶ *Пелих Г. И.*, 1972, с. 80.
- ²⁰⁷ Бытовые рассказы энцев, 1962, с. 74.
- ²⁰⁸ *Львов В.*, 1908, с. 26.
- ²⁰⁹ *Алексеев Е. А.*, 1967, с. 202.
- ²¹⁰ *Гондатти Н. Л.*, 18886, с. 53.
- ²¹¹ *Алексеев Е. А.*, 1967, с. 170.
- ²¹² *Кочнев Д.*, 1899, с. 153.
- ²¹³ *Хомич Л. В.*, 1972, с. 211.
- ²¹⁴ Самоеды мезенские, 1958, с. 62.
- ²¹⁵ *Третьяков П.*, 1869, с. 334.
- ²¹⁶ *Смирнов И. Н.*, 1890, с. 226—228.
- ²¹⁷ *Анучин В. И.*, 1914.

- ²¹⁸ Прокофьева Е. Д., 1949а, с. 347—348.
²¹⁹ Анохин А. В., 1924.
²²⁰ Анохин А. В., 1924; Прокофьева Е. Д., 1961б.
²²¹ Василевич Г. М., 1971, с. 56.
²²² Анисимов А. Ф., 1959, с. 84.
²²³ Харузин Н., 1905, с. 433.
²²⁴ Клеменц Д. А., Хангалов М. Н., 1910, с. 152.
²²⁵ Матющенко В. И., 1973а, с. 35.
²²⁶ Там же, с. 39.
²²⁷ Там же, с. 41.
²²⁸ Генинг В. Ф., Ещенко Н. К., 1973.
²²⁹ Матющенко В. И., 1973в, с. 30.
²³⁰ Там же, с. 30.
²³¹ Матющенко В. И., 1974, с. 110; Чиндина Л. А., 1976, с. 169.
²³² Гондатти Н. Л., 1888а, с. 101—102.
²³³ Дунин-Горкавич А., 1911, с. 27.
²³⁴ Харузин Н., 1899.
²³⁵ Викторова В. Д., 1968, с. 254; Чиндина Л. А., 1976, с. 169.
²³⁶ Майнагашев С., 1915, с. 283—284.
²³⁷ Пелих Г. И., 1972, с. 281.
²³⁸ См., например: Смирнов И. Н., 1891, с. 235—237.
²³⁹ Окладников А. П., 1950, с. 345.
²⁴⁰ Харузина В. Н., 1906, с. 73.
²⁴¹ Попов А. А., 1949, с. 274.
²⁴² Штернберг Л. Я., 1936, с. 49.
²⁴³ Семейная обрядность народов Сибири, 1980, с. 91—95.
²⁴⁴ Пелих Г. И., 1972, с. 72—73.
²⁴⁵ Георги И. И., 1799, с. 20.
²⁴⁶ Кулаков П. Е., 1898, с. 40.
²⁴⁷ Там же, с. 40.
²⁴⁸ Матющенко В. И., 1974, с. 110.
²⁴⁹ Чиндина Л. А., 1976, с. 169.
²⁵⁰ Патканов С., 1891; Ивайлов С. В., 1978, с. 138—142.
²⁵¹ Куприянова З. Н., 1965, с. 127.
²⁵² Рычков К. М., 1917, с. 38.
²⁵³ Харузина В. Н., 1906, с. 73.
²⁵⁴ Дунин-Горкавич А., 1911; с. 27; Материалы по фольклору хантов, 1978, с. 172.
²⁵⁵ Овчинников М., 1905, с. 173—174.
²⁵⁶ Григоровский Н. П., 1884, с. 28—29.
²⁵⁷ Галданова Г. Р., 1980, с. 94.
²⁵⁸ Григоровский Н. П., 1884, с. 35.
²⁵⁹ Рычков К. М., 1917, с. 37.
²⁶⁰ Попов А. А., 1949, с. 274.
²⁶¹ Цинциус В. И., 1971, с. 186—187.
²⁶² Григоровский Н. П., 1884, с. 28—29.
²⁶³ Чернецов В. Н., 1935, с. 140.
²⁶⁴ Симченко Ю. Б., 1976, с. 193.
²⁶⁵ Симченко Ю. Б., 1963.
²⁶⁶ Материалы по фольклору хантов, 1978, с. 185.
²⁶⁷ Штернберг Л., 1904, с. 72—73.
²⁶⁸ Куприянова З. Н., 1965, с. 143.
²⁶⁹ Хангалов М., 1898, с. 57; Галданова Г. Р., 1980, с. 94.
²⁷⁰ Богораз В. Г., 1901, с. 49—50.
²⁷¹ Харузина В. Н., 1906, с. 80.
²⁷² Штернберг Л., 1893, с. 6.
²⁷³ Харузина В. Н., 1906, с. 80.
²⁷⁴ Бытовые рассказы энцев, 1962, с. 187.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Последние десятилетия западносибирские археологи работают преимущественно на источниковедческом уровне, в связи с чем все явственнее обозначается отставание исторической интерпретации археологического материала от темпов его накопления. Назрела необходимость создания обобщающих монографических работ по социальной, экономической и этнической истории древнего западносибирского населения, по культурам и верованиям, древней идеологии в целом, первобытному искусству, методологическим проблемам археологии, которые бы подвели итог многолетним работам большого коллектива исследователей и дали бы новые направления научным поискам. Некоторые из перечисленных проблем в той или иной мере затронуты в настоящей работе.

В книге содержатся положения, по которым можно и нужно спорить. На данном этапе изученности древней истории Западной Сибири эти споры, наверное, не приведут к открытию серии абсолютных истин, а скорее породят новые проблемы, по которым тоже надо будет спорить. Настоящая книга ставит две цели: 1) показать на уровне имеющегося материала возможности экологического подхода в изучении древней истории Западной Сибири; 2) вовлечь специалистов в творческое обсуждение некоторых теоретических и методологических проблем западносибирской и отчасти урало-сибирской археологии.

ЛИТЕРАТУРА

- Маркс К. Вынужденная эмиграция. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 8.
- Маркс К. Капитал, т. 1. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23.
- Маркс К. Экономические рукописи 1857—1859 гг. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 46, ч. 1, 2.
- Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. — Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956.
- Маркс К. Конспект книги Льюиса Г. Моргана «Древнее общество». — Архив Маркса, Энгельса. Л., 1941, т. IX.
- Маркс К., Энгельс Ф. Святое семейство, или критика критической критики. Против Бруно Бауэра и компании. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 2.
- Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 3.
- Энгельс Ф. Анти-Дюринг. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20.
- Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20.
- Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21.
- Энгельс Ф., Энгельс — Марксу. 115. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 28.
- Абрамов Н. А. 1886. Описание Березовского края. — Зап. ИРГО, т. XXI.
- Абрамович Д. И., Крылов Г. В., Николаев В. А., Терновский Д. В. 1963. Западно-Сибирская изменчивость. М.
- Аверкиева Ю. П., 1974. Индейцы Северной Америки. М.
- Агеева Е. И., Пацевич Г. И., 1956. Отчет о работах Южно-Казахстанской археологической экспедиции 1953 г. — ТИИАЭ АН Каз.ССР. Алма-Ата, т. 1.
- Акишев К. А., 1972. К проблеме происхождения номадизма в аридной зоне древнего Казахстана. — В кн.: Поиски и раскопки в Казахстане. Алма-Ата.
- Алексеев М. П. 1941. Сибирь в известиях западносибирских путешественников и писателей. Иркутск.
- Алексеев Е. А., 1967. Кеты. Л.
- Алексеев Е. А., 1972. К вопросу о роли фактора родства в социальной жизни кетов. — В кн.: Охотники, собиратели, рыболовы. Л.
- Анисимов А. Ф., 1936. Родовое общество эвенков (тунгусов). Л.
- Анисимов А. Ф., 1952. Шаманский чум у эвенков и проблема происхождения шаманского обряда. — ТИЭ, т. 18.
- Анисимов А. Ф., 1959. Космологические представления народов Севера. М.; Л.
- Анисимов А. Ф., 1966. Духовная жизнь первобытного общества. М.; Л.
- Анисимов А. Ф., 1969. Общее и особенное в развитии общества и религии народов Сибири. Л.
- Анохин А. В., 1924. Материалы по шаманству алтайцев. — Сб. МАЭ, т. IV.
- Анучин В. И., 1914. Очерк шаманства у енисейских остяков. — Сб. МАЭ, т. II, вып. 2.
- Анучин Д. Н., 1893. Древний остяцкий серебряный идол, изображающий слона. — Археологические известия и заметки, издаваемые Московским археологическим обществом, т. 1.
- Артемчук Н. Л., 1972. Сравнительная оценка патологического генофонда изолированных популяций. — В кн.: Второй съезд Всесоюзного общества генетиков и селекционеров: Тезисы работ. IV. М.
- Архипов С. А., Вдовин В. В., Мизеров Б. В., Николаев В. А., 1970. Западно-Сибирская равнина. М.
- Асалханов И. А., 1975. Сельское хозяйство Сибири конца XIX—начала XX в. Новосибирск.
- Афанасьев С. Л., 1976. Возможные причины пульсации и цикличности геологических процессов. — В кн.: Ритмика природных явлений. Л.
- Бадер О. Н., 1964. Древнейшие металлурги Приуралья. М.

- Бадер О. Н.*, 1967. Погребения в верхнем палеолите и могила на стоянке Сунгирь. — СА, № 3.
- Бадер О. Н.*, 1970. Бассейн Оки в эпоху бронзы. М.
- Бадер О. Н.*, 1974. Проблема смещения ландшафтных зон в голоцене и археология. — В кн.: Первобытный человек и природная среда. Вильнюс.
- Бартенев В.*, 1895. Погребальные обычаи обдорских остяков. — ЖС, вып. III/IV.
- Бартенев В.*, 1896. На крайнем северо-западе Сибири. Очерки Обдорского края. СПб.
- Бахрушин С. В.*, 1935. Остяцкие и вогульские княжества в XVI—XVII веках. — Изв. науч.-исслед. ассоциации Ин-та народов Севера, вып. 3. Л.
- Белявский Ф.*, 1833. Поездка к Ледовитому морю. М.
- Бережков Б.*, 1917. Соленые озера Кулундинской степи. — Землеведение, кн. IV.
- Берс Е. М.*, 1960. Памятники и керамика гамаюнской культуры. — В кн.: Из истории Урала. Свердловск.
- Бибиков В. Н.*, 1971. Плотность населения и величина охотничьих угодий в палеолите Крыма. — СА, № 4.
- Богораз В. Г.*, 1899. Русское население на Колыме. — Землеведение, кн. I/II.
- Богораз В. Г.*, 1901. Очерк материального быта оленных чукчей. — Сб. МАЭ, т. II.
- Богораз В.*, 1908. Религиозные идеи первобытного человека. — Землеведение, кн. I.
- Борисов А. А.*, 1907. У самоедов. СПб.
- Бородкин Ю. М.*, 1976. Произведения изобразительного искусства из неолитических погребений Васьковского могильника. — Изв. лаборатории археологических исследований Кемеровского гос. ун-та, вып. 7.
- Буров Г. М.*, 1974. Прочная оседлость и закольное рыболовство у неолитических племен Северо-Восточной Европы. — В кн.: Первобытный человек и природная среда. Вильнюс.
- Бхатнагар П. Л.*, 1958. Внутреннее строение Солнца и изменения климата. — В кн.: Изменение климата. М.
- Бытовые рассказы энцев. 1962. — ТИЭ, т. 75.
- Вайнштейн С. И.*, 1971. Проблема происхождения оленеводства в Евразии. — СЭ, № 5.
- Вайнштейн С. И.*, 1972. Историческая этнография тувинцев. М.
- Вайнштейн С. И., Семенов Ю. И.*, 1971. Рец. на кн.: Аверкиева Ю. П. Индейское кочевое общество XVIII—XIX вв. М., 1970. — СЭ, № 6.
- Вайнштейн С. И., Семенов Ю. И.*, 1977. Рец. на кн.: Марков Г. И. Кочевники Азии. Структура хозяйства и общественной организации. М., 1976. — СЭ, № 5.
- Варпаховский Н. А.*, 1898. Рыболовство в бассейне р. Оби. СПб.
- Василевич Г. М.*, 1971. Дошаманские и шаманские верования эвенков. — СЭ, № 5.
- Василевич Г. М.*, 1972. Некоторые вопросы племени и рода у эвенков. — В кн.: Охотники, собиратели, рыболовы. Л.
- Васильев В. И.*, 1962. Проблема происхождения орудий заповного рыболовства обских ургов. — ТИЭ, т. 78.
- Васильев В. И.*, 1963. Лесные энцы. — ТИЭ, т. 84.
- Васильев В. И.*, 1976. Проблема формирования фратриально-родовой организации сибирских ненцев в этногенетическом плане. — ИИС, Томск, вып. 21.
- Васильев В. Н.*, 1909. Изображения долганско-якутских духов как атрибуты шаманства. — ЖС, вып. II/III.
- Васильев В. Н.*, 1910. Краткий очерк быта карагасов. — ЭО, № 1/2.
- Вдовин И. С.*, 1971. Жертвенные места коряков и их историко-этнографическое значение. — Сб. МАЭ, т. XXVII.
- Вербицкий В. И.*, 1893. Алтайские инородцы. Сборник этнографических статей и исследований алтайского миссионера прот. В. И. Вербицкого. М.
- Викторова В. Д.*, 1968. Памятники лесного Зауралья в X—XIII вв. н. э. — Учен. зап. ПГУ, № 191.
- Викторов В. П., Елькина М. В., Федорова Н. В., Чемякин Ю. П.*, 1974. Раскопки на Барсовой Горе близ Сургута. — АО 1973 г. М.
- Войков А. И.*, 1887. Засуха 1885 г. — Зап. ИРГО, т. XVII, № 2.
- Волков И. В.*, 1905. Дер. Веретькина. — ЖС, вып. I/II.
- Воронов А. Г.*, 1900. Юридические обычаи Западной Сибири и самоедов Томской губ. — Зап. ИРГО по отд. этнографии, т. XVIII.
- Воскресенский С. С., Логинова И. Э., Махова Ю. В.*, 1976. Природа Амуро-Зейской равнины в неогене и плейстоцене. — Изв. ВГО, № 4.
- Врангель Ф.*, 1841. Путешествие по северным берегам Сибири и Ледовитому морю, совершенное в 1820, 1821, 1822, 1823, и 1824 гг., ч. I, II. СПб.

- Вышеславцев А.*, 1886. Похоронные и поминальные обычаи некрещенных чуваш Симбирской губ. во второй половине XVIII в. — Изв. ИРГО, т. XXI.
- Галданова Г. Р.*, 1980. Культ огня у монголоязычных племен и отражение его в ламаизме. — СЭ, № 3.
- Гарункитис А.*, 1975. Цикличность седиментационных процессов в озерах Литвы. — В кн.: История озер в голоцене. IV Всесоюзный симпозиум по истории озер: Тезисы докладов. Л., т. 3.
- Гейнс А. К.*, 1897. Собрание литературных трудов, т. 1. СПб.
- Гейнс А. К.*, 1898. Собрание литературных трудов, т. 2. СПб.
- Генинг В. Ф.*, 1970. Этнический процесс в первобытности. Свердловск.
- Генинг В. Ф., Ещенко Н. Е.*, 1973. Могильник эпохи поздней бронзы Черноозерье I. — ИИС, Томск, вып. 5.
- Георги И. И.* Описание всех обитающих в Российском государстве народов, также их житейских обрядов, верований, обыкновений, жилищ и прочих достопамятностей. СПб., 1795, ч. I; 1796, ч. II; 1799, ч. III.
- Герасимов И. П.*, 1977. Антропоген и его главная проблема. — Изв. АН СССР. Сер. геогр., № 4.
- Герасимов И. П.*, 1978. Методологические проблемы экологизации современной науки. — Вопросы философии, № 11.
- Глушков И. Н.*, 1900. Чердынские вогулы. Этнографический очерк. — ЭО, № 2.
- Головачев П. М.*, 1902. Взаимное влияние русского и инородческого населения Сибири. — Землеведение, кн. II/III.
- Головачев П. М.*, 1905. Сибирь. Природа. Люди. Жизнь. М.
- Гондатти Н. Л.*, 1887. Культ медведя у западносибирских инородцев. — Тр. этнографического отделения Об-ва любителей естествознания, археологии и этнографии, т. VIII.
- Гондатти Н. Л.*, 1888а. Предварительный отчет о поездке в Северо-Западную Сибирь. М.
- Гондатти Н. Л.*, 1888б. Следы язычества у инородцев Северо-Западной Сибири. М.
- Городков Б.*, 1910. Очерк растительности низовьев Конды. — ЕТГМ, XX.
- Городков Б.*, 1912. Река Конда. — Землеведение, кн. III/IV.
- Городков Б.*, 1913. Путевой дневник. — ЕТГМ, XXI.
- Горшенин К. П.*, 1955. Почвы Южной Сибири. М.
- Граков Б. Н.*, 1968. Легенда о скифском царе Арианте. — В кн.: История, археология и этнография Средней Азии. М.
- Григоровский Н. П.*, 1882. Очерки Нарымского края. — Зап. ЗСОИРГО, Омск, кн. IV.
- Григоровский Н. П.*, 1884. Описание Васюганской тундры. — Зап. ЗСОИРГО, Омск, кн. VI.
- Григорьев Г. П.*, 1972. Восстановление общественного строя палеолитических охотников и собирателей. — В кн.: Охотники, собиратели, рыболовы. Л.
- Григорьева Е. Н.*, 1956. О повторяемости высоких весенних разливов на реках Туре, Тоболе, Иртыше с 1891 по 1950 г. — Изв. АН СССР. Сер. геогр., № 1.
- Гришин Ю. С.*, 1960. Производство в тагарскую эпоху. — МИА, № 90.
- Гросвальд М. Г., Котляков В. М.*, 1978. Предстоящие изменения климата и судьба ледников. — Изв. АН СССР. Сер. геогр., № 6.
- Грязнов М. П.*, 1956. Северный Казахстан в эпоху ранних кочевников. — КСИИМК, вып. 64.
- Грязнов М. П.*, 1957. Памятники карасукского этапа в Центральном Казахстане и Южной Сибири в эпоху бронзы. — КСИЭ, вып. XXVI.
- Гумилев Л. Н.*, 1967. Роль климатических колебаний в истории народов степной Евразии. — История СССР, № 1.
- Гундризер А. Н.*, 1966. Рыбы из поселения Еловка на Оби. — Учен. зап. ТГУ, № 60.
- Дэенс-Литовский А. И.*, 1957. Палеогеографическая стратификация донных отложений озер и торфяных болот СССР. — Тр. лаборатории озероведения АН СССР, т. V.
- Дмитриев П. А.*, 1951. Культура населения Среднего Зауралья в эпоху бронзы. — МИА, № 21.
- Дмитриев-Садовников Г.*, 1916. На Вахе. — ЕТГМ, XXVII.
- Добросмыслов А. И.*, 1895. Скотоводство в Тургайской области. Оренбург.
- Догуревич Т. А.*, 1847. Распространение христианства в Сибири в связи с описанием быта, нравов, обычаев и религиозных верований инородцев этого края. СПб.
- Долгих Б. О.*, 1960. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII в. — ТИЭ, т. 55.
- Долгих Б. О.*, 1963. Происхождение долган. — ТИЭ, т. 84.
- Долгих Б. О.*, 1967. Образование современных народов севера СССР. — СЭ, № 3.
- Долгушин И. Ю.*, 1968. Влияние колебаний климата на природу и условия хозяйственного освоения Среднего Приобья. — Изв. АН СССР. Сер. геогр., № 5.

- Дрё Ф., 1976. Экология. М.
- Дунин-Горкавич А. А., 1904. Тобольский Север. СПб., ч. 1.
- Дунин-Горкавич А. А., 1911. Тобольский Север. Тобольск, ч. III.
- Елькина М. В., 1976. Раскопки поселений раннего железа на Барсовой Горе близ Сургута. — АО 1975 г.
- Елькина М. В., 1977. Поселения раннего железного века в Сургутском Приобье. — В кн.: Археологические исследования на Урале и в Западной Сибири. Свердловск.
- Елькина М. В., Федорова Н. В., Чемякин Ю. П., 1975. Работы Сургутского отряда. — АО 1974 г. М.
- Ефимова Л. И., Малолетко А. М., 1980. Применение споро-пыльцевых анализов в археологии. — В кн.: Новые методы в археологии. Томск.
- Ефремов С. П., 1967. О залесении осушенных болот Томской обл. — В кн.: Взаимоотношения леса и болота. М.
- Жуковская Н. Л., 1979. Пища кочевников Центральной Азии. — СЭ, № 5.
- Завалишин И. И., 1865. Описание Западной Сибири. М., ч. 1—3.
- Зайберт В. Ф., Плешаков А. А., 1975. Результаты исследования памятников энеолита и ранней бронзы на р. Чаглинке. — СА, № 1.
- Зданович Г. Б., 1973. Керамика эпохи бронзы Северо-Казахстанской обл. — ВАУ, Свердловск, вып. 12.
- Зданович Г. Б., 1975. Периодизация и хронология памятников эпохи бронзы Петропавловского Приишимья. — Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М.
- Зданович Г. Б., Зданович С. Я., Зайберт В. Ф., 1971. Работы в Северном Казахстане. — АО 1970 г. М.
- Зданович С. Я., 1979. Саргаринская культура — заключительный этап бронзового века в Северном Казахстане. — Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М.
- Зеленин Д. К., 1912. К вопросу о русалках. СПб.
- Земцов А. А., 1976. Геоморфология Западно-Сибирской равнины (северная и центральная части). Томск.
- Зензинов В. В., 1914. В гостях у юкагиров. — ЭО, № 1/2.
- Золотарев А. М., 1934. Пережитки тотемизма у народов Сибири. Л.
- Золотарев А. М., 1939. Родовой строй и религия ульчей. Хабаровск.
- Зубаков В. А., 1972. Палеогеография Западно-Сибирской низменности в плейстоцене и поздне-м плейстоцене. Л.
- Зуев В. Ф., 1947. Описание живущих Сибирской губернии в Березовском уезде иноверческих народов остяков и самоедов. — ТИЭ, т. 5.
- Иванов С. В., 1955. К вопросу о значении изображений на старинных предметах культа у народов Саяно-Алтайского нагорья. — Сб. МАЭ, т. XVI.
- Иванов С. В., 1978. Элементы защитного доспеха в шаманской одежде народов Западной и Южной Сибири. — В кн.: Этнография Алтая и Западной Сибири. Новосибирск.
- Извлечения из дневников членов Красноуфимского отряда. — ЕТГМ, 1895—1896, V.
- Инфантаев П., 1909. Этнографические рассказы. СПб.
- Иоганзен Б. Г., 1963. Природа Томской области. Томск.
- Иохельсон В., 1895а. Заметки о населении Якутской области в историко-этнографическом отношении. — ЖС, вып. II.
- Иохельсон В., 1895б. Заметки о населении Якутской области. — Землеведение, кн. II/III.
- Иохельсон В., 1900. Бродячие роды тундры между р. Индигиркой и Колымой, их этнический состав, наречие, быт, брачные и иные обычаи и взаимодействие различных племенных элементов. — ЖС, вып. I/II.
- Иславин В., 1847. Самоеды в домашнем и общественном быту. СПб.
- Историко-этнографический атлас Сибири. 1961. М.; Л.
- Итина М. А., 1977. История степных племен Южного Приаралья (II — начало I тысячелетия до н. э.). М.
- Калузина Л. В., Малаховский Д. Б., Макеев В. М., Сафронова И. Н., 1979. Некоторые результаты палинологических исследований на архипелаге Северная Земля в связи с вопросами о переносе пыльцы и спор в высокоширотной Арктике. — Изв. ВГО, № 4.
- Камшилов М. М., 1969. Человек и живая природа. — Природа, № 3.
- Камшилов М. М., 1978. Организация биосферы, возрастание воздействия человека на ее функционирование и развитие и проблема ноогенеза. — В кн.: Проблема взаимосвязи организации и эволюции в биологии. М.
- Кантор К. М., 1977. Экология и прогресс. — Вопросы философии, № 8.

- Каратанов И.*, 1886. Черты внешнего быта качинских татар. — Изв. ИРГО, т. XXI, вып. VI.
- Кастрен М. А.*, 1860. Путешествие по Лапландии, Северной России и Сибири. — Магазины земледелия и путешествий, т. VI, ч. II.
- Кашина Т. И.*, 1978. Семантика орнаментации неолитической керамики. — В кн.: У истоков творчества (первобытное искусство). Новосибирск.
- Кац Н. Я.*, 1952. К истории позднечетвертичной флоры и климата севера СССР. — Материалы по четвертичному периоду. М., 3.
- К вопросу об обьякучивании русских. 1908. — ЖС, вып. II.
- Кинжалов Р. В.*, 1959. Серебряная пластина с изображением парфянского царя. — СА, № 2.
- Кириков С. В.*, 1955. Исторические изменения животного мира нашей страны в XIII—XIV вв. — Изв. АН СССР. Сер. геогр., № 1.
- Кириков С. В.*, 1966. Промысловые животные, природная среда и человек. М.
- Кирюшин Ю. Ф.*, 1973. О культурной принадлежности памятников эпохи бронзы в Нарымском Приобье. — ИИС, Томск, вып. 7.
- Кирюшин Ю. Ф.*, 1976. Бронзовый век Васюганья. — Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М.
- Кирюшин Ю. Ф., Малолетко А. М.*, 1976. Производство орудий труда и типы хозяйства в Васюганье в эпоху бронзы. — ИИС, Томск, вып. 21.
- Киселев С. В.*, 1949. Древняя история Южной Сибири. — МИА, № 9.
- Клеменц Д. А., Хангалов М. Н.*, 1910. Общественные охоты у северных бурят. — Материалы по этнографии России, СПб., т. 1.
- Коровин В. И., Галкин Г. А.*, 1979. Генетическая структура наводнений и паводков на реках Северо-Западного Кавказа за 275-летний период. — Изв. АН СССР. Сер. геогр., № 3.
- Косарев М. Ф.*, 1964а. К вопросу об антропоморфных и соляных рисунках на самусьской керамике. — СА, № 1.
- Косарев М. Ф.*, 1964б. Бронзовый век лесного Обь-Иртышья. — СА, № 3.
- Косарев М. Ф.*, 1966. Орнаменты на днищах сосудов бронзового века в низовьях р. Томи. — КСИА, вып. 106.
- Косарев М. Ф.*, 1973. Древние памятники в верховьях р. Кети. — В кн.: Проблемы археологии Урала и Сибири. М.
- Косарев М. Ф.* 1974. Древние культуры Томско-Нарымского Приобья. М.
- Косарев М. Ф.*, 1976. Географическая среда и неравномерность социально-экономического развития разных районов Западной Сибири в первобытную эпоху. — В кн.: Вопросы археологии Приобья. Тюмень.
- Косарев М. Ф.*, 1981. Бронзовый век Западной Сибири. М.
- Косарев М. Ф., Потемкина Т. М.*, 1975. Поселение Ипкуль 1. — СА, № 4.
- Котляков В. М.*, 1980. Будущее природной среды и глобальные проблемы гляциологии. — Изв. АН СССР. Сер. геогр., № 1.
- Кочнев Д.*, 1899. Очерки юридического быта якутов. — Изв. О-ва археологии, истории и этнографии при Казанском ун-те, вып. 5/6, т. XV.
- Кравцов Г. В.*, 1877. Отчет о поездке в Киргизские степи Европейской и Азиатской России в 1872, 1873 и 1874 гг. СПб.
- Крашенинников И. М.*, 1906. Материалы по лимнологии Челябинского уезда. — Земледелие, кн. I/II.
- Крупник И. И.*, 1976. Становление крупнотабуного оленеводства у тундровых ненцев. — СЭ, № 2.
- Крупник И. И.*, 1977. Факторы устойчивости и развития традиционного хозяйства народов Севера. — Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М.
- Крупнов Е. И.*, 1969. К истории Моздокской степи и Западного Прикаспия. — В кн.: Материалы по археологии и древней истории Северной Осетии. Орджоникидзе.
- Крутковский В.*, 1898. Очерки Туруханского края. — ЕТГМ, IX.
- Крылов Г. В.*, 1961. Леса Западной Сибири. М.
- Кузнецов К. А.*, 1951. Почвы Томской области. — Вопросы географии Сибири. Томск, II.
- Кузнецов Н. И.*, 1887. Природа и жители восточного склона Урала. — Изв. ИРГО, т. XXIII, вып. V.
- Кузнецов С. К.*, 1886. Остатки язычества у черемис. — Изв. ИРГО, т. XXI, вып. VI.
- Кулаков П. Е.*, 1988. Олень, хозяйство и быт бурят Еландинского и Кутульского ведомств Верхотленского округа Иркутской области. — Зап. ИРГО по отделению статистики, т. VIII, вып. 1.
- Кулемзин В. М.*, 1976. Шаманство васюганско-ваховских хантов. — В кн.: Из истории шаманства. Томск.

- Куприянова З. Н.*, 1965. Эпические песни ненцев. М.
- Кушелевский Ю. И.*, 1864. Путевые заметки, веденные во время экспедиций 1862, 1863 и 1864 гг., предпринятых для открытия сухопутного и водяного сообщения на Севере Сибири от реки Енисея через Уральский хребет до реки Печоры. Тобольск.
- Лебедев В. В.*, 1978. Роль оленеводства в хозяйственном комплексе тазовских селькупов (к проблеме становления производящего оленеводческого хозяйства). — В кн.: Проблемы этнографии и этнической антропологии. М.
- Леваневский М. А.*, 1894. Очерки Киргизских степей к югу от Арало-Иртышского водораздела в Акмолинской области. — Землеведение, 1894, кн. IV.
- Левковская Г. Н.*, 1976. Ритмичность изменчивости климата и растительности Арктики и Субарктики в голоцене. — В кн.: Ритмика природных явлений. Л.
- Левшин А.*, 1832. Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и степей. СПб., ч. 1—3.
- Лепехин И.*, 1805. Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского государства. — Полное собрание путешествий по России, издаваемое имп. Академией наук, СПб., т. 5.
- Лисицына Г. Н.*, 1972. История орошаемого земледелия в Южной Туркмении. — Успехи среднеазиатской археологии. Л., вып. 1.
- Лопарев Х.*, 1894. О русском языке в Обдорском крае. — ЖС, вып. I.
- Лукина Н. В.*, 1975. Народные средства по сохранению здоровья и жизни у восточных хантов. — В кн.: Этнографические аспекты изучения народной медицины: Тезисы Всесоюзной научной конференции 10—12 марта 1975 г. Л.
- Львов В.*, 1908. Самоеды. М.
- Любарских П.*, 1792. Краткое известие о Пермских Чердынских Вогуличах, собранное Свяжского монастыря Архимандритом Платоном фамилии Любарских. — Российский Магазин, СПб., кн. 1.
- Майнагашев С.*, 1915. Загробная жизнь по представлениям турецких племен Минусинского края. — ЖС, вып. III.
- Макеев В. М., Бердовская Г. Н.*, 1975. Ритмичность осадконакопления в озерах арктической зоны. — В кн.: Из истории озер в голоцене. IV. Всесоюзный симпозиум по истории озер: Тезисы докл. Л., т. 3.
- Максимов Е. В.*, 1966. Ледники массива Чоктал в Кунгей-Алатау и их внутривековая и многовековая изменчивость. — Учен. зап. ЛПИ им. А. И. Герцена, т. 289.
- Максимов Е. В.* 1977. Ритмичность природных явлений и ее смысл. — Изв. ВГО, № 5.
- Максимова А. Г.*, 1962. Могильники эпохи бронзы в урочище Тау-тары. — ТИИАЭ АН КазССР, т. 14.
- Макшеев А. И.*, 1896. Путешествие по киргизским степям и Туркестанскому краю. СПб.
- Малик Л. К.*, 1976. О сохранении качества поверхностных вод Западной Сибири. — Изв. АН СССР. Сер. геогр., № 1.
- Малов С.*, 1909. Несколько слов о шаманстве у турецкого населения Кузнецкого уезда Томской губернии. — ЖС, вып. II/III.
- Маргулан А. Х.*, 1979. Бегазы-дандыбайская культура Центрального Казахстана. Алма-Ата.
- Маретин Ю. В.*, 1972. Кочевые кубу Восточной Суматры и их место на ступенях эволюции общества. — В кн.: Охотники, собиратели, рыболовы. Л.
- Маретина С. А.*, 1979. Проблема матрилинейности в зарубежной этнографии. — В кн.: Актуальные проблемы этнографии и современная буржуазная наука, Л.
- Марков Г. Е.*, 1973. Некоторые проблемы возникновения и ранних этапов кочевничества в Азии. — СЭ, № 1.
- Марков Г. Е.*, 1976. Кочевники Азии. Структура хозяйства и общественной организации. М.
- Мартиньер Р. М. де.*, 1912. Путешествие в северные страны. — Зап. Московского археологического ин-та, т. XV.
- Массон В. М.*, 1976. Экономика и социальный строй древних обществ. Л.
- Материалы по фольклору хантов. 1978. Томск.
- Матюшин Г. Н.*, 1971. Памятники эпохи раннего металла Южного Зауралья. — КСИА, вып. 127.
- Матющенко В. И., 1960. Неолит и бронзовый век в бассейне р. Томи. — Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Томск.
- Матющенко В. И.*, 1970. Нож из могильника Ростовка. — КСИА, вып. 123.
- Матющенко В. И.*, 1973а. Древняя история населения лесного и лесостепного Приобья, ч. 1. Верхнеобская культура. — ИИС, Томск, вып. 9.

- Матющенко В. И.*, 1973б. Древняя история населения лесного и лесостепного Приобья, ч. 2. Самульская культура. — ИИС, Томск, вып. 10.
- Матющенко В. И.*, 1973в. Древняя история населения лесного и лесостепного Приобья, ч. 3. Андроновская культура. — ИИС, Томск, вып. 11.
- Матющенко В. И.*, 1974. Древняя история населения лесного и лесостепного Приобья, ч. 4. Еловско-ирменская культура. — ИИС, Томск, вып. 12.
- Мельников С.*, 1952. Сведения о мансах, кочующих в Березовском округе. — Вестник ИРГО, вып. V.
- Миддендорф А. Ф.*, 1878. Путешествие на север и восток Сибири. СПб., ч. II, отд. VI.
- Миланкович М.*, 1939. Математическая палеоклиматология и астрономическая теория колебаний климата. М.; Л.
- Миллер Г. Ф.*, 1937. История Сибири. М.; Л.
- Мильков Ф. Н.*, 1977. Природные зоны СССР. М.
- Миненко Н. А.*, 1975. История Новосибирской обл. Новосибирск.
- Михайловский В. М.*, 1892. Шаманство. Сравнительно-этнографические очерки, вып. 1. — Изв. имп. Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, т. 75.
- Могильников В. А.*, 1973. К этнокультурной характеристике Западной Сибири в эпоху раннего железа. — ИИС, Томск, вып. 7.
- Могильников В. А.*, 1976. Некоторые аспекты хозяйства племен лесостепи Западной Сибири эпохи раннего железа. — ИИС, Томск, вып. 21.
- Молодин В. И., Зах. В. А.*, 1979. Геоморфологическое расположение памятников эпохи неолита и бронзы в бассейнах рек Оби, Ини, Оми и их притоков. — В кн.: Особенности естественно-географической среды и исторические процессы в Западной Сибири. Томск.
- Монин Л. С., Шишков Ю. А.*, 1979. История климата. Л.
- Мошинская В. И.*, 1953а. Материальная культура и хозяйство Усть-Полуя. — МИА, № 35.
- Мошинская В. И.*, 1953б. Керамика усть-полуйской культуры. — МИА, № 35.
- Мошинская В. И.*, 1953в. Жилище усть-полуйской культуры и стоянка эпохи бронзы в Салехарде. — МИА, № 35.
- Мошинская В. И.*, 1957. Сузгун II — памятник эпохи бронзы лесной полосы Западной Сибири. — МИА, № 58.
- Мошинская В. И.*, 1973. Об одной категории западносибирской мелкой пластики. — КСИА, вып. 136.
- Мошинская В. И.*, 1976. Древняя скульптура Урала и Западной Сибири. М.
- Мяков И. М.*, 1929. Древности Нарымского края. — Тр. ТКМ, т. II.
- Налимов В. П.*, 1907. Загробный мир по верованиям зырян. — ЭО, № 1/2.
- Народы Сибири. 1956. М.; Л.
- Нейштадт М. И.*, 1957. История лесов и палеогеография СССР в голоцене. М.
- Нейштадт М. И.*, 1971. Мировой феномен — заболоченность Западно-Сибирской равнины. — Изв. АН СССР. Сер. геогр., № 1.
- Никкуль К.*, 1975. Некоторые особенности оленеводства у саамов (по материалам района Суньеня). — СЭ, № 4.
- Никольский А. М.*, 1885. Путешествие на озеро Балхаш в Семиреченскую область. — Зап. ЗСОИРГО. Омск, кн. VII, вып. 1.
- Никонов С. П., Тарасенков Г. Н., Черезов В. И.*, 1968. География Тюменской области. Свердловск.
- Новикова Н. И.*, 1973. Новые материалы о духах-«хозяевах» манси. — В кн.: История, археология и этнография Сибири. Томск.
- Новицкий Г.*, 1884. Краткое описание о народе остяцком, сочиненное Гр. Новицким в 1715 г. СПб.
- Носилов К. Д.*, 1904. У вогулов. Очерки и наброски. СПб.
- Общественный строй народов Северной Сибири. 1970. М.
- Овчинников М.*, 1905. Исчезнувшая форма погребения у якутов. — ЭО, № 1.
- Окладников А. П.*, 1950. Неолит и бронзовый век Прибайкалья, ч. I, II. — МИА, № 18.
- Окладников А. П.*, 1955. Неолит и бронзовый век Прибайкалья, ч. III (глазковское время). — МИА, № 43.
- Окладников А. П.*, 1979. Сибирская археология на современном этапе. — В кн.: Новое в археологии Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск.
- Окладников А. П., Мартынов А. И.*, 1972. Сокровищница Томских писаниц. М.
- О религиозном состоянии инородцев Пермской и Оренбургской епархий. 1908. — ЖС, вып. III.
- Островских П.*, 1895. Этнографические заметки о тюрках Минусинского края. — ЖС, вып. III/IV.

- Паллас П. С.*, 1786. Путешествия по разным провинциям Российского государства. Часть вторая, половина первая. СПб.
- Паллас П. С.*, 1788. Путешествия по разным провинциям Российского государства. Часть третья, половина первая. СПб.
- Патканов С.*, 1891. Стародавняя жизнь остяков и их богатырей по былинам и сказаниям. — ЖС, вып. III, IV.
- Патканов С. К.*, 1892. Остяцкая былина про богатырей города Эмдера. — ЖС, вып. II.
- Патканов С.*, 1894. По Демьянке (бытовой и экономический очерк). — Зап. ЗСОИРГО, кн. XVI, вып. II/III. Омск.
- Патканов С.*, 1911. О приросте инородческого населения Сибири. СПб.
- Патрушев В. С.*, 1971. Кельты старшего Ахмыловского могильника и их функциональное назначение. — КСИА, вып. 128.
- Пекарский Э. К., Цветков В. П.*, 1913. Очерки быта приаянских тунгусов. — Сб. МАЭ, т. II, вып. 1.
- Пелих Г. И.*, 1963. К вопросу о родоплеменном строе нарымских селькупов. — Тр. ТГУ, т. 165.
- Пелих Г. И.*, 1964. К истории селькупского шаманства. — Тр. ТГУ, т. 167.
- Пелих Г. И.*, 1966. Досамодийский тип жилища нарымских селькупов. — Учен. зап. ТГУ, № 60.
- Пелих Г. И.*, 1972. Происхождение селькупов. Томск.
- Пигнатти В. Н., Ивановский В. А., Гладышев Т. П., Шульц Л. Р., Чукомин П. П.* 1911. Издания остяков Тобольской губернии. — ЕТГМ, XIX.
- Пидопличко И. Г., Макеев П. С.*, 1955. О климатах и ландшафтах прошлого. Киев, вып. 2.
- Плетнева Л. М.*, 1977. Томское Приобье в конце VIII—III в. до н. э. Томск.
- Плотников А. Ф.*, 1901. Нарымский край. — Зап. ИРГО по отд. статистики, т. X, вып. 1.
- Поляков И. С.*, 1877. Письма и отчеты о путешествиях в долину р. Оби. — Зап. имп. Академии наук, т. 30.
- Понько В. А.* О природе многоритмичности в колебаниях климата. — В кн.: Ритмика природных явлений. Л.
- Попов А. А.*, 1948. Нганасаны. — ТИЭ, т. 3.
- Попов А. А.*, 1949. Материалы по истории религии якутов б. Вилюйского округа. — Сб. МАЭ, т. XI.
- Попов А. А.*, 1955. Плетение и ткачество у народов Сибири. — Сб. МАЭ, т. XVI.
- Попов А. А.*, 1958. Пережитки древних дорелигиозных воззрений долганов на природу. — СЭ, № 2.
- Попов Л. В.*, 1967. Динамика южнотаежных лесов Средней Сибири. — Сибирский географический сборник. М.; Л., № 5.
- Посредников В. А.*, 1973. История еловского населения Среднего и Верхнего Приобья. — Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М.
- Потапов Л. П.*, 1952. Этнографический очерк земледелия у алтайцев. — ТИЭ, т. 18.
- Потемкина Т. М.*, 1976. Культура населения Среднего Приобья в эпоху бронзы. — Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М.
- Приклонский В. Л.*, 1891. Три года в Якутской области. — ЖС, вып. IV.
- Прокофьева Е. Д.*, 1949а. Костюм селькупского (остяко-самоедского) шамана. — Сб. МАЭ, т. XI.
- Прокофьева Е. Д.*, 1949б. Мамонт по представлениям селькупов. — Сб. МАЭ, т. XI.
- Прокофьева Е. Д.*, 1961а. Представления селькупских шаманов о мире. — Сб. МАЭ, т. XX.
- Прокофьева Е. Д.*, 1961б. Шаманские бубны. — В кн.: Историко-этнографический атлас Сибири. М.; Л.
- Прокофьева Е. Д.*, 1971. Шаманские костюмы народов Сибири. — Сб. МАЭ, т. XXVII.
- Прыткова Н. Ф.*, 1949а. Металлическая культовая посуда у угров. — Сб. МАЭ, т. X.
- Прыткова Н. Ф.*, 1949б. Жертвенное покрывало у казымских хантов. — Сб. МАЭ, т. XI.
- Пуляркин В. А.*, 1968. О содержании понятия «географическая среда» и о влиянии географической среды на общество. — В кн.: Природа и общество. М.
- Пуляркин В. А.*, 1976. Экономико-географические процессы в сельском хозяйстве развивающихся стран. М.
- Пьявченко Н. И.*, 1967. Некоторые итоги стационарного изучения взаимоотношения леса и болота в Западной Сибири. — В кн.: Взаимоотношения леса и болота. М.
- Пьявченко Н. И.*, 1971. Болота в биоэкологическом аспекте. — Природа, № 4.
- Раушенбах В. М.*, 1956. Среднее Зауралье в эпоху неолита и бронзы. — Тр. ГИМ, вып. 29.
- Ржосницкий В. Б.*, 1976. Приливы на Солнце и их влияние на геофизические процессы. — В кн.: Ритмика природных явлений. Л.

- Россия. Полное географическое описание нашего отечества. СПб., 1903, т. XVIII.
- Румянцев П. П.*, 1910. Киргизский народ в прошлом и настоящем. СПб.
- Рухин Л. Б.*, 1959. Основы общей палеогеографии. Л.
- Рыбаков Б. А.*, 1965. Космогония и мифология земледельцев энеолита. — СА, № 1.
- Рыбаков С. Г.*, 1897. Отчет о поездке к киргизам летом 1896 г. по поручению имп. географического общества. — ЖС, вып. II.
- Рычков К.*, 1914. Поездка в северо-восточные тундры Туруханского края из с. Дудина. — Землеведение, кн. IV.
- Рычков К. М.*, 1917. Енисейские тунгусы. — Землеведение, кн. I/II.
- Рябцева К. М.*, 1967. Динамика оледенения Хибин в голоцене в связи с ритмами увлажненности Северного Полушария. — Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М.
- Садовников Г.*, 1909. С реки Ваха Сургутского уезда. — ЕТГМ, XIX.
- Сальников К. В.*, 1967. Очерки древней истории Южного Урала. М.
- Самоеды мезенские. — Этнографический сборник, издаваемый ИРГО, 1858, вып. IV.
- Седельников А. Н.*, 1909. Озеро Зайсан. — Зап. ЗСОИРГО, Омск, кн. XXXV.
- Семейная обрядность народов Сибири. 1980. М.
- Семенов Ю. И.*, 1966. Как возникло человечество. М.
- Сенкевич-Гудкова В. В.*, 1949. К вопросу о пиктографическом письме у казымских хантов. — Сб. МАЭ, т. XI.
- Серебрянный Л. Р., Пшенин Г. Н., Пуннинг Я. М.-К.*, 1980. Оледенение Тянь-Шаня и колебания уровня Арала. — Изв. АН СССР. Сер. геогр., № 5.
- Серовский В. Л.*, 1896. Якуты. СПб.
- Симченко Ю. Б.*, 1963. Праздник Аны'о-Дялы у авамских нганасан. — ТИЭ, т. 84.
- Симченко Ю. Б.*, 1965. Тамги народов Сибири. XVII в. М.
- Симченко Ю. Б.*, 1970. Проблема материнского рода у народов Севера. — В кн.: Общественный строй народов Северной Сибири. М.
- Симченко Ю. Б.*, 1976. Культура охотников на оленей Северной Евразии. М.
- Синицын В. М.*, 1967. Введение в палеоклиматологию. Л.
- Сирелиус У. Т.*, 1906. Домашние ремесла у остяков и вогулов. — ЕТГМ, XV.
- Славнин Д. П.*, 1973. Геология и археология в некоторых работах по Западной Сибири. — ИИС, Томск, вып. 5.
- Слюнин Н. В.*, 1895. Среди чукчей. — Землеведение, кн. IV.
- Смирнов И. Н.*, 1890. Вотяки. Историко-этнографический очерк. — Изв. О-ва археологии, истории и этнографии при Казанском ун-те, т. VIII, вып. 2.
- Смирнов И. Н.*, 1891. Пермьяки. Историко-этнографический очерк. — Изв. О-ва археологии, истории и этнографии при Казанском ун-те, т. IX, вып. 2.
- Смирнов И.*, 1904. Остяки и вогулы (югра). — Вестник и библиотека самообразования, № 2—4.
- Смирнов Н. Г.*, 1975. Ландшафтная интерпретация новых данных по фауне андроновских памятников Зауралья. — ВАУ, Свердловск, вып. 13.
- Советский Союз. Географическое описание. М., 1971, т. 5.
- Соколова З. П.*, 1971. Пережитки религиозных верований у обских угров. — Сб. МАЭ, т. XXVII.
- Сорокин Н.*, 1873. Путешествие к вогулам. — Тр. О-ва естествоиспытателей при Казанском ун-те, т. III, № 4.
- Спафарий Н.*, 1882. Путешествие через Сибирь от Тобольска до Нерчинска и границ Китая. — Зап. ИРГО по отд. этнографии, т. X, вып. 1.
- Спицын А.*, 1906. Шаманские изображения. — Зап. отд. русской и славянской археологии ИРГО, т. VIII, вып. 1.
- Стефанов В. И.*, 1977. Исследования в Среднем Прииртышье. — АО 1976 г.
- Стефанович Я.*, 1897. На шаманстве. — Землеведение, кн. I/II.
- Стоянов В. Е.*, 1977. Некоторые черты социально-экономической организации древнего населения зауральско-западносибирской лесостепи (ранний железный век). — В кн.: Археологические исследования на Урале и в Западной Сибири. Свердловск.
- Студзицкая С. В.*, 1969. Образ зверя в мелкой пластике сибирских племен в эпоху неолита и ранней бронзы. — В кн.: Экспедиции ГИМ. М.
- Студзицкая С. В.*, 1973. Искусство енисейских племен в эпоху неолита и ранней бронзы. — В кн.: Проблемы археологии Урала и Сибири. М.
- Студзицкая С. В.*, 1976. Соотношение производственных и культовых функций сибирских неолитических изображений рыб. — ИИС, Томск, вып. 21.

- Ступина Н. М., 1965. Западно-Сибирская лесостепь. — Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М.
- Суслов И. М., 1928. Социальная культура у тунгусов бассейна Подкаменной Тунгуски и верховьев реки Таймуры. — Северная Азия, № 1.
- Таксами Ч. М., 1971. К вопросу о культе предков и культе природы у нивхов. — Сб. МАЭ, т. XXVII.
- Таксами Ч. М., 1972. Охотники, собиратели и рыболовы Амурского бассейна и Сахалина. — В кн.: Охотники, собиратели, рыболовы. Л.
- Тарасов В., 1971. Хождение за девять рек. Новосибирск.
- Теплоухов А. Ф., 1880. О доисторических жертвенных местах на Уральских горах. — Зап. УОЛЕ, Екатеринбург, т. 6, вып. 1.
- Тилло А. А., 1873. Первая перепись в Киргизской степи, проведенная в Николаевском уезде Оренбургского края. — Изв. ИРГО, т. IX, № 2.
- Токарев С. А., 1964. Ранние формы религии и их развитие. М.
- Токарев С. А., 1979. О религии как социальном явлении. — СЭ, № 3.
- Толыбеков С. Е., 1971. Кочевое общество казахов в XVII—начале XX в. Алма-Ата.
- Тревер К. В., 1940. Памятники греко-бактрийского искусства. М.; Л.
- Третьяков П., 1869. Туруханский край. — Зап. ИРГО, т. 2.
- Троицкая Т. Н., 1970. О культурных связях населения Новосибирского Приобья в VII—VI вв. до н. э. — В кн.: Проблемы хронологии и культурной принадлежности археологических памятников Западной Сибири. Томск.
- Троицкая Т. Н., 1976. Развитие скотоводства у племен Новосибирского Приобья в I тысячелетии до н. э. — V в. н. э. — ИИС, Томск, вып. 21.
- Троицкая Т. Н., 1979. Кулайская культура в Новосибирском Приобье. Новосибирск.
- Тутковский П. А., 1915. Географические причины нашествия варваров. — Землеведение, кн. 1/II.
- Тушинский Г. К., 1966. Космос и ритмы природы Земли. М.
- Угрин М. И., 1971. Шамагар-шургас. — Изв. СО АН СССР. Сер. обществ. наук, вып. 2, № 6.
- Ураев Р. А., 1956. Кривошенинский клад. — Тр. ТОКМ, т. V.
- Фальк И. Г., 1824. Записки путешествия академика Фалька. — Полное собрание ученых путешествий по России, издаваемое имп. Академией наук, т. 6. СПб.
- Федорова Р. В., 1973. Пожары на торфяных болотах. — Природа, № 2.
- Фишер В., 1884. Озеро Балхаш и течение р. Или от выселка Илийского до ее устьев. — Зап. ЗСОИРГО, Омск, кн. VI.
- Флоринский В. М., 1894. Первобытные славяне по памятникам их доисторической жизни. Томск.
- Фриш В. А., Фриш Э. В., 1977. Ландшафтно-динамический анализ верховых болотных массивов. — Изв. ВГО, № 5.
- Хангалов М., 1898. Свадебные обряды, обычаи, поверья и предания у бурят Унгинского инородческого ведомства Балаганского округа. — ЭО, № 1.
- Харлампович К. В., 1908. О погребальных масках и куклах у западно-сибирских инородцев. — Изв. общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете, т. XXIII, вып. IV.
- Харузин Н., 1899. Медвежья присяга и тотемистические основы культа медведя у остяков и вогулов. М.
- Харузин Н., 1903. Этнография. СПб., вып. III.
- Харузин Н., 1905. Этнография, СПб., вып. IV.
- Харузина В. Н., 1906. К вопросу о почитании огня. — ЭО, № 3.
- Харузина В., 1912. Игрушка у малокультурных народов. — В кн.: Игрушка, ее история и значение. М.
- Хлобыстин Л. П., 1972. Проблемы социологии неолита Северной Евразии. — В кн.: Охотники, собиратели, рыболовы. Л.
- Хлобыстин Л. П., 1976. Поселение Липовая Курья в Южном Зауралье. Л.
- Хлобыстин Л. П., Грачева Г. Н., 1974. Появление оленеводства в тундровой зоне Европы, Западной и Средней Сибири. — В кн.: Тезисы конференции «Формы перехода от присваивающего хозяйства к производящему и особенности развития общественного строя». М.
- Хлобыстин Л. П., Левковская Г. М., 1974. Роль социального и экологического фактора в развитии арктических культур Евразии. — В кн.: Первобытный человек и природная среда. Вильнюс.
- Хлобыстина М. Д., 1971. Культовая символика петроглифических рисунков в культуре ранней бронзы Южной Сибири. — СА, № 1.

- Хлобыстина М. Д.*, 1978. Тотемно-космогонические образы в искусстве южносибирской бронзы. — В кн.: У истоков творчества (первобытное искусство). Новосибирск.
- Хлопина И. Д.*, 1978. Из мифологии традиционных верований шорцев. — В кн.: Этнография народов Алтая и Западной Сибири. Новосибирск.
- Хомич Л. В.*, 1966. Ненцы. Историко-этнографические очерки. Л.
- Хотинский Н. А.*, 1977. Голоцен Северной Евразии. М.
- Цинциус В. И.*, 1971. Воззрения негидальцев. — Сб. МАЭ, т. XXVII.
- Чанчибаева Л.*, 1978. О современных религиозных пережитках у алтайцев. — В кн.: Этнография народов Алтая и Западной Сибири. Новосибирск.
- Чермак Л.*, 1898. Оседлые киргизы-земледельцы р. Чу. — Зап. ЗСОИРГО, Омск, кн. XXVIII.
- Чернецов В. Н.*, 1935. Вогульские сказки. Л.
- Чернецов В. Н.*, 1953а. Бронза усть-полуйского времени. — МИА, № 35.
- Чернецов В. Н.*, 1953б. Усть-полуйское время в Приобье. — МИА, № 35.
- Чернецов В. Н.*, 1957. Нижнее Приобье в I тысячелетии н. э. — МИА, № 58.
- Чернецов В. Н.*, 1959. Представления о душе у обских угров. — ТИЭ, № 51.
- Чернецов В. Н.*, 1964. Наскальные изображения Урала. — САИ, В4-12. М.
- Чернецов В. Н.*, 1965. Периодические обряды и церемонии у обских угров, связанные с медведем. — In: Congressus secundus internationalis fennougristarum. Helsinki, 1965.
- Чернецов В. Н.*, 1971. Наскальные изображения Урала. — САИ, В-12(2). М.
- Черников С. С.*, 1960. Восточный Казахстан в эпоху бронзы. — МИА, № 68.
- Черников С. С.*, 1970. Восточный Казахстан в эпоху неолита и бронзы. — Автореф. дис. ... докт. ист. наук. М.
- Черныш М. И.*, 1970. Неурожан 1890—1891 гг. на Урале и их социально-экономические последствия (по материалам Пермской губернии). — Учен. зап. ПГУ, № 227.
- Чижевский А. Л.*, 1930. Эпидемические катастрофы и периодическая деятельность Солнца. М.
- Чиндина Л. А.*, 1970. Керамика могильника Релка. — СА, № 1.
- Чиндина Л. А.*, 1976. О возможности реконструкции социальной организации Нарымского Приобья в раннем средневековье. — ИИС, Томск, вып. 21.
- Чиндина Л. А.*, 1977. Могильник Релка на средней Оби. Томск.
- Членов М. А.*, 1974. Еще раз об «австралийской контроверзе» и методике ее рассмотрения. — СЭ, № 1.
- Членова Н. Л.*, 1955. О культурах эпохи бронзы лесостепной полосы Западной Сибири. — СА, XXIII.
- Шаргородский С.*, 1895. О юагирских письменах. — Землеведение, кн. II/III.
- Шатилов М. Б.*, 1931. Ваховские остяки. — Тр. ТКМ, т. IV.
- Швецов С.*, 1889. Очерк Сургутского края. — Зап. ЗСОИРГО, Омск, кн. IV.
- Шилов В. П.*, 1964. Проблемы освоения степей Нижнего Поволжья в эпоху бронзы. — Археологический сборник. Л., 6.
- Шилов В. П.*, 1972. Экономический базис древних племен неолита и бронзы степей Евразии. — В кн.: Тезисы докладов на сессии и пленуме, посвященном итогам полевых исследований в 1971 г. М.
- Шимкевич П. П.*, 1897. Некоторые моменты из жизни гольдов и связанные с жизнью суеврия. — ЭО, № 3.
- Шшонко В.*, 1884. Пермская летопись с 1263—1881 гг. Период 2. С 1645—1676 гг. Пермь.
- Шмидт Ю.* Очерк Киргизских степей к югу от Арало-Иртышского водораздела. — Зап. ЗСОИРГО, Омск, кн. XVII, вып. 2.
- Шнирельман В. А.*, 1973. Экологические аспекты неолитической революции в Передней Азии. — В кн.: Актуальные проблемы этнографии. М.
- Шнирельман В. А.*, 1977. Роль домашних животных в периферийных обществах. — СЭ, № 2.
- Шнитников А. В.*, 1957. Изменчивость общей увлажненности материков Северного полушария. — Зап. Географического общества СССР, т. 16.
- Шнитников А. В.*, 1969. Внутривековая изменчивость компонентов общей увлажненности. Л.
- Штернберг Л.*, 1893. Сахалинские гиляки. — ЭО, № 2.
- Штернберг Л.*, 1904. Гиляки. — ЭО, № 4.
- Штернберг Л. Я.*, 1936. Первобытная религия в свете этнографии. Л.
- Шульц Л.*, 1913. Краткое сообщение об экспедиции на р. Салым Сургутского уезда. — ЕТГМ, XXI.
- Шумилова Л. В.*, 1962. Ботаническая география Сибири. Томск.
- Шунков В. И.*, 1956. Очерки по истории земледелия Сибири XVII в. М.
- Шухов И.*, 1928. Зыряне Тарского округа и их охотничий промысел. — Изв. Гос. Западно-Сибирского музея. Омск, № 1.

- Эдинг Д. Н.*, 1940. Резная скульптура Урала. — Тр. ГИМ, вып. 10.
Экспедиции братьев Н. Г. и Г. Г. Кузнецовых на Северный Урал. — Землеведение 1909. кн. IV.
Этнографические замечания и наблюдения Кастрена о лопарях, карелах, самоедах и остяках,
извлеченные из его путевых воспоминаний 1838—1844 гг. — Этнографический сборник,
издаваемый ИРГО, СПб., 1858, вып. IV.
- Юргенс Н. Д.*, 1885. Экспедиция к устью р. Лены с 1881 г. по 1885 г. — Изв. ИРГО, т. XI,
вып. 4.
- Ядринцев Н.*, 1881—1882. Об алтайцах и черневых татарах. — Изв. РГО, т. XVII, вып. 4.
- Ядринцев Н. М.*, 1882. Сибирь как колония. СПб.
- Ядринцев Н. М.*, 1894. Культ собаки и почетное ее погребение. — ЭО, № 4.
- Ядринцев Н. М.*, 1900. О культе медведя, преимущественно у северных инородцев. — ЭО, № 1.
- Aberle D. F.*, 1961. Matrilineal Descent in Crosscultural Perspective, — In: Matrilineal Kinship.
Berkeley; Los Angeles.
- Binford L. R.*, 1970. Post-Pleistocene Adaptation. — In: New Perspectives in Archaeology. Chi-
cago.
- Childe V. G.*, 1951. Man make himself. New York.
- Lamb H. H.*, 1972. Climate; Present, Past and Future. London, vol. 1.
- Murdock G. P.*, 1957. World ethnographic Sample. — American Anthropologist, 59.
- Murdock G. P.*, 1968. The Current Status World's Hunting and Gathering Peoples. — In: Man
the Hunter. Chicago.
- Petterson O.*, 1929. Snahges in Oceanic circulation and their climatic consequences. — Geogr.
Rev., V, 1.
- Steinitz W.*, 1938. Totemismus bei den Ostjaken in Sibirien. — Ethnos. Stockholm, N 4, 5.
- Strahlenberg Ph.*, 1730. Das Nord-und Oestliche Theit von Europa und Asia etc. Stockholm. —
Изв. О-ва археологии, истории и этнографии при Казанском ун-те, 1893, т. XI, вып. 3.

Отделение

ИРГО ИАН СССР

Институт археологии

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АО	— Археологические открытия
ВАУ	— Вопросы археологии Урала
ВГО	— Всесоюзное географическое общество
ВФ	— Вопросы философии
ГАИМК	— Государственная академия истории материальной культуры
ГИМ	— Государственный исторический музей
ЕТГМ	— Ежегодник Тобольского губернского музея
ЖС	— Живая Старина
ЗСОИРГО	— Западно-Сибирский отдел имп. Русского географического общества
ИИС	— Из истории Сибири
ИРГО	— Имп. Русское географическое общество
КСИА	— Краткие сообщения Института археологии
КСИЭ	— Краткие сообщения Института этнографии
ЛПИ	— Ленинградский педагогический институт
МАЭ	— Музей антропологии и этнографии
МИА	— Материалы и исследования по археологии
ПГУ	— Пермский государственный университет
СА	— Советская археология
САИ	— Свод археологических источников
СО АН СССР	— Сибирское отделение АН СССР
СЭ	— Советская этнография
ТГУ	— Томский государственный университет
ТИИАЭ АН КазССР	— Труды Института истории, археологии и этнографии АН КазССР
ТИЭ	— Труды Института этнографии
ТКМ	— Томский краевой музей
ТОКМ	— Томский областной краеведческий музей
УОЛЕ	— Уральское общество любителей естествознания
ЭО	— Этнографическое обозрение

ОГЛАВЛЕНИЕ

	ВВЕДЕНИЕ	3
Глава первая.	ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ	5
	Человек и природа в прошлом и настоящем	5
	Тезис о единстве природы и общества в марксистской философии	8
	Морально-этическая сторона проблемы	9
	Подходы к источникам, научным понятиям и исследовательскому процессу	11
Глава вторая.	ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК	26
	Общая физико-географическая характеристика	26
	Вопросы палеоклиматологии	32
	К проблеме смещения ландшафтных границ	36
Глава третья.	ПРОИЗВОДЯЩАЯ ЭКОНОМИКА ЮГА ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ	49
	Предпосылки перехода к производящему хозяйству	49
	Эпоха бронзы. Пастушеско-земледельческое хозяйство	54
	Железный век. Кочевое скотоводство	60
Глава четвертая.	ПРИСВАИВАЮЩАЯ ЭКОНОМИКА СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ ЗАУРАЛЬЯ И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ.	71
	Подвижная охота на северного оленя (зона тундры)	72
	Коллективная охота на лесных копытных (таежное Зауралье)	83
	Комплексное охотничье-рыболовческое хозяйство в таежном Обь-Иртыше	92
	Древний оседло-рыболовческий тип хозяйства в Нижнем Приоболье	104
Глава пятая.	ОСОБЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВА В ЗОНЕ КОНТАКТОВ АРЕАЛОВ ПРОИЗВОДЯЩЕЙ И ПРИСВАИВАЮЩЕЙ ЭКОНОМИКИ. ПРЕДПОСЫЛКИ И ХАРАКТЕР ДРЕВНЕЙ ТОРГОВЛИ	111
	Многоотраслевое хозяйство предтаежной и южнотаежной полосы Западной Сибири	111
	Экологические факторы древней торговли	124

Глава шестая.	ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СРЕДА И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДРЕВНИХ ЗАПАДНОСИБИРСКИХ ОБЩЕСТВ	133
	Юг Западно-Сибирской равнины — ареал производящей экономики	133
	Северные районы Зауралья и Западной Сибири — ареал присваивающей экономики	140
	Север лесостепной и юг таежной зон — ареал многоотраслевого хозяйства	157
	К проблеме материнского рода	159
Глава седьмая.	ДРЕВНИЕ МИГРАЦИИ	165
Глава восьмая.	ВЕРОВАНИЯ И КУЛЬТЫ	180
	Некоторые общие вопросы	180
	Культ медведя. К проблеме тотемизма	183
	Почитание лося	194
	Отношение к обитателям подводного мира	197
	Культ деревьев	201
	Некоторые стороны анимистических верований	205
	Астральные культы. Представления о мире	211
	Почитание огня	219
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	230
	ЛИТЕРАТУРА	231
	СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	243

Михаил Федорович Косарев
ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ В ДРЕВНОСТИ

*Утверждено к печати
ордена Трудового Красного Знамени
Институтом археологии*

Редактор издательства Е. П. Прохоров
Художник Э. А. Дорохова
Художественный редактор Н. Н. Власик
Технический редактор Л. В. Каскова
Корректоры Ф. А. Дебабов и В. А. Нарядчикова
ИБ № 26871

Сдано в набор 11.04.84.
Подписано к печати 05.09.84.
Т-13346. Формат 70×90¹/₁₆
Бумага для глубокой печати
Гарнитура литературная
Печать офсетная
Усл. печ. л. 18,13. Уч.-изд. л. 21,5. Усл. кр. отт. 18,44
Тираж 1900 экз. Тип. зак. 1430.
Цена 3 р. 20 к.

Издательство «Наука»
117864 ГСП-7, Москва В-485
Профсоюзная ул., 90.
Ордена Трудового Красного Знамени
Первая типография издательства «Наука»
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«НАУКА»
ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ
КНИГА:

Древняя Бактрия /Ии-т археологии. — М.: Наука, 1984. — 20 л. — В пер.: 3 р. 50 к.

Сборник является продолжением публикации материалов Советско-Афганской археологической экспедиции на территории Северного Афганистана. Описаны монументальная архитектура, строительная техника, религиозные культы, оборонительные сооружения Бактрии, помещены первые публикации раскопок уникального дворцового культового комплекса. Дашлы 3, рассмотрены материалы раскопок бактрийского города Евкрадеи, кушанского города Дильберджин, исследуется храм Диоскуров. Книга представляет большой интерес для изучающих исторические, этнические и культурные процессы народов Центральной и Средней Азии в древности.

* * *

Блаватский В. Д. Античная археология и история /Ии-т археологии. — М.: Наука, 1984. — 20 л. — В пер.: 2 р. 50 к.

В книгу включены статьи, опубликованные в течение более 50 лет в зарубежных научных изданиях, ставших уже библиографической редкостью. Тематика этих статей разнообразна. Они посвящены и исследованию социальной и культурной истории античных государств, в особенности Северного Причерноморья, и археологии, и эпиграфике, и искусству античных Средиземноморья и Причерноморья.

* * *

Книги можно предварительно заказать в магазинах Центральной конторы «Академкнига», в местных магазинах книготоргов или потребительской кооперации.

Для получения книг почтой заказы просим направлять по адресу: 117192 Москва, Мичуринский проспект, 12, магазин «Книга—почтой» Центральной конторы «Академкнига»; 197345 Ленинград, Петрозаводская ул., 7, магазин «Книга—почтой» Северо-Западной конторы «Академкнига» или в ближайший магазин «Академкнига», имеющий отдел «Книга—почтой».

- | | | | |
|--------|--|--------|--|
| 480091 | Алма-Ата, ул. Фурманова
91/97 («Книга—почтой»); | 220012 | Минск, Ленинский проспект, 72 («Книга—почтой»); |
| 370005 | Баку, ул. Джапаридзе, 13
(«Книга—почтой»); | 103009 | Москва, ул. Горького, 19а; |
| 320093 | Днепропетровск, проспект
Гагарина, 24 («Книга—почтой»); | 117312 | Москва, ул. Вавилова,
55/7; |
| 734001 | Душанбе, проспект Ле-
нина, 95 («Книга—почтой»); | 630076 | Новосибирск, Красный
проспект, 51; |
| 375002 | Ереван, ул. Туманяна, 31; | 630090 | Новосибирск, Академго-
родок, Морской про-
спект, 22 («Книга—
почтой»); |
| 664033 | Иркутск, ул. Лермонтова,
289; | 142292 | Пушино, Московская обл.,
МР, «В», 1; |
| 252030 | Киев, ул. Ленина, 42; | 620151 | Свердловск, ул. Мамина-
Сибиряка, 137 («Кни-
га—почтой»); |
| 252030 | Киев, ул. Пирогова, 2; | 700029 | Ташкент, ул. Ленина, 73; |
| 252142 | Киев, проспект Вернад-
ского, 79; | 700100 | Ташкент, ул. Шота Руста-
вели, 43; |
| 252030 | Киев, ул. Пирогова, 4
(«Книга—почтой»); | 700187 | Ташкент, ул. Дружбы на-
родов, 6 («Книга—
почтой»); |
| 277012 | Кишинев, проспект Ле-
нина, 148 («Книга—
почтой»); | 634050 | Томск, наб. реки Ушайки,
18; |
| 343900 | Краматорск Донецкой
обл., ул. Марата, 1; | 450059 | Уфа, ул. Р. Зорге, 10
(«Книга—почтой»); |
| 660049 | Красноярск, проспект
Мира, 84; | 450025 | Уфа, ул. Коммунистиче-
ская, 49; |
| 443002 | Куйбышев, проспект Ле-
нина, 2 («Книга—
почтой»); | 720001 | Фрунзе, бульвар Дзер-
жинского, 42 («Кни-
га—почтой»); |
| 191104 | Ленинград, Литейный
проспект, 57; | 310078 | Харьков, ул. Чернышев-
ского, 87 («Книга—
почтой»); |
| 199164 | Ленинград, Таможенный
пер., 2; | | |
| 196034 | Ленинград, В/О, 9 ли-
ния, 16; | | |